



Большой роман (Аттикус)

Томас Пинчон

**Радуга тяготения**

«Азбука-Аттикус»

1973, 2001

УДК 821.111(73)  
ББК 84(7Coe)-44

## **Пинчон Т. Р.**

Радуга тяготения / Т. Р. Пинчон — «Азбука-Аттикус», 1973,  
2001 — (Большой роман (Аттикус))

ISBN 978-5-389-20622-9

Томас Пинчон – наряду с Сэлинджером, «великий американский затворник», один из крупнейших писателей мировой литературы XX, а теперь и XXI века, после первых же публикаций единодушно признанный классиком уровня Набокова, Джойса и Борхеса. Его «Радуга тяготения» – это главный послевоенный роман мировой литературы, вобравший в себя вторую половину XX века так же, как джойсовский «Улисс» вобрал первую. Это грандиозный постмодернистский эпос и едкая сатира, это помноженная на фарс трагедия и радикальнейшее антивоенное высказывание, это контркультурная библия и взрывчатая смесь иронии с конспирологией; это, наконец, уникальный читательский опыт и сюрреалистический травелог из преисподней нашего коллективного прошлого. Без «Радуги тяготения» не было бы ни «Маятника Фуко» Умберто Эко, ни всего киберпанка, вместе взятого, да и сам пейзаж современной литературы был бы совершенно иным. Вот уже почти полвека в этой книге что ни день открывают новые смыслы, но единственное правильное прочтение так и остается, к счастью, недостижимым. Получившая главную американскую литературную награду – Национальную книжную премию США, номинированная на десяток других престижных премий и своим радикализмом вызвавшая лавину отставок почтенных жюри, «Радуга тяготения» остается вне оценочной шкалы и вне времени. Перевод публикуется в новой редакции. В книге присутствует нецензурная брань!

УДК 821.111(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-389-20622-9

© Пинчон Т. Р., 1973, 2001  
© Азбука-Аттикус, 1973, 2001

# Содержание

1. За нулем	7
2. Un Perm' au Casino Hermann Goering[98]	133
Конец ознакомительного фрагмента.	134

# Томас Пинчон

## Радуга тяготения

© А. Б. Грызунова, М. В. Немцов, перевод, 2012, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021

Издательство ИНОСТРАНКА®

\* \* \*

*Ричарду Фаринье*

## 1. За нулем

*Природа не знает угасания; она знает лишь преобразование. Все, чему научила и по сей день учит меня наука, укрепляет мою веру в продолжение нашего духовного бытия после смерти.*

**Вернер фон Браун**

\* \* \*

По небу раскатился вой. Такое бывало и раньше, но теперь его не с чем сравнить.

Слишком поздно. Эвакуация продолжается, но это все театр. В вагонах нет света. Нигде света нет. Над ним – фермы подъемников, старые, как «железная королева», и где-то совсем высоко стекло, что пропускало бы свет дня. Но сейчас ночь. Он боится обвала стекла – уже скоро – вот это будет зрелище: падение хрустального дворца. Но – в полном мраке светомаскировки, ни единого проблеска, лишь огромный невидимый хряст.

В многослойном вагоне он сидит в вельветовой тьме, курить нечего, чувствует, как металл то дальше, то ближе трется и сталкивается, клубами рвется пар, рама вагона дрожит – наготове, не по себе, остальные притиснуты со всех сторон, немощные, стадо паршивых овец, уже ни везенья, ни времени: пьянь, ветераны, контуженные артиллерией, 20 лет как устаревшей, ловчицы в городских нарядах, отверженные, изможденные тетки с детьми – не бывает у человека столько детей, – сложены штабелями между всем прочим, уготовленным к спасительной транспортировке. Только ближайшие лица разборчивы, да и те – как полупосеребрянные образы в видеоискателе, испятнанные зеленью сиятельные лица, что припоминаются за пуленепробиваемыми окнами, несущимися через весь город...

Тронулись. Вытянувшись в линию, с главного вокзала, из центра города, начинают вжиматься в городские районы, которые старше и разореннее. Есть тут выход? Лица оборачиваются к окнам, но никто не осмеливается спросить, во всяком разе – вслух. Сверху льет. Нет, так не выпутаться, так только больше *завязаться в узел* – они въезжают под арки, сквозь тайные входы в стгнившем бетоне, что лишь походили на петли тоннеля... некие эстакады почернелого дерева медленно проплыли над головой, и запахи, рожденные углем во дни, отъехавшие в далекое прошлое, запахи лигроиновых зим, воскресений, когда ничего не ходит, кораллообразного и таинственно жизнеспособного нароста, из-за слепых поворотов, из одиноких прогонов, кислая вонь отсутствия подвижного состава, вызревающей ржави – проступают в этих опустошающих днях блистательно и глубоко, особо – на заре, когда проезд ей запечатывают синие тени, – стараются привести события к Абсолютному Нулю... и тем беднее, чем глубже въезжают... развалины тайных городов нищеты, местá, *чьих имен он никогда не слышал*... стены разламываются, крыш все меньше, а с ними – и шансов на свет. Дороге следует выходить на простор трассы, но она ужасает, ухабится, все больше загоняет себя в угол, и тут они вдруг – намного раньше, чем следовало, – уже под окончательной аркой: тормоза кошмарно схватываются и пружинят. Приговор, которому нет апелляции.

Караван замер. Конец линии. Всем эвакуируемым приказано выйти. Двигутся медленно, хоть и не сопротивляясь. У их распорядителей кокарды цвета свинца, и люди эти неболтливы. Вот огромная, очень старая и темная гостиница, железный придаток рельсов и стрелок, которыми они сюда приехали... Шары огня, покрашенные темно-зеленым, свисают из-под причудливых железных карнизов, не зажигались веками... толпа движется безропотно, не кашляя, по коридорам, прямым и целесообразным, как складские проходы... бархатные черные плоскости сдерживают движение: запах – старого дерева, отдаленных флигелей, все это время

пустых, но только что открытых, дабы приютить наплыв душ, вонь холодной штукатурки, под которой сдохли все крысы, лишь их призраки, недвижные, будто наскальные росписи, запечатлены упрямо и светло в стенах... эвакуируемых принимают партиями, лифтом – передвижным деревянным эшафотом, со всех сторон открытым, подымаемым старыми просмоленными канатами и чугунными шкивами, чьи спицы отлиты в форме двояких S. На бурых этажах пассажиры сходят и уходят... тысячи этих притихших номеров без света...

Кто-то ждет в одиночестве, кто-то свои комнаты-невидимки делит с прочими. Невидимки, да – что толку в обстановке, когда вокруг такое? Под ногами хрустит древнейшая городская грязь, последние кристаллы всего, в чем город отказывал, чем угрожал, что лгал своим детям. Каждый слышал голос – тот, что говорил, казалось, только с ним:

– Ты же не верил в самом деле, что тебя спасут. Ладно тебе, мы все уже знаем, кто мы есть. Никто и не собирался хлопотать, чтобы спасти *тебя*, дружище...

Выхода нет. Лежи и терпи, лежи спокойно и не шуми. Не утихает в небе вой. Когда прикатится, прибудет он во тьме – иль принесет с собою свет? Свет придет до или после?

*Но свет – уже.* Давно ли светло? Все это время свет сочился вместе с холодным утренним воздухом, что овеивает теперь соски: уж являет сборище пьяных транжир, кто-то в мундире, а кто-то нет, в кулаках зажаты пустые или полупустые бутылки, тут один повис на стуле, там другой забился в погасший камин, или же растянулись на всевозможных диванах, не знавших «гувера» коврах и в шезлонгах по разным слоям невообразимо громадного зала, храпят и сопят во множестве ритмов, самообновляющимся хором, а лондонский свет, зимний и эластичный свет растет меж ликами разделенных средниками окон, растет среди пластов вчерашнего дыма, что еще цепляются, истаивая, к навощенным потолочным балкам. Все эти горизонтальные, эти товарищи по оружию – розовенькие, будто кучка голландских крестьян, коим снится бесспорное их воскрешенье в ближайшие несколько минут.

Его зовут капитан Джефффри Апереткин, прозвание – Пират. Он обернут в толстое одеяло, шотландку – оранжевый, алый и ржавый. Череп у него – будто металлический.

Прямо над ним, в двадцати футах над головой, с хоров готов сверзиться Тедди Бомбаж – накануне он предпочел рухнуть как раз в том месте, где кто-то в грандиозном припадке много недель назад пинком вышиб две балясины черного дерева. Теперь же, в ступоре, Бомбаж неуклонно подвигается в проем – голова, руки, туловище, – и вот уже его держит лишь пустой бутылкой из-под шампанского в заднем кармане брюк, умудрившийся за что-то зацепиться...

Тут Пирату удастся сесть на узкой холостяцкой койке и проморгаться. Какой ужас. Какой блядский ужас... над собой он слышит треск материи. В Директорате Особых Операций Пирата натаскали реагировать быстро. Он спрыгивает с койки и пинком отправляет ее на роликах курсом к Бомбажу. Тот в отвесном падении рушится точно у миделя под мощный аккорд пружин. У койки подламывается ножка.

– Доброе утро, – отмечает Пират. Бомбаж кратко улыбается и снова засыпает, поглубже зарывшись в Пиратово одеяло.

Бомбаж – один из соарендатторов этой фатеры, домика недалеко от набережной Челси, возведенного в прошлом веке Коридоном Тропелом, знакомцем всех Россетти, который носил власяницы и любил возделывать на крыше лекарственные растения (эту традицию в последнее время оживил юный Осби Щипчон): из них немногие оказались стойкими и пережили туманы и морозы, а большинство вернулось ошметками странных алкалоидов в почву крыши вместе с навозом троицы призовых хрюшек уэссекс-сэдлбек, расквартированных там же преемником Тропела, вместе со сгнившей листвой множества декоративных деревьев, пересаженных на крышу последующими жильцами, а также случайным несъедобным блюдом, выброшенным или выbleванным туда же тем или иным чувствительным эпикурейцем, – все это в конечном итоге лессировалось ножами сезонов до импасто не в один фут толщиной, невероятный слой чернозема, где вырастет что угодно, и не в последнюю очередь – бананы. Пират, доведенный до

отчаяния нехваткой бананов в военное время, решил выстроить на крыше стеклянную теплицу и убедил приятеля, который челночно летал из Рио – в Асунсьон – в Форт-Лами, умыкнуть ему отводок-другой банана в обмен на немецкий фотоаппарат, ежели Пират в свою следующую парашютную вылазку на таковой наткнется.

Пират прославился своими Банановыми Завтраками. Сотрапезники слетаются сюда со всей Англии, даже те, кто аллергичен или прямо враждебен к бананам, всего лишь посмотреть – ибо политика бактерий, низовка почвы кольцами и цепями сетей одному богу известно с какой ячеей зачастую приводили к расцвету плодов до длины в полтора фута, да – поразительно, но правда.

Пират в уборной стоит и писает без единой мысли в голове. Затем проникает в шерстяной халат, который носит шиворот-навыворот, чтоб сигаретный карман не торчал на всеобщую потребу – не то чтоб это помогало, – и, огибая теплые тела друзей, пробирается к французскому окну, выскальзывает наружу, где холод лупит его по зубным пломбам; он стонет и с гулом взбирается по спиральной лестнице в садик на крыше, где ненадолго останавливается, озирая реку. Солнце по-прежнему за горизонтом. Похоже, днем будет дождь, но сейчас воздух примечательно чист. Огромная электростанция, газгольдеры за нею стоят четко: кристаллы, выросшие в мензурке утра, – дымовые трубы, вентиляционные шахты, башни, трубопроводы, заскорузлые выбросы пара и дыма...

– Ххахх, – Пират безгласым ревом, глядя, как дыханье утекает через парапет, – ххаххх! – Крыши поутру танцуют. Его гигантские бананы кистятся, лучисто-желтые, влажно-зеленые. У компаньонов внизу слюнки во сне текут по Банановому Завтраку. Сей отдраенный начисто день должен оказаться не хуже других...

Ой ли? Далеко к востоку, внизу розового неба что-то блеснуло очень ярко. Новая звезда, не меньше, иначе б не заметил. Он опирается на парапет и смотрит. Сверкающая точка уже превратилась в короткую вертикальную белую линию. Должна быть уже где-то над Северным морем... по крайней мере, не ближе... под нею паковый лед, холодный мазок солнца...

Что это? Не бывало такого. Но Пират не лыком шит. Он видел это в фильме, и двух недель не прошло... это инверсионный след. Уже выше на толщину пальца. Но не от самолета. Самолеты не запускают вертикально. Это новая – и по-прежнему Самая Секретная – германская ракетная бомба.

«Свежая почта». Он это шепнул или только подумал? Пират потуже затягивает обтрепанный пояс халата. Ну что – дальнобойность этих штук предположительно больше 200 миль. А инверсионный след за 200 миль не разглядишь, ведь так?

О. О да: из-за кривой поверхности Земли, дальше к востоку, солнце вон там, только что взошло в Голландии, бьет в выхлоп ракеты, в капли и кристаллы, и они сияют по-над всем морем...

Белая линия резко прекратила подъем. Должно быть, отсечка топлива, конец горения, как там у них слово... *Brennschluß*. У нас такого слова нет. Или засекречено. Низ линии, первоначальная звезда, уже тускнеет в красной заре. Но, не успеет Пират увидеть восход, ракета окажется тут.

След – размазанный, слегка раздерганный в две-три стороны – висит в небе. Ракета, перейдя в чистую баллистику, уже поднялась выше. Но стала невидима.

Он разве ничего не должен делать?.. выйти на связь с оперативным штабом в Стэнморе, у них она должна быть на радарх Канала – нет: вообще-то нет времени. От Гааги досюда меньше пяти минут (за столько успеть разве что до чайной на углу... свету солнца достичь планеты любви... вообще нет времени). Бежать на улицу? Предупредить остальных?

Сорвать бананы. Он тащится по черному компосту к теплице. Такое чувство, что сейчас обосрется. Реактивный снаряд на высоте шестьдесят миль должен уже дойти до пика своей траектории... начать падение... *вот...*

Фермы пронизаны солнечным светом, молочные панели благотворно сияют сверху. Как может быть зима – даже такая – серой настолько, чтобы состарить это железо, способное петь на ветру, или затуманить окна, что открываются в иное время года, пусть и обманчиво законсервированное?

Пират смотрит на часы. Ничего не доходит. Чешутся поры на лице. Опустошив разум – трюк десантника, – он делает шаг во влажную жару своего бананника и приступает к отбору спелейших и лучших, подхватив полы халата, чтоб было куда сбрасывать. Позволив себе считать лишь бананы, передвигаясь с голыми ногами среди висячих связок, среди этих желтых канделябров, в тропических этих сумерках...

Снова наружу, в зиму. След совершенно пропал с неба. Пот лежит у Пирата на коже холодом почти ледяным.

Не спеша Пират зажигает сигарету. Он не услышит, как эта дрянь прилетит. Она летает быстрее звука. Первое известие о ней – взрыв. А потом, если ты еще тут, слышишь, как она прилетает.

А если ударит *точно* – ахх, нет – на долю секунды хочешь не хочешь, а ощутишь, как самый кончик со всей ужасной массой сверху лупит тебя в макушку...

Пират горбится, таща свои бананы вниз по штопору лестницы.

\* \* \*

По голубой плитке внутреннего двора в кухню. Распорядок: включить американский блендер, прошлым летом выигранный у янки – слегонца в покер, ставки стола, офицерские квартиры где-то на севере, теперь уж и не вспомнить... Несколько бананов порубить на куски. Сварить кофе в электрическом кофейнике. Из ледника достать бидон с молоком. В молоке размять бананы. Чудненько. *Обволоку любой желудок в Англии, разъеденный бухлом*... Кусочек маргарина, понюхать – вроде не протух, растопить в сковороде. Почистить еще бананов, порезать вдоль. Маргарин шипит – в него длинные ломтики. Разжечь духовку – *хуумп*, однажды мы тут все с тобой на воздух взлетим, ой, ха-ха, н-да. Почищенные целые бананы отправляются на решетку, едва та раскаляется. Найти маршмеллоу...

Шатаясь, вступает Тедди Бомбаж – на голову накинуто Пиратова одеяло, – поскальзывается на банановой кожуре и хлопается на жопу.

– Убиться, – бормочет он.

– Немцы тебе помогут. Угадай, что я видел с крыши.

– V-2 летела?

– Ага, А4.

– Я смотрел из окна. Минут десять назад. Чудная, скажи? А потом ни звука, а? Видать, недолет. В море, что ли, вошла.

– Десять минут? – Пытаясь распознать время по часам.

– Минимум. – Бомбаж сидит на полу, вправляет банановую кожуру в лацкан пижамы вместо бутоньрки.

Пират идет к телефону и все-таки звонит в Стэнмор. Процедуры не избежать, она, как водится, очень, очень длинна, но Пират уже не верит в ракету, которую видел. Ради него сощипнул ее Господь с безвоздушных небес, точно стальной банан.

– Апереткин на проводе, у вас вот только что ничего из Голландии не пицало. Ага. Ага. Да, мы ее *видели*. – Вот так и отбивают у людей вкус к восходам. Он вешает трубку. – Они ее потеряли над береговой линией. Обозвали «недоношенный *Brennschluss*».

– Выше нос. – Тедди отползает обратно к разбитой койке. – Не последняя.

Старина Бомбаж, какой ты добрый – всегда найдешь, чем утешить. Несколько секунд, ожидая беседы со Стэнмором, Пират стоял и думал: обошлось, Банановый Завтрак спасен.

Но это лишь отсрочка. Не так ли. И впрямь ракета не последняя, и с той же вероятностью любая приземлится ему на голову. Сколько их, точно не знает никто по обе стороны фронта. Доведется ли за небом не следить?

Осби Щипчон стоит на хорах, в руке едва ли не самый большой Пиратов банан – торчит из ширинки полосатых пижамных штанов; другой рукой глядя гигантский желтушный изгиб, обращенными в потолок триолями на четыре четверти Осби приветствует зарю нижеследующим:

Волоки свой костлявый зад к окну  
(на, сожри ба-нан)  
Зубы почисть и вали на войну.  
Всюду покой – взмахни рукой,  
Грезам скажи «прощай».  
Мисс Грейбл загни, мол, не до возни,  
До самой победы – бывай, о,  
А на гражданке жизнь без проблем,  
(на, сожри ба-нан)  
Шипучки – залейся, девчонок – гарем, —  
Но надо бы парочке фрицев дать в морду,  
Так что сверкни нам улыбкою бодрой,  
И напомним, что велено час назад:  
Подымай-ка с пола костлявый зад!

Имеется и второй куплет, но не успевает распетушившийся Осби в него углубиться, как на него напрыгивают и основательно колошматят – отчасти его же тучным бананом – среди прочих, Бартли Кустерв, Дековерли Сиф и Майер («Саксофонка») Мыш. В кухне маршмеллоу с черного рынка томно расплзается сиропом на Пиратовой водяной бане и вскоре уже густо булькает. Варится кофе. На деревянной вывеске паба, дерзко при свете дня стыренной пьяным Бартли Кустервом и по сей день сохранившей резьбу «Машина и багор», Тедди Бомбаж крошит бананы громадным равнобедренным ножом, из-под нервного лезвия коего Пират одной рукой сгребает бледненькое пюре в вафельное тесто, напружиненное свежими куриными яйцами, на которые Осби Щипчон обменял равное число мячиков для гольфа, каковые текущей зимой дефицитнее настоящих яиц, а проволочной мутовкой в другой руке замешивает – не слишком рьяно, – и сам разобиженный Осби тем временем, то и дело прикладываясь к полупинтовой молочной бутылки, где пополам «ВАТ-69» и воды, надзирает за бананами на сковороде и решетке. У выхода на голубой двор Дековерли Сиф и Пат Териц стоят подле бетонной масштабной модели Юнгфрау, которую некий энтузиаст когда-то в двадцатых целый год мучительно моделировал и отливал, обнаружив затем, что макет слишком велик и не проходит в двери, и лупят склоны знаменитой горы красными резиновыми грелками с ледяными кубиками, дабы измельчить лед для Пиратовых банановых фраппе. Дековерли и Пат с их суточной щетиной, колтунами, покрасневшими глазами и миазмами гнилостного дыхания – измочаленные боги, подхлестывающие копотливый ледник.

В домике прочие собутыльники выпутываются из одеял (один обезветривает свое, грезя о парашюте), мочатся в раковины ванной, потрясенно разглядывают себя в гнутых зеркальцах для бритья, без особого плана плещут воду на редкие волосы, сражаются с «сэмами браунами», ввиду грядущего дождя мажут жиром ботинки, от чего руки уже устали, напевают обрывки шлягеров, коих мелодии не обязательно помнят, лежат, полагая себя согретыми, в кляксах нового солнца, что пробралось между средников, опасно заговаривают о делах, потихоньку примеряясь ко всему, что, не пройдет и часа, придется делать, пенят шеи и лица,

зевают, ковыряют в носу, перерывают книжные шкафы и горки в похмельных поисках клина, что вышибет клин, который, с-собака безусловная, истыкал их ночью не то чтобы совсем без повода.

И теперь по комнатам, вытесняя застарелый ночной дым, алкоголь и пот, разрастается хрупкий адамово-смоквичный аромат Завтрака: цветочный, вездесущий, удивительный, больше зимнего солнца, он берет верх не грубой едкостью либо количеством, но скорее витиеватой сложностью сплетенья молекул, у них с кудесником общая тайна, коей – хоть и нечасто Смерти столь недвусмысленно рекомендуют отъебаться, – повязан лабиринт живых генетических цепей, что сохраняет человеческое лицо десять или двадцать поколений... и то же самое структурное притязанье запускает банановый дух военного утра виться, отвоевывать, побеждать. Есть ли причины не распахнуть все окна до единого, не позволить этому благотворному запаху окутать Челси? Заклятием от падающих объектов...

Грохоча стульями, перевернутыми снаряжными ящиками, скамьями и оттоманками, Пиратова банда собирается на берегах обширного трапезного стола, южного острова через парудругую тропиков от зябких средневековых фантазий Коридона Тропела; темную полированную круговерть орехового столового плоскогорья заплотили теперь банановые омлеты, сэндвичи с бананом, банановая запеканка, банановое пюре, вылепленное в форме восставшего британского льва, замешанное с яйцами в тесто для французских тостов, выдавленное через насадку на дрожачие кремовые просторы бананового бланманже и завитое в слова «*C'est magnifique, mais ce n'est pas la guerre*»<sup>1</sup> (приписываемые французскому наблюдателю, обозревавшему Атаку Легкой Кавалерии), каковые Пират присвоил в качестве девиза... высокие графинчики блеклого бананового сиропа – источать на банановые вафли, гигантский глазурированный кувшин, где бананы с лета бродят в обществе дикого меда и мускатного изюма и откуда в это зимнее утро изливаются пенные кружки банановой медовухи... банановые круассаны, и банановый креплах, и банановая овсянка, и банановый джем, и банановый хлеб, и бананы, залитые обжигающим древним бренди, которое Пират в прошлом году привез из одного подвала в Пиренеях, где также наличествовал подпольный радиопередатчик...

Телефонный звонок, раздавшись, с легкостью продирается сквозь комнату, похмелья, обжиманцы, звон тарелок, деловую болтовню, горькие смешки, точно вульгарный металлический пердежный дуплет; наверняка по мою душу, понимает Пират. Бомбаж, который ближе всех, снимает трубку, и вилка с *bananes glacées*<sup>2</sup> изящно застывает в воздухе. Пират напоследок черпает медовухи, горлом чувствует, как она всасывается, будто время пришло, время летней безмятежности, глотает.

– Твое начальство.

– Так нечестно, – стонет Пират, – я с утра еще даже не отжимался.

Голос, который Пират слышал лишь однажды – в прошлом году на брифинге, руки и лицо зачернены, аноним меж десятка других слушателей, – сообщает, что в Гринвиче ждет послание, Пирату адресованное.

– Доставлено весьма пленительным манером, – голос пронзителен и разобижен, – у *меня* таких умных друзей нет. Вся *моя* корреспонденция прибывает почтой. Заберите, Апереткин, будьте любезны.

Трубка обрушивается на рычаг с оглушительным *кэк*, связь обрывается, и теперь до Пирата доходит, куда приземлилась утренняя ракета и отчего не было взрыва. И впрямь свежая почта. Он глядит сквозь солнечные контрфорсы, на сотрапезников за столом, что барахтаются в банановом изобилии, густой нёбный скулеж их голода заблудился где-то в протяженности утра между ними и Пиратом. Сотня миль, и так внезапно. Когда на одиночество находит стих,

<sup>1</sup> «Это великолепно, однако не война» (фр.). – Здесь и далее примеч. переводчиков.

<sup>2</sup> Засахаренные бананы (фр.).

оно даже в ячеях этой войны хватает его за слепую кишку и трогает, как сейчас, собственнически. Снова Пират где-то за окном, смотрит, как посторонние завтракают.

Прочь, на восток через мост Воксхолл, в побитой зеленой «лагонде» везет его крылатый вестовой супергерой, некто капрал Уэйн. Кажется, чем выше солнце, тем больше холодеет утро. Тучи все-таки собираются. Бригада американских саперов высыпает на дорогу, направляется на расчистку окрестных руин, распевая:

Здесь...  
Холоднее ведьминских сосков, эхма!  
Холодней бадьи пингвиньего дерьма!  
Холодней волос в заду у алеута!  
Холодней, чем иней на фужере брюта!

Нет, они придуриваются, будто народники, но *я-то* знаю, они из Ясс, от Кодряну, *его* люди, члены Лиги, они... да они убьют за него – они же принесли *присягу*! Меня пытаются покнуть... трансильванские мадьяры, они же *заклятья* знают... шепчут по ночам... Так-так – хррум – а вот, хе-хе, и подкралось Пиратово Состояние, когда он, по обыкновению, не ждал – ну и вполне можно сейчас вернуть: то, что в досье именуется Пиратом Апереткином, есть странный талант... в общем, влезать в чужие фантазии: то есть даже способность взять на себя бремя *правления* ими – в данном случае фантазиями румынского беженца-роялиста, который в ближайшем же будущем может оказаться полезен. Сей дар Фирма полагала замечательно благопотребным: в такое время незаменимы лидеры и прочие исторические персонажи в здравом рассудке. И какими еще банками и пиявками высосать у них избыток тревоги, нежели найти того, кто возьмет в свои руки их мелкие изнурительные грезы... заживет в неярком зеленом свете их тропических убежищ, под бризами их пляжных домиков, выпьет их коктейли из высоких бокалов, пересядет, дабы расположиться лицом ко входу, в их публичных местах, не позволит их невинности пострадать более, чем она уже успела... поймет их эрекцию при наплыве мыслей, какие среди врачей слывут недопустимыми... заботится всего, всего, чего они не могут себе позволить бояться... вспоминая слова П. М. С. Блэкетта: «Взрывами эмоций войну не раскоцегаришь». Замурлычь придурочную мелодийку, которой тебя научили, и постарайся не слажать:

О да, я – Тот, кто фан-тазирует чужи-е гре-зы  
У меня их болячка болит,  
Пусть девка меня обнимает,  
Пусть Круппингэм-Джонз припоздает,  
Не вопрос однако, по ком звонит...

[А теперь под аккомпанемент множества туб и четырехголосья тромбонов]

Неважно, по-мо-ему, есть ли опаааасность,  
Опасность – крыша, с которой я рухнул давно, —  
Раз – и-нету-меня, прощай навек,  
Забудь, что не выкатил выпивку, Джек,  
Поссы на могилу и даль-ше крути кино!

А затем он прямо-таки *скачет* туда-обратно, подбрасывая колени и вертя тростью, у которой набалдашник – голова У. К. Филдза, нос, цилиндр и прочее всякое, и без балды способен к магии, пока бэнд играет второй рефрен. А между тем фантазмагория, настоящая фантазма-

горя накатывает на экран над головами аудитории по крошечной колее элегантно-викторианской страты, напоминающей профиль шахматного коня, задуманного прихотливо, однако не вульгарно, – затем промчавшись назад, туда-сюда, нередко образы масштабируются так проворно, так непредсказуемо, что, как ни крути, временами в розовый, как говорится, вклинивается лаймовый. Сцены – ярчайшие мгновенья Пиратовой карьеры суррогатного фантазера, они при нем с тех пор, когда он повсюду таскал знак грешков молодости «Незрелость», что безусловным клеймом вырождения рос прямо из нутра головы. Пират уже некоторое время знал, что отдельные эпизоды его снов не могут принадлежать ему. Не путем скрупулезного дневного анализа содержания – просто потому, что *знал*. Но затем настал день, когда он впервые встретил настоящего владельца сна, который снился ему, Пирату: у питьевого фонтанчика в парке, очень длинная опрятная вереница скамеек, такое чувство, будто в аккурат за причесанной кромкой недорослых кипарисов – море, серый бутовый камень на дорожках мнится мягким, точно поля федоры, можно и поспать, и тут заявляется этот слюнявый умственный отрепыш, которого ты страшился однажды встретить, и останавливается, и наблюдает, как две гёрл-гайды подстраивают напор воды в фонтанчике. Они наклонились, не соображая, очаровательные нахалки, что тем самым обнажают роковые края белых хлопковых трусиков, скругления юного жирка крошечных ягодиц – удар по Генитальному Мозгу, пусть и на рогах. Бродяга засмеялся, ткнул пальцем, а потом оглянулся на Пирата и сказал нечто из ряда вон: «А? Гёрл-гайды воду качают... и вой твой будет жар ночной... а?» – теперь глядя на одного лишь Пирата, без никакого притворства... Короче, Пирату эти слова снились позапрошлым утром, как раз перед пробуждением, они были в обычном списке призов на Состязании, где сталолюдно и опасно, из какой-то интервенции угольных улиц вовнутрь... он не очень точно помнил... перепуганный до помешательства, он ответил: «Уходите, а то полицейского позову».

Текущую задачу это решило. Но рано или поздно придет час, когда кто-нибудь еще узнает о его даре, тот, для кого это важно; у Пирата и самого имелась многосерийная фантазия – скорее даже мелодрама Эжена Сю, – в которой организация дакойтов или сицилийцев похищает его и использует в невыразимых целях.

В 1935-м у него случился первый эпизод *вне* какого-либо состояния, определяемого как сон, – то было в его Кипплинговский Период, куда ни глянешь – зверские фуззи-вуззи, в войсках пышным цветом цветут гвинейский червь и лейшманиоз, месяц никакого пива, радио глушится другими Державами, каковые пожелали владеть этими жуткими черными, бог знает зачем, и весь фольклор побоку, никакого тут тебе Кэри Гранта не порезвится, не подольет слоновьего снадобья в пунш... даже никакого Араба с Большим Сальным Носом, чтоб на нем поупражняться, как в той грустной песенке, которую слышал всякий рядовой... чему уж тут особо дивиться, если однажды в четыре засиженных мухами часа пополудни, не смыкая глаз, посреди вони гниющих дынных корок, под семидесяти-семи-миллионный повтор единственной граммофонной пластинки, что имелась в караулке, – Сэнди Макферсон на органе лабаёт «Смену караула», – Пират пережил роскошный восточный эпизод: лениво сиганул подальше за ограду и прошмыгнул в город, в Запретный Квартал. Чтоб там наткнуться на оргию, учиненную Мессией, которого почти никто еще не признал, и понять, едва глаза ваши встретились, что ты его Иоанн Креститель, его Нафан из Газы, что тебе-то и уготовано убедить его в его Божественности, возвестить о нем остальным, любить его разом нечестиво и во Имя того, что он есть... Б. З. Баш нафантазировал, больше некому. В каждом подразделении имеется по меньшей мере один Бе-Зе, тот Бе-Зе, кто никак не может запомнить, что правоверные мусульмане фотографироваться на улицах не рвутся... тот Бе-Зе, кто одалживает гимнастерку остается на мели без курева находит неуставную нычку у тебя в кармане и в самый полдень закуривает в столовке, где затем с блуждающей улыбкой и ошивается, называя сержанта, командира красных шапочек, при крещении данным именем. И само собой, едва Пират совершает ошибку, уточняя фантазию у Бе-Зе, времени проходит всего ничего, а высшие эшелоны теперь тоже

в курсе. Так и записывают в досье, и в конце концов Фирма в Своих неустанных розысках талантов, подлежащих купле, призывает Пирата под Уайтхолл – поверх синих суконных полей и нещадных настольных маневров пронаблюдать его трансы – закаченные глаза читают старое, глиптическое старое граффити на его собственных глазницах...

Первые несколько раз не щелкнуло. Фантазии ничего, только принадлежали мелким сошкам. Однако Фирма терпелива, ибо устремлены Они в Долгосрочную Перспективу. Наконец в один типический шерлок-холмсовский лондонский вечер до Пирата донесся несомненный запах газа от угасшего уличного фонаря, и из тумана впереди выступил гигантский членоподобный силуэт. Осторожно, чернотуфельно, шаг за шагом Пират подкрался ближе. Оно заскользило ему навстречу по брусчатке, улиточки лениво, оставляя в кильватере на мостовой какую-то склизкую яркость, какой не случается от тумана. Их разделяла точка перехода, которой Пират, будучи несколько проворнее, достиг первым. Попятился в ужасе, назад, за грань, – но осознания такие необратимы. *То был гигантский Аденоид*. Размером со Святого Павла как минимум, растет не по дням, а по часам. Лондон, а может, и вся Англия, в смертельной опасности!

Лимфатический монстр некогда заблокировал выдающуюся носоглотку лорда Болторарда Осмо, каковой в те времена возглавлял Новопазарский отдел в Министерстве иностранных дел – невнятное возмездие за прошедший век британской политики по Восточному вопросу, ибо на невнятном этом санджаке когда-то зиждилась вся судьба Европы:

На карте-его никто не-най-дет,  
Кто-мог предвидеть такой по-во-рот?  
Все в Черногории, в Сербии все  
Ждут ката-строфы во всей красе, – ах, детка,  
Упакуй-ка мне «глад-стон», почисть мой костюм,  
Припаси-ка мне толстых сигар —  
У меня адрес есть: «Вос-точ-ный экспресс»  
До санд-жака Но-во-па-зар!

Весьма обольстительные молодые танцовщицы кордебалета, игриво облаченные в кивера и ботфорты, некоторое время пляшут, а между тем в иных пенатах лорд Болторард Осмо *поглощается* своим растущим Аденоидом: эдвардианская медицина объяснить сию чудовищную трансформацию клеточной плазмы решительно не в силах... вскоре уже цилиндры валяются на площадях Мейфэра, дешевый парфюм бесхозно висит в огнях пабов Ист-Энда, Аденоид же неистовствует, не глотая жертв без разбору, о нет, у адского Аденоида имеется *генеральный план*, он выбирает лишь отдельных личностей, ему пользительных, – и вот новые выборы, Англию наново сплошь охватывает недоходяжеская претерияция, отчего Министерство внутренних дел впадает в истерическую и болезненную нерешительность... никто не знает, *что же* делать... следует неохотное поползновение эвакуировать Лондон, черные фаэтоны грохочут мощными муравьиными кортежами по ажурным мостам, в небе зависли аэростаты наблюдателей: «Засек его в Хэмпстед-Хите, сидит и *дышит*, вроде как... вдох, выдох...» – «Что-нибудь оттуда *слышно?*» – «Да, это ужасно... будто великанский *нос* сопли втягивает... погодите, оно сейчас... начинает... о *нет*... о господи, я не могу это описать, это звер...» – канат лопается, связь обрывается, шарик улетел в зеленовато-голубую зарю. Из Кавендишской лаборатории прибывают бригады – опоясать Хит громадными магнитами, электродуговыми терминалами, панелями черной жести, кои утыканы шкалами и рукоятками, заявляется военщина в полной боевой экипировке, с бомбами, налитыми новейшим смертоносным газом: Аденоида взрывают, трясут электрошоком, травят, он там и сям меняет цвет и форму, высоко над деревьями надуваются желтые жировики... прямо под вспышками фотокамер Прессы гнусная

зеленая псевдоподия подползает к войсковому кордону и вдруг – *шлльлюп!* – целый наблюдательный пост сметен валом какой-то отвратительной оранжевой слизи, в которой несчастные люди *перевариваются* – не кричат, а вообще-то смеются, явно *наслаждаясь*...

Задача Пирата/Осмо – установить контакт с Аденоидом. Положение стабилизировалось, Аденоид заграбастал весь Сент-Джеймс, никаких вам больше памятников архитектуры, правительственные конторы перебазированы, однако столь рассредоточены, что связь между ними весьма прерывиста – почтальонов на пути перехватывают туго-прыщавые сияюще-бежевые щупальца Аденоида, телеграфные провода готовы оборваться по малейшему его капризу. По утрам лорд Болторард Осмо, нацепив котелок и прихватив портфель, обязан свершать каждодневный демарш к Аденоиду. Это отнимает столько времени, что лорд почти забрасывает Новопазарский санджак, и МИД встревожен. В тридцатых о политическом равновесии еще пеклись всерьез, все дипломаты полегли с балканозом, шпионы с иностранными гибридными именами сновали по всем базам Оттоманского охвостья, кодированные сообщения на десятке славянских языков татуировались на голых верхних губах, где оперативники отращивали усы, кои сбрасывали затем лишь авторизованные офицеры-криптографы, а пластические хирурги Фирмы пересаживали кожу поверх... губы эти – палимпсест тайной плоти, исшрамленной и ненатурально белой, по которой все они друг друга узнавали.

Так или иначе, Новопазар оставался *croix mystique*<sup>3</sup> на ладони Европы, и МИД решился в итоге обратиться за помощью в Фирму. Фирма знала, кому поручить.

2½года Пират каждый день отправлялся с визитом к Сент-Джеймскому Аденоиду. Чуть не сбрендил. Правда, исхитрился разработать пиджин, на котором им с Аденоидом удавалось общаться, но, увы, Пиратово назальное оснащение не позволяло четко артикулировать, и задача была убийственная. Они с Аденоидом шмыгали кто во что горазд, а алиенисты в черных пиджаках о семи пуговицах, почитатели доктора Фрейда, на которых Аденоиду явно было начхать, стояли на стремянках, прислоненных к тошнотворному сероватому боку, гребли новое чудо-снадобье кокаин, *корытами* посменно таскали белый порошок вверх по лестницам и размазывали его по пульсирующей гигантской железе, по микробным токсинам, что ужасно булькали в его криптах, – и притом совершенно безрезультатно (хотя кто знает, каково было Аденоиду, а?).

Однако лорд Болторард Осмо наконец смог целиком посвятить себя Новопазару. В начале 1939-го Осмо нашли в ванне пудинга из тапиоки в доме Некой Виконтессы – лорд таинственно задохнулся. Кое-кто разглядел в этом руку Фирмы. Прошли месяцы, началась Вторая мировая война, прошли годы, из Новопазара – ни словечка. Пират Апереткин спас Европу от Балканского Армагеддона, о котором грезили старики, слабея в постелях пред величием оного, – хотя от Второй мировой, конечно, не спас. Но к тому времени Фирма позволяла Пирату лишь крошечные гомеопатические дозы мира – в самый раз, чтоб не рухнули его бастионы, но не хватит, чтобы его отравить.

\* \* \*

У Тедди Бомбажа – обеденный перерыв, только обед сегодня – бе-э, раскисший банановый сэндвич в вошанке, который Тедди уложил в стильный вещмешок из кенгуриной шкуры и уместил меж всяко-разных причиндалов – карликовой шпионской фотокамеры, баночки воска для усов, жестянки лакричных, ментоловых и перечных «Пастилок для пасторалей», солнечных очков с диоптриями, в золотой оправе, а-ля генерал Макарттур, парных щеток для волос,

---

<sup>3</sup> Мистический крест (*фр.*).

каждая – в форме пылающего меча ВЕГСЭВ<sup>4</sup>, кои маменька заказала ему у «Гаррарда», а Бомбаж полагает изысканными.

Цель его этим моросливым зимним полуднем – серый каменный особняк, ни крупный, ни историчный, путеводителей недостойный, чуть в глубине, чтоб не видели с Гроувнор-сквер, несколько в стороне от официально натоптанных столичных троп войны и коридоров власти. Едва смолкнут пишмашинки (в 8:20 и прочие мифические часы), если в небе не летают американские бомбардировщики, а на Оксфорд-стрит прореживается уличное движение, снаружи доносится писк зимних птиц, толпящихся деловито у кормушек, сооруженных девочками.

Плитняк от хмари весь осклизл. Стоит темная, трудная, оголодавшая по табаку, болеговая, изжоговая середина дня, миллион бюрократов усердно проектируют смерть и некоторые даже это сознают, многие уже впились во вторую или третью пинту или хайбол, отчего здесь разливается некое отчаянье. Но Бомбаж, входя в обложенные мешками с песком двери (о да, провизорные пирамиды, возведенные ради потворства приплоду любопытных богов), ничего этого ощутить не в силах: слишком занят перебором правдоподобных откоряк на случай, если его вдруг поймают, – не то чтоб он ловился, сами понимаете...

Девушка за стойкой – добродушная очкастая служащая ВТС<sup>5</sup> – чпокает жвачкой и взмахом руки отправляет его вверх по лестнице. Шерстяные взмокшие адъютанты на перегонах – к штабным собраниям, ватерклозетам, часу-двум пития по серьезу – кивают на ходу, Бомбажа вообще-то не видя: примелькавшееся лицо, приятель этого-как-его-там, они кореша по Оксфорду или где, того летёхи, что работает в АХТУНГе...

Старое здание покромсали военные трущоботворцы. АХТУНГ – это Администрация хозяйственно-технических управлений Норд-Германии. Прокуренный бумажный гадюшник в данный момент практически пуст, черные пишмашинки высаятся надгробьями. Пол – изгвазданный линолеум, окон нет; электросвет желтушен, дешев, безжалостен. Бомбаж заглядывает в кабинет, отведенный его старому приятелю по колледжу Иисуса, лейтенанту Оливеру Муссору-Мафффику, прозвище – Галоп. Никого. Галоп и янки обедают. Хорошо. Стало быть, камеру выни-май, гибкую лампу зажи-гай, подправим-ка абажурчик...

Такие клетушки раскиданы, должно быть, по всему Е-ТВД<sup>6</sup>: лишь три замурзанные обшарпанно-кремовые стенки из фибролита и никакого собственно потолка. Галоп делит ее со своим американским коллегой – лейтенантом Энией Ленитропом. Их столы – под прямым углом друг к другу, поэтому взглядами коллеги встречаются, лишь неуклюже скрипнув градусов на 90. Стол Галопа чист, а у Ленитропа кошмарный завал. Не расчищали до первоначальной древесной поверхности с 1942 года. Все разлеглось приблизительно слоями на основе бюрократической смегмы, какая неизменно оседает на дно и состоит из миллионов крохотных красных и бурых кудряшек стирательной резинки, карандашных стружек, высохших пятен чая или кофе, потеков сахара и «Хозяйственного молока», избытка табачного пепла, тончайших черных хлопьев, снятых и сброшенных с ленты пишущей машинки, разлагающегося библиотечного клейстера, ломаных таблеток аспирина, искрошенных в пудру. Выше следует разброс канцелярских скрепок, кремней от «зиппо», резинок, проволочных скобок, окурков и мятых сигаретных пачек, заблудших спичек, булавок и кнопок, перьев от ручек, карандашных огрызков всех цветов, включая дефицитные гелиотроп и умбру, деревянных кофейных ложечек, пастилок для горла «Скользкий вяз» от компании «Тэйерз», что шлет Ленитропу мама Наллина из самого Массачусетса, кусков клейкой ленты, бечевки, мела... над этим – слой забытых меморандумов, пустых продовольственных книжек цвета буйволовой кожи, телефонных номеров, неотвеченных писем, изодранных листов копирки, накарябанных аккордов для гавайской

---

<sup>4</sup> Верховное главнокомандование, союзные экспедиционные войска.

<sup>5</sup> Вспомогательные территориальные службы.

<sup>6</sup> Европейский театр военных действий.

гитары к дюжине песенок, включая «Джонни-Пончик нашел себе розу в Ирландии» («У него и впрямь есть броские аранжировки, – сообщает Галоп. – Он что-то вроде американского Джорджа Формби, если можно себе такое представить», – но Бомбаж решил, что лучше не представлять), пустой бутылки из-под тоника для волос «Кремль», потерявшихся кусочков от разных пазлов, на которых изображены части янтарного левого глаза веймаранера, зеленых бархатных складок вечернего платья, сланцево-голубых прожилок далекого облака, оранжевого нимба взрыва (а может, и заката), заклепок в обшивке «Летающей крепости», розовой мякоти внутренней поверхности бедра, принадлежащего надувшей губки красотке с плаката... несколько старых Ежедневных Разведотчетов «G-2»<sup>7</sup>, лопнувшая струна от гавайской гитары, свернувшаяся штопором, коробки клейких бумажных звездочек множества оттенков, детали фонарика, крышка от обувного крема «Самородок», в которой Ленитроп время от времени разглядывает свое нечеткое забронзовевшее отражение, сколько угодно справочников из библиотеки АХТУНГа, что дальше по коридору, – немецкий технический словарь, «Особое руководство» Мининдела или «Городской план» – и, если только не сопрут или не выкинут, «Новости мира» тоже где-то непременно завалились: Ленитроп – преданный читатель.

К стене у стола Ленитропа прищиплена карта Лондона, коей сейчас и занят Бомбаж – фотографирует крохотной камерой. Вещмешок открыт, и клетушка постепенно заполняется запахом переспелых бананов. Зажечь ли чинарик, чтоб так не воняло? воздух не очень колыхается, поймут же, что здесь кто-то был. У него уходит четыре кадра, шелк-чиррики-шелк, батюшки, какие мы стали умелые, – только кто сунется, камеру в мешок плюх, а там банановый сэндвич смягчит падение – что предательский звук, что вредную перегрузку, все едино.

Жаль только, тот, кто финансирует эту маленькую проказу, не раскошелился на цветную пленку. Может, смотрелось бы иначе, думает Бомбаж, хотя спрашивать вроде и некого. Звездочки, наклеенные на карту Ленитропа, охватывают весь возможный спектр, начиная с серебряистой (помеченной «Дарлина»), которая делит созвездие с Глэдис, зелененькой, и Кэтрин, золотой, после чего глаз перемещается на Элис, Делорес, Ширли, Салли-другую – они тут в основном красные и синие – в кластер у Тауэр-Хилла, фиолетовую плотность вокруг Ковент-Гардена, небулярный поток в Мейфэре, Сохо, дальше к Уэмбли и до самого Хэмпстед-Хита – во все стороны расползается эта глянцева, разноцветная, тут и там шелушащаяся небесная твердь, Каролины, Марии, Анны, Сьюзены, Элизабеты.

Но цвета, быть может, случайны, неcodированны. Возможно, таких и девушек-то нет. Со слов Галопа, после недель ненавязчивых вопросов (*мы знаем, что вы с ним вместе учились, но вовлекать его слишком рискованно*) Бомбаж способен лишь отрапортовать, что Ленитроп начал трудиться над этой картой прошлой осенью, примерно тогда же, когда стал выезжать по заданию АХТУНГа на осмотр мест ракетно-бомбовых налетов – видать, в своих странствиях смерти умудряясь выкраивать время на волоченье за юбками. Если имеется причина для нанесения звезд каждые несколько дней, мужик ее не растолковал – и не похоже, что это самореклама, ибо Галоп – единственный, кто вообще на эту карту глядит, да и то больше с добродушием антрополога: «Такой вот безобидный конек у янки, – докладывает он своему другу Бомбажу. – Может, чтоб никого не забыть. У него и впрямь довольно причудливая светская жизнь», – после чего заводит историю о Лоррейн и Джуди, констебле-гомосексуале Чарлзе и пианино в пантехниконе, или об эксцентричном маскараде с участием Глории и ее сексапильной мамы, ставках в одну «лошадку» на игру между Блэкпулом и Престоном – Норт-Эндом, неприличной версии «Тихой ночи» и благоприятном тумане. Но ни одна из этих баек никак не способна просветить тех, к кому Бомбаж ходит с докладом...

Ну вот. Закончил. Мешок застегнут, лампа выключена и передвинута на место. Может, еще застанет Галопа в «Машине и багре», пропустят по пинте, как добрые товарищи. Он дви-

<sup>7</sup> Армейская разведка.

жется назад по лабиринту древесноволокнистых плит, под этим худосочным желтым светом, раздвигая приливные волны входящих девушек в галошах, индифферентный Бомбаж, неулыбчивый, сейчас тут не время, видите ли, шлепки нашлепывать да щекоткой баловаться, ему еще дневную доставку надо осуществить...

\* \* \*

Ветер сдвинулся к юго-западу, и барометр падает. Чуть за полдень, под накатом дождевых туч уже темно, будто вечер. Энию Ленитропа тоже застанет. Сегодня была долгая идиотская погоня до нулевой долготы, а предъявить, как водится, нечего. Предполагалось, что очередной преждевременный разрыв в воздухе, комыа горячей ракеты обдали окрестности на мили вокруг, главным образом – реку, всего один сохранил хоть какую форму, да и тот к Ленитропову приезду окружен плотнейшим кордоном, каких Ленитроп и не видывал, – и несговорчивейшим к тому ж. Мягкие выцветшие береты на фоне сланцевых облаков, «стены» третьей модели поставлены на стрельбу очередями, громадные верхние губы покрыты усами во весь рот, чувства юмора ноль – никакому американскому лейтенанту не светит глянуть, сегодня уж точно.

Как ни верти, АХТУНГ – бедный родственник союзнической разведки. На сей раз Ленитроп хотя бы не одинок, он слегка утешается, видя, как коллега из Техразведки, а вскоре и глава отдела одного коллеги в суете прибывают на место в «вулзли-осе» 37 года, и обоим тоже от ворот поворот. Ха! Ни тот ни другой не отвечают на сочувственный Ленитропов кивок. Фиговы дела, братцы. Но ушлый Эния околачивается неподалеку, раздаст сигареты «Нежданная удача» и успеваает хотя бы разузнать, что тут за Нежданная Неудача свалилась.

А тут вот что: графитный цилиндр дюймов шесть в длину и в диаметре два, редкие чешуйки армейской зеленой краски уцелели, прочее обуглилось. Только этот обломок и пережил взрыв. По-видимому, так и было задумано. Внутри, похоже, напиханы бумаги. Старшина руку обжег, когда его подбирал, и все слышали, как он заверещал *Ай, бядь*, рассмешив солдатню, у которой жалованье поменьше. Все поджидали капитана Апереткина из Д. О. О. (уж *это* вздорное мудачье никогда не спешит), и вот он как раз и появляется. Ленитроп видит мельком – обветренное лицо, здоровый засранец. Апереткин забирает цилиндр, уезжает, и на этом все.

В каком случае, мыслит Ленитроп, АХТУНГ может эдак утомленно послать пятидесятимиллионный межведомственный запрос в это самое Д. О. О., поинтересоваться каким-нибудь отчетом о содержимом цилиндра и, как обычно, на запрос будет положено с прибором. Это ничего, Ленитроп не в обиде. Д. О. О. кладет на всех, и все кладут на АХТУНГ. Да и и какая вообще разница? На ближайшее время это его последняя ракета. Будем надеяться, навсегда.

С утра в корзине «Входящие» обнаружили приказы: командировка в какой-то госпиталь в Ист-Энде. Ни слова пояснений, кроме машинописной копии меморандума в АХТУНГ, требующей его назначения «в рамках программы тестирования Д. П. П.». Тестирования? Д. П. П. – Директорат Политической Пропаганды, Ленитроп проверил. Сомнений нет – очередная Миннесотская Многопрофильная галиматья. Но хоть отвлечется от охоты за ракетами, она слегка уже приедается.

Когда-то Ленитроп болел за дело. Без шуток. Ну то есть, сейчас ему так кажется. Много всего, что было до 1944-го, теперь расплывается. Из первого Блища он помнит лишь долгое везенье. Чем бы люфтваффе ни швырялось, рядом с Ленитропом ничего не падало. Но летом они перешли на эти свои «жужелицы». Идешь себе по улице или в постели уже почти закемарись, и вдруг пердеж над крышами – если продолжается, нарастает до предела, а потом минует – ну и ладно, не моя, стало быть, забота... но если затыкается двигатель – берегись, Джексон:

снаряд в нырок, топливо плещется в корме, подальше от форсунок, и у тебя 10 секунд, чтоб куда-нибудь заползти. Ну, вообще-то не ужасно. Со временем приспособливаешься – уже ставишь по чуть-чуть, шиллинг-два, держишь пари с Галопом Муссором-Маффиком за соседним столом, где следующая перделка грохнет...

Но потом в сентябре прилетели ракеты. Ракеты пиздоклятые. Вот к этим ебучкам не приспособишься. Без шансов. Впервые он с изумлением понял, что боится. Начал больше пить, меньше спать, курить беспрерывно, как-то чуя, что его разводят как сосунка. Господи, нельзя же и дальше вот *так*...

– Я гляжу, Ленитроп, у тебя уже одна во рту...

– Нервное. – Ленитроп все равно прикуривает.

– Ну не *мою* же, – умоляет Галоп.

– Две разом, видал? – наставляя их вниз, точно клыки из комиксов.

Лейтенанты таращатся друг на друга сквозь подпитые тени, а день углубляется за высокими холодными окнами «Машины и багра», и Галоп вот-вот рассмеется, фыркнет о господи через всю древесную Атлантику стола.

Атлантик случилось во множестве за эти три года, нередко суровее той, кою некий Уильям, первый трансатлантический Ленитроп, пересек много предков назад. Варварство костюма и речи, ляпсусы в поведении – в один кошмарный вечер их обоих вытурили из Атенея для Младшего Комсостава, поскольку пьяный Ленитроп, Галопов гость, целил клювом совиного чучела в яремную вену Дековерли Сифу, а тот, пригвожденный к бильярдному столу, пытался загнать шар Ленитропу в глотку. Подобное творится пугающе часто; и все же доброта – ничего себе крепкое судно для таких океанов, Галоп всегда рядом, краснеет, лыбится, и Ленитроп поражен: когда речь о деле, Галоп ни разу его не подводил.

Ленитроп знает, что можно выговориться. Тут особо ни при чем сегодняшний амурный отчет о Норме (пухлые ножки, как у малявки из каких-нибудь Кедровых Стремнин, что и в свет еще не вышла), Марджори (высокая, изящная, фигура – как из кордебалета «Мельницы») и странных происшествий субботнего вечера в клубе «Фрик-Фрак» в Сохо, дурной славы притоне с подвижными прожекторами всевозможных пастельных оттенков, табличками ВХОД ВОСПРЕЩЕН и ДЖИТТЕРБАГ НЕ ТАНЦЕВАТЬ, чтоб не докапывались, заглядывая время от времени, разнообразнейшие полицейские, военные и гражданские – что бы ни означало в наши времена «гражданский»; в притоне, где, вопреки всем вероятностям, в итоге некоего чудовищного тайного сговора Ленитроп, встречавшийся с одной, входит и видит кого? – *обеих*: выстроились, ракурс выбран лично для него, над синим шерстяным плечом машиниста 3-го класса, под пленительной голой подмышкой девчонки, что нарочито застывает в вихрях линдихопа, и тут подвижный свет пятнает кожу бледно-лиловым, и сразу накачивает паранойя, а два лица начинают оборачиваться к нему...

Обе юные леди между тем – серебряные звезды на Ленитроповой карте. Видимо, оба раза сам он словно серебрился – сверкал, звенел. Звездочки, что он клеит, расцвечены согласно лишь его ощущениям в тот день, от посинения до позолоты. Ни за что никому званий не давать – да и как можно? Карту видит один Галоп, и, господи, *все* они прекрасны... Ленитроп находит их в листе иль цветке вокруг своего зимующего города, в чайных, в очередях, они подвязаны платочками и закутаны в пальто, вздыхают, чихают, эти фильдекосовые ноги на бордюрах, они ловят машину, печатают, раскладывают по папкам, из помпадуров торчат побеги желтых карандашей, – дамы, персики, девицы в обтяжку – да, пожалуй, чуточку одержимость, однако... «Я знаю, в мире – в достатке дикой любви и радости, – проповедовал Томас Хукер, – как бывают дикий чабрец и прочие травы; но мы станем возделывать сад любви и возделывать сад радости, что посадил Господь». Как растет Ленитропов сад. Полнится голубушками, и незабудками, и плакун-травой – и повсюду, желто-фиолетовые, как засосы, эфемеры.

Он любит рассказывать им про светлячков. Английские девушки про светлячков не знают – вот, собственно, почти все, что Ленитроп знает наверняка про английских девушек.

Карта озадачивает Галопа будь здоров. Ее не спишешь на обычное громогласное американское мудоебство, разве что рефлекс студиозуса в вакууме, рефлекс, которого Ленитропу не сдержать, все гавкает в пустых лабораториях, в червоточинах гулких коридоров, когда нужда прошла давным-давно, а братья отправились на Вторую мировую к своим шансам подохнуть. Вообще-то Ленитроп не любит распространяться о девушках: даже теперь Галопу приходится дипломатично его подзуживать. Поначалу Ленитроп из старомодного джентльменства не говорил вообще ничего, пока не выяснил, насколько застенчив Галоп. До него дошло тогда: Галоп жаждет, чтоб ему нашли тетку. И примерно тогда же Галоп стал различать масштабы Ленитропова отчуждения. Похоже, у Ленитропа никого не было в Лондоне, помимо оравы девиц, с которыми он редко встречался дважды, – ему вовсе не с кем поговорить *хоть о чем*.

И все же Ленитроп, добросовестный охламон, всякий день обновляет карту. В лучшем случае она воспекает поток, мимолетность, из которой – среди внезапных небесных низвержений, таинственных приказов, что поступают из темной суеты ночей, для него самого лишь праздных, – он может выкроить миг-другой там и сям, дни снова холодеют, по утрам иней, пощупать груди Дженнифер под холодной шерстью свитера, надетого, чтобы чуточку согреться в угольно-дымном коридоре, дневное уныние коего он никогда не узнаёт... чашка «Боврила», на йоту не дотянувшая до кипения, обжигает его голую коленку, и Айрин, нагая, как и он, в глыбе застекленного солнца, перебирает драгоценные нейлоновые чулки, ища пару без дорожек, и каждый пробит вспышкой света из зимней наружной шпалеры... у Эллисон стильные гнусавые американско-девичьи голоса верещат из бороздок какой-то пластинки сквозь терновую иглу маминой радиолы... тискаешься ради тепла, по окнам сплошь затемнение, ни проблеска, лишь уголек их последней сигареты, английский светлячок, по прихоти ее скачет скорописно, за собою оставляя след – слова, которых ему никак не прочесть...

– И что дальше? – Ленитроп безмолвствует. – Эти твои «ЖаВОронки»...<sup>8</sup> когда тебя засекли... – Потом замечает, что Ленитропа, который не продолжает байку, всего колотит. Вообще-то его колотит уже некоторое время. Тут холодно, но не до такой степени. – Ленитроп...

– Не знаю. Господи боже. – Впрочем, занимательно. Дичайшее ощущение. Не выходит остановиться. Он поднимает воротник «Айковой тужурки», руки прячет в рукава, так и сидит.

Наконец, после паузы, движется сигарета.

– Не слышно, когда они прилетают.

Галоп понимает, что за «они». Отводит глаза. Краткое молчание.

– Конечно, не слышно – они же сверхзвуковые.

– Да, но... не в том дело, – слова прорываются наружу через пульсацию дрожи, – другие, эти V-1, их слышно. Верно? Может, есть шанс убраться с дороги. А эти хреновины сначала взрываются, и-и *потом* слышишь, как они прилетели. Только если мертвый, ты их *не* услышишь.

– В пехоте та же петрушка. Сам знаешь. Ту, которая твоя, никогда не слышно.

– Э, но...

– Считай, Ленитроп, что это очень большая пуля. Со стабилизатором.

– Господи, – стуча зубами, – ну ты утешил.

Галоп, тревожно склонившись в хмельной вони и бурой мгле, терзаемый Ленитроповым мандражом более, чем любым собственным фантомом, умеет отогнать наваждение лишь по установленным каналам – и они, так вышло, ему известны.

– Давай попробуем – может, удастся тебя отправить куда-нибудь, где грохнуло...

---

<sup>8</sup> От ЖВО – Женский вспомогательный отряд ВМС Великобритании.

– Зачем? Да ладно тебе, Галоп, от них же ничего не осталось. Нет?

– Не знаю. Сомневаюсь, что даже немцы знают. Но лучшего шанса утереть носы этим, из Техразведки, у нас не будет. Ведь правда.

И вот таким образом Ленитроп влез в расследование «инцидентов» с V-бомбой. Последствий. Каждое утро – поначалу – кто-нибудь из Гражданской Обороны переправлял АХТУНГу список вчерашних взрывов. В последнюю очередь список поступал к Ленитропу, тот отцеплял искаляканную карандашом сопроводилровку, на одном и том же стареющем «хамбере» выруливал из гаража и отправлялся по маршруту – припозднившийся Святой Георгий уезжал высискивать помет Зверя, фрагменты немецкого железа, которое не желало существовать, в блокнот черкал пустые заключения; трудотерапия. Входящие в АХТУНГ ускорялись, и нередко он являлся на место вовремя и успевал помочь поисковым отрядам: за неугомонно-мускулистыми собаками королевских ВВС погружался в штукатурную вонь, газовые утечки, косые длинные щепки и провисшие сетки, распростертые и безносые кариатиды, – ржавчина уже накинута на гвозди, и оголилась нарезка, пыльный мазок длани Ничто по обоям, шелестящим павлинами, что распустили хвосты по густым лужайкам пред стародавними георгианскими особняками, пред безопасными рощами каменных дубов... среди криков «тихо!» шел туда, где ждала высунутая рука или ярко мелькала кожа, выживший или жертва. Когда нечем было помогать, он держался в сторонке, первое время молился Богу, как полагается, впервые с того Блица, чтобы победила жизнь. Но слишком многие умирали, и вскоре, не видя смысла, он бросил.

Вчера выдался хороший день. Нашли ребенка, живого, маленькую девочку, полузадохшуюся под Моррисоновым бомбоубежищем. Дожидаясь носилок, Ленитроп держал ее ладошку, от холода пунцовую. На улице лаяли собаки. Открыв глаза и увидев его, она первым делом сказала: «Эй, бугай, жвачки дай». Застряла на двое суток без жвачки, – а у него нашелся только «Скользкий вяз». Идиот, право слово. Перед тем как ее забрали, она все равно потянула его за руку, поцеловала ее, щека и губы в свете фальшфейеров холодны, как иней, раз – и город вокруг, точно громадный опустошенный лёдник, затхлый и на веки вечные без сюрпризов внутри. И тут она улыбнулась, совсем слабенько, и он понял, что вот этого и ждал, ух ты, улыбка Ширли Темпл, будто вот именно это всецело отменяло все, посреди чего ее нашли. Дурость несусветная. Он болтается у подножья лавины своей крови, 300 лет западных болотных янки, и в силах разве что нервное перемирие заключить с их провидением. *Détente*<sup>9</sup>. Всякая руина, куда он заглядывает каждодневно, – проповедь о суетности. Недели истлевают, а он не находит ни малейшего фрагмента никакой ракеты, и сие учит тому, как бесконечно мал акт смерти... Путь паломника Ленитропа; мирской град Лондон наставляет его: заверни за любой угол – и можешь оказаться в пригче.

Он помешался на мысли о ракете, надписанной его именем, – если они и впрямь взялись его прикончить («Они» охватывает вероятности гораздо, гораздо шире, нежели Нацистская Германия), это вернейший способ, им ни шиша не стоит намалевать его имя *на каждой, правда же?*

– Ну да, может сгодиться, а? – Галоп, поглядывая на него странно. – Особенно на поле боя, знаешь, что-нибудь эдакое *изобразить*. Шибко полезно. «Оперативная паранойя», считай, – в таком духе. Но...

– Да и-и кто изображает? – закуривая, тряся челкой в дыму. – Черти червивые, Галоп, послушай, не хочу тебя расстраивать, но... Ну то есть, я на четыре года затормозил, это да, оно могло случиться *в любой момент*, в следующую секунду, ага, просто вдруг... блядь... просто ноль, просто ничто... и...

Он этого не видит, не может ткнуть пальцем – внезапно газы, в воздухе разбой, а потом ни следа... Слово, негаданно произнесенное тебе в самое ухо, затем – навек бессловесность.

<sup>9</sup> Разрядка (фр.).

Помимо невидимости, помимо падения молота и трубного гласа, вот он, подлинный ужас, дразнится, с германской педантичной уверенностью сулит ему смерть, с хохотом отметаает все Галоповы приглушенные деликатности... нет, никакой пули со стабилизатором, а... не Слово, не единственное Слово, что на клочки раздирает день...

Прошлый сентябрь, был вечер, пятница, только после работы, шел к станции подземки «Бонд-стрит», мысли заняты предстоящими выходными и двумя его «ЖаВОронками», этой Нормой и этой Марджори, которым знать друг о друге – ни-ни, и только он поднял руку, чтоб ковырнуть в носу, вдруг в милях за спиной и вверх по реке – *memento-mori*<sup>10</sup> в небе, резкий треск и мощный взрыв, раскатился сразу, почти как удар грома. Но не вполне. Еще несколько секунд, и вот впереди повторилось: ясно и громко, на весь город. Вилка. Не «жужелица», не люфтваффе.

– И не гром, – озадачился он вслух.

– Да газопровод какой-то грохнуло. – Дамочка с коробкой для обеда, припухлоглазая к концу дня, ткнула его локтем в спину, проходя мимо.

– Не, это немцы, – ее подруга с закрученной белокурой бахромой под клетчатым платочком изображает какой-то монструозный ритуал, воздевает руки к Ленигропу, – пришли вот за ним, прям *обожают* толстеньких пухленьких америкашечек, – еще минута, и она дотянется и ущипнет его за щеку, помотает туда-сюда.

– Приветик, красотуля, – сказал Ленигроп. Ее звали Синтия. Он умудрился добыть номер телефона, прежде чем она махнула «пока», вновь погружаясь в прибор час-пиковой толпы.

В Лондоне был очередной великолепный железный день: желтое солнце раздраживают тысячи дымоходов, сопят, тычутся вверх без стыда. Дым сей – не просто дыхание дня, не просто темная сила – это верховное присутствие, оно живет и движется. Люди переходили улицы и площади, шли повсеместно. Автобусы уползали сотнями по длинным бетонным виадукам, изгвазданным годами безжалостного употребления и нулевым удовольствием, в дымчатую серость, сальную черноту, красный свинец и бледный алюминий, между грудями отходов, что вздымались, как многоквартирники, по кривым, что расталкивают обочины и вливаются в дороги, забитые армейскими конвоями, другими высокими автобусами и брезентовыми грузовиками, велосипедами и легковушками, и у каждого свое назначение и начало, каждый плывет, притормаживает то и дело, а над всем этим гигантская газовая развалина солнца среди заводских труб, аэростаты заграждения, линии электропередачи и дымоходы, бурые, как дерево, что состарилось в доме, бурость темнеет, чрез мгновенье подбирается к черноте – возможно, истинному лицу заката, – коя для тебя вино, вино и отрада.

Миг настал в 6:43:16 по британскому двойному летнему времени: излущенное, как барабан Смерти, небо еще гудит, а Ленигропов хуй – простите, что? ага, вы гляньте-ка в его армейские трусы, да там коварный *стояк* копошится, того и гляди вспрыгнет – о всемогущий господь, а *это* еще откуда взялось?

В его истории и, вероятно, помоги ему Боже, в его досье зафиксирована необычайная чувствительность к тому, что являет небо. (Но *стояк*?)

Дома, в Мандаборо, штат Массачусетс, на старом аспидном сланце надгробья на приходском кладбище конгрегационалистской церкви Божья длань возникает из облака, контуры тут и там разъедены 200 годами трудов сезонных зубил огня и льда, а надпись гласит:

*В Память Константа  
Ленигропа, почил марта  
4-ого лета 1766-го будучи  
29 годов отроду.*

<sup>10</sup> Помни о смерти (лат.).

*Мы смертью платим долг природе что ни год.  
Я уплатил, а дальше твой черед.*

Констант прозревал – и не одним лишь сердцем – эту каменную длань, указующую из мирских облаков, указующую прямо на него, и контуры ее очерчены невыносимым светом, – прозревал ее над шепотом своей реки и склонами своих покатых синих Беркширских холмов, как и сын его, Перемен Ленитроп, да и все в роду Ленитропов так или иначе – девять или десять поколений, что кувыркаются назад, ветвятся внутрь: все, кроме Уильяма, самого первого, что лежит под палой листвою – мята и пурпурный дербенник, зябкий вяз и тени ивы над погостом у болота в затыжном пути гниения, размывания, слияния с землею, камни являют круглолицых ангелов с длинными песьими мордами, зубастые черепа с зияющими глазницами, масонские эмблемы, цветистые урны, перистый ивняк, прямой и изломанный, истощенные песочные часы, солнечные лики, что вот-вот встанут или сядут – глаза выглядывают из-за их горизонта на манер вездесущего Килроя, а эпитафии – от прямолинейных и честных, как у Константа Ленитропа, до тряского размера «Усеянного звездами стяга» у миссис Элизабет, жены лейтенанта Исаяи Ленитропа (ум. 1812):

Прощайте, друзья, я в могиле теперь,  
Смерть явилась ко мне за своей вечной данью.  
Восстанет Христос, Он спасет Свою дочь,  
Я Его жду отныне, как учит Писанье.  
Услышь! Не помыслить о небе грешно.  
Будь богат ты и весел – умрешь все равно.  
В горней тьме, Вседержитель, нас благослови,  
Испытания наши – знак Божьей Любви.

И до дедушки текущего Ленитропа, Фредерика (ум. 1933), кто с типическим сарказмом и вероломством спер себе эпитафию у Эмили Дикинсон, не указав авторства:

Коль я за смертью не зашел,  
Она пришла за мной<sup>11</sup>.

Всякий в свой черед платил долг природе, а излишки завещал следующему звену в фамильной цепи. Они начинали скупщиками пушнины, башмачниками, солильщиками и коптильщиками свинины, перешли на стеклоделие, стали членами городского правления, строителями сырмятен, мраморных каменоломен. Округ на мили окрест изошел на некрополь, серый от мраморной пыли – пыли, что была вздохами, призраками всех этих псевдоафинских монументов, которые где только ни прорастали по всей Республике. Вечно где-нибудь не здесь. Деньги утекали наружу через портфели акций мудренее любой генеалогии: что оставалось в Беркшире, уходило в лесные уголья, коих убывающие зеленые просторы акрами во мгновение ока преобразовывались в бумагу – туалетную, банкноты, газеты, среду либо основу для говна, денег и Слова. Они не были аристократами, ни один Ленитроп не закрался в «Светский альманах» или «Сомерсет-клуб» – они вели свое предприятие в безмолвии, по жизни сливались с динамикой, что окружала их совершенно, как посмертно сольются и с кладбищенской землей. Говно, деньги и Слово, три американские истины, движущие силы американской мобильности, присвоили Ленитропов, навеки прицепили к судьбе страны.

---

<sup>11</sup> Перев. Б. Лейви.

Но они не процветали... они разве только упорствовали – и хотя все у них начало распадаться, примерно когда Эмили Дикинсон, что всегда была неподалеку, писала:

В распаде – порядок: труд  
Дьявола нетороплив;  
Ничто не рушится вмиг —  
Крах всегда терпелив, —

они все-таки продолжали. Другим традиция была ясна, все знали: добудь, разработай, возьми все, что можешь, пока есть, потом двигай на запад, там еще полным-полно. Однако из некоей благоразумной инерции Ленигропы засели на востоке в Беркшире, упрямылись – подле затопленных каменоломен и раскорчеванных склонов, что наоставляли, точно подписанные признания, по всей этой соломенно-бурой гнилостной колдовской земле. Доходы иссякали, семья неустанно множилась. Проценты из разнообразных номерных доверительных фондов в бостонских семейных банках по-прежнему каждое второе или третье поколение обращались в еще какой-нибудь фонд, долгим раллентандо, бесконечными повторами, еле уловимо, срок за сроком, умирая... но ровно до нуля – никогда.

Депрессия – когда пришла – ратифицировала происходящее. Ленигрок вырос среди горного опустошения компаний, идущих на дно, живые изгороди вокруг владений безмерно богатых полумифических дачников из Нью-Йорка опять впали в зеленую дикость или соломенную гибель, хрустальные окошки побиты все до единого, Гарриманы и Уитни смылись, газоны родят сено, а осени – больше не время для далеких фокстротов, лимузинов и ламп, но снова лишь для привычных сверчков, снова для яблок, ранние заморозки гонят колибри прочь, восточный ветер, октябрьский дождь: только зимние несомненности.

В 1931-м, в год Большого пожара в отеле «Эспинуолл», молодой Эния гостил у тети с дядей в Леноксе. Стоял апрель, но пару секунд, пробуждаясь в чужой комнате под грохот ног старших и младших кузенов на лестнице, он думал о зиме, до того часто его будили вот так, после такого же сна, папа или Хоган, и он промаргивался сквозь напластования грез, а они волокли его наружу, на холод, глядеть Северное Сияние.

Пугало его до усрачки. А лучистый занавес вот сейчас распахнет? Что хотят показать ему духи Севера в своих убранствах?

Но теперь была весенняя ночь, и небо полыхало красным, тепло-оранжевым, сирены завывали в долинах возле Питтсфилда, Ленокса и Ли – соседи стояли на верандах, глазели вверх на искристый ливень, что рушился на горный склон... «Как звездный дождь, – говорили они. – Как пепел от Четвертого июля...» – 1931-й, таковы были сравнения. Угли падали и падали пять часов, дети задремали, а взрослые отправились пить кофе и травить байки о пожарах прошлых лет.

Но что это было за Сияние? Какие духи командовали? И, предположим, спустя мгновение все это, целая ночь, и *впрямь* выйдет из-под контроля, и занавес распахнет, обнажит пред нами зиму, о какой ни один из нас не догадывался...

6:43:16 БДЛВ – *в небе прямо сейчас и здесь* – так же разворачивается, еще чуть-чуть и прорвется, его лицо в этом свете резче, вот-вот все ринется прочь, а он потеряет себя, как его края и предрекали с самого начала... стройные церковные шпили примостились тут и там на осенних склонах, сейчас пальнут белые ракеты, еще лишь несколько секунд обратного отсчета, окна-розетки вбирают воскресный свет, освещая, омывая над кафедрами лица, что изъясняют красоту, клянутся: *вот так оно и случается – да, ослепительная испанская длань тянется из облаков...*

\* \* \*

На стене в изукрашенном бра потемнелой бронзы горит газовый рожок, слоистый, нежно напевая, – его отрегулировали до уровня, который ученые минувшего века называли «чувствительным пламенем»: у основания, где пламя выходит из отверстия, оно невидимо, а затем перетекает в гладкий голубой свет, трепещущий несколькими дюймами выше, мерцающий маленький конус отзывается на тончайшие перемены в воздушном давлении комнаты. Пламя отмечает входящих и выходящих гостей: каждый любознателен и обходителен, будто на круглом столе разместились некая рулетка. Круг сидящих отнюдь не отвлекается, им ничто не мешает. Никаких вам тут белых рук, никаких светящихся труб.

Камероновские офицеры в парадных тартановых штанах, синих крагах, форменных килтах вplывают, беседуя с американскими срочниками... священники, ополченцы или пожарники после дежурства, складки тяжелой шерсти, отягощенные запахом дыма, все мечтают урвать хоть часик сна, и недосып сказывается... дряхлые эдвардианские дамы в крепдешине, вест-индцы мягко оплетают гласными не столь гибкие цепочки русско-еврейских согласных... Большинство скользит по касательным к святому кругу – кто-то остается, кто-то снова отбывает в другие комнаты, но никто не прерывает стройного медиума: тот сидит ближе всех к чувствительному пламени, спиной к стене, рыжевато-каштановые кудряшки сдавливают череп, как ермолка, высокое гладкое чело, темные губы то шевелятся легко, то кривятся от боли:

– Едва перейдя в царство Доминуса Бликеро, Роланд обнаружил, что все знаки обратились против него... Огни, что изучил он так досконально, быв одним из вас, положение и движение – все собралось ныне на противоположном конце, все танцевало... танец неуместный. Не открылось пути, что свойствен Бликеро, нет – нечто новое... чуждое... Роланд, к тому же, осознал ветер, чего ни разу не позволяла ему смертность. Ветер оказался таким... таким радостным, что стрела просто обязана его слушаться. Ветер дул весь год, и так – год за годом, но Роланд ощущал лишь ветер мирской... он хочет сказать, только свой личный ветер. Однако... Селена, ветер, ветер повсюду...

Тут медиум прерывается, на миг умолкает... один стон... тихий, отчаянный миг.

– Селена. Селена. Значит, ты ушла?

– Нет, дорогой мой, – ланиты ее исчерчены пролитыми слезами, – я слушаю.

– Это хозяин. Все здесь проистекает из одного затруднения – хозяйского контроля. Впервые он был *внутри*, понимаешь. Хозяин помещен внутрь. Нет больше нужды страдать пассивно от «внешних сил» – слушаться любого ветра. Как будто... Рынку долее не нужно управляться Незримой Дланью, ибо он может *создавать себя* – собственную логику, импульс, стиль – *изнутри*. Поместить хозяина внутрь – значит подтвердить то, что уже произошло де-факто: вы отказались от Бога. Но обрели иллюзию грандиознее и вредоноснее. Иллюзию хозяйского контроля. «А» может делать «Б». Однако это ложно. Совершенно. Никто не способен *делать*. Все только случается, «А» и «Б» нереальны, это имена частей, которым должно быть неразделимыми...

– Очередная успешная чепуха, – шепчет дама, скользя мимо с докером под ручку. На ходу мешаются ароматы дизтоплива и «Sous le Vent»<sup>12</sup>. Учув довоенный парфюм, поднимает голову Джессика Одетт, юная румяная девица в форме рядового ВТС, хмм, платице, прикидывает она, – 15 гиней и кто знает, сколько купонов, вероятно – из «Хэрродза», и на мне сидело бы получше, в этом она тоже уверена. Дама, вдруг оглянувшись через плечо, улыбается: вот как? Черт, неужели услышала? В *таком* месте – почти наверняка.

<sup>12</sup> «Под ветром» (*фр.*).

Джессика уже долго стоит у спиритического стола, сжимая в кулаке пучок дротиков, которые от нечего делать надергала из мишени на стене, склонила голову, бледный загибок и верхний позвонок проглядывают между коричневым шерстяным воротником и русыми волосами чуть посветлее, что ниспадают по щекам. Латунные горлышки и грудки согреваются от ее крови, дрожат в кулачке. Приручая их оперенные кресты, глядя их кончиками пальцев, она и сама будто соскользнула в какой-то неглубокий транс...

А снаружи, накатывая с востока, несется приглушенный взрв еще одной ракетной бомбы. Стекла дребезжат, полы содрогаются. Чувствительное пламя ныряет в укрытие, тени по столу пускаются в пляс, сгущаясь к соседней комнате, – затем пламя подскакивает – тени снова втягиваются в себя на целых два фута – и исчезает совершенно. Газ шипит в сумеречной комнате. Милтон Мракинг, идеально сдавший «треножки» в Кембридже десять лет назад, бросает свою стенографию и встает вырубить газ.

Похоже, Джессике выпал подходящий момент кинуть дротик – всего один. Волосы вразлет, груди великолепно подскакивают под лацканами плотной шерсти. Свист воздуха, дыц – в липкие волокна, в яблочко намертво. Милтон Мракинг воздевает бровь. Разум его, вечно собирающий соответствия, полагает, что нашел еще одно.

Медиум теперь раздражен – он медленно выплывает из транса. Кто знает, что творится сейчас на другой стороне? Любому сеансу потребен не только здешний круг близких по духу мирян, но и основной четырехсторонний союз, который не следует ни в каком его звене разрывать: Роланд Фельдштроп (дух), Петер Сакса (хозяин), Кэрролл Эвентир (медиум), Селена (жена и вдова). И где-то – от измождения ли, отвлечения, перенаправления или порывов белого шума в эфире – комбинация эта начала распадаться. Все расслабляются, скрип стульев, вздохи, покашливания... Милтон Мракинг возится со своим блокнотом, резко его захлопывает.

Немного погодя подбредает Джессика. Роджера не видать, да и захочется ль ему, чтоб она его искала, а Мракинг, пускай тихоня, не так кошмарен, как иные Роджеровы приятели...

– Роджер говорит, вы теперь пересчитаете все слова, которые записали, и вычертите кривую или как-то, – жизнерадостно, чтобы отразить любые замечания про инцидент с дротиком, который она предпочла бы не упоминать. – Вы это делаете только на сеансах?

– Автоматические тексты, – хмурится робеющий девушек Мракинг, кивает, – один-два случая с «уиджей», да да... мы – мы стараемся составить семейство кривых – определенные патологии, определенные характерные формы, видите ли...

– Я, боюсь, не вполне...

– Что ж. Вспомните Принцип Наименьшего Усилия Ципфа: если мы графически представим отношение частоты слова  $P$   $n$ -ного к его рангу в логарифмических координатах, – болбоча в ее молчание, и даже изумление ее красиво, – мы, разумеется, должны получить нечто вроде прямой... тем не менее, у нас имеются данные, которые определенно предполагают кривые, – условия, в общем, весьма разнообразные – шизофреники, к примеру, в верхней части имеют склонность идти плосковато, а затем чем дальше, тем круче – эдакой дугой... Мне кажется, этот парень, Роланд, – классический параноик...

– Ха. – Вот *это* слово она знает. – Мне так и показалось, что вы взбодрились, когда он сказал «обратились против».

– «Против», «напротив», да, вы удивитесь, как часто оно встречается.

– А какое *самое* частое слово? – спрашивает Джессика. – Ваш номер один.

– То же, что всегда в подобных делах, – отвечает статистик так, словно это всем известно, – смерть.

Пожилый уполномоченный по гражданской обороне, накрахмаленный и хрупкий, как органди, привстает на цыпочки, чтобы опять возжечь чувствительное пламя.

– Между прочим, э, куда это отправился ваш безумный юный джентльмен?

– Роджер с капитаном Апереткином. – Неопределенно помахав. – Таинственные Учения с Микрофильмами, как обычно.

Сделки заключаются в каком-то отдаленном помещении за игрой в «корону и якорь», к коей воля случая имеет крайне мало отношения; валы дыма и болтовни, «Фалькман и Его Банда Апачей» по Би-би-си приглушены, коренастые пинты и стройные лафитники, зимний дождь по окнам. Время конопатить щели, время газовых поленьев, шалей от холодной ночи, искать уюта с молоденькой приятельницей или старушкой-женой – или же, как здесь у «Сноксолла», в хорошей компании. Здесь убежище – вероятно, подлинный пункт безмятежности, один из нескольких, что раскиданы по этому долговому военному времени, – где собираются с целями, не вполне отвечающими военным интересам.

Что Пират Апереткин отчасти ощущает – облически, скорее своей классовой нервозностью: среди этих людей улыбку свою он носит, как сквозь фалангу. Выучился по фильмам – та же лукавая ирландская ухмылка, какую этот малый, Деннис Морган, все время целит в черный дым, изрыгаемый каждой желтой крысой с торчащими зубами, которую сбивает.

Это полезно Пирату так же, как он полезен Фирме – готовой, что хорошо известно, использовать кого угодно: предателей, убийц, извращенцев, негров, да хоть бы и женщин, лишь бы добиться того, чего Они хотят. Может, Они и не были уверены в полезности Пирата с самого начала, но потом, по ходу дела, Им пришлось увериться, ну еще бы.

– Генерал-майор, не может быть, чтоб вы это одобряли.

– Мы наблюдаем за ним круглые сутки. Он явно не покидает помещения физически.

– Значит, у него есть пособник. Как-то – гипнозом, наркотиками, не знаю, – до его человека добираются и транквилируют. Бога ради, вы бы еще с гороскопами сверялись.

– Гитлер сверяется.

– Гитлер – богодухновенный человек. А мы с вами – наемные служащие, не забывайте...

После этого первого всплеска интереса число клиентов, приданных Пирату, несколько поубавилось. В данный момент он, по его собственным ощущениям, тянет вполне удобный воз. Но не этого хочется ему на самом деле. Они не поймут, эти нежновзращенные маньяки из Д. О. О. – *а, очень хорошо, капитан*, – отбарабаниваются рапорты, шоркают сапоги, казенные очки отзываются эхом, *чертовски хорошо, а не повторите ли как-нибудь для нас в Клубе?..*

Пирату хочется Их доверия, аромата Их суровой любви – аромата хорошего виски и зрелой латакии. Ему хочется понимания *своих*, а не этих мозгомудней и рассудочных придурков у «Сноксолла», столь преданных Науке, столь невообразимо терпимых, что здесь (он сожалеет об этом всей душой), быть может, – единственное место под пятой военной империи, где он действительно чувствует себя не таким посторонним...

– Вообще непонятно, – говорит между тем Роджер Мехико, – о чем они думают, совершенно, Акту о Колдовстве больше 200 лет, это реликт абсолютно другой эпохи, иного образа мыслей. И тут ни с того ни с сего в 1944 году нас лупят приговорами слева и справа. На нашего мистера Эвентира, – ткнув в медиума, который в дальнем углу болтает с юным Гэвином Трелистом, – могут навалиться в любой миг – вломиться в окна, уволочь опасного и крутого нравом Эвентира в «Кусты» по обвинению в том, что *делал-вид-будто-исполняет-или-использует-некие-чары-дабы-заставить-духов-покойных-людей-фактически-присутствовать-в-том-месте-где-он-в-данный-момент-находится-и-эти-духи-общаются-с-живыми-людьми-там-и-тогда-же-присутствующими* господи, что за имбецильная фашистская *гниль*...

– Полегче, Мехико, ты снова теряешь эту... объективность – человеку науки не пристало, а. Едва ли это научно, нет.

– Осел. Ты за *них*. Неужели сегодня не почувствовал – в дверях стояло? Тут огромное болото паранойи.

– Ну да, такой вот у меня талант. – Не успев закрыть рот, Пират понимает, что прозвучало резко, пытается заполировать вспышку: – Вообще-то не знаю, потяну ли я *множественные*...

– А. Апереткин. – Ни бровь, ни губа не двинулись ни на йоту. Терпимость. А. – Ты уж приходи на сей раз, пусть наш доктор Грошнот тебя проверит на ЭЭГ<sup>13</sup>.

– О, если буду в городе, – неопределенно. Тут у нас беда с безопасностью. От болтливых языков тонет много моряков, и уверенности у Пирата нет – даже в Мехико. У нынешней операции слишком много кругов, внутренних и внешних. Списки рассылки сужаются по мере того, как мы кольцо за кольцом движемся к яблочку, Инструкции Уничтожить постепенно охватывают любой клочок, праздный меморандум, ленту от пишмашинки.

Видимо, догадывается Пират, Мехико лишь время от времени поддерживает новейшую манию Фирмы, известную под названием «Операция „Черное крыло“», в статистическом смысле – например, анализируя, данные об иностранном боевом духе, какие поступят, – но где-то на обочинах всего предприятия, где вообще-то нынче вечером обретается и сам Пират, выступая посредником между Мехико и своим соседом Тедди Бомбажем.

Он знает, что Бомбаж куда-то ходит и что-то снимает на микропленку, после чего передает через Пирата юному Мехико. А затем, соображает Пират, это уходит в «Белое явление», где располагается всеохватное агентство, называемое ПИСКУС – Психологические Информационные Структуры к Ускорению Сдачи. Чьей сдачи – не разъясняется.

Не втравился ли Мехико в очередную из тысячи сомнительных межсоюзнических шпионских афер, которые навозникали по всему Лондону, едва здесь обосновались американцы и дюжина ссыльных правительств? Немцы у них странным образом растворились до малозначительности. Всякий озирается через плечо, «Свободные Французы» мстительно строят козни вишистским предателям, люблинские коммунисты целят в варшавских теневых министров, греки из ЭЛАСа ходят по пятам за монархистами, не подлежащие репатриации мечтатели на всех языках надеются одной лишь силой воли, кулаков, молитвы вернуть королей, республики, претендентов, летние анархизмы, канувшие, не успели сжать первый урожай... кто-то жалко мрет, безымянный, подо льдом и снегом воронок в Ист-Энде, и найдут его только весной, кто-то спивается или удалбывается опиумом, чтобы только выдержать превратности дня, большинство как-то теряет – теряет остатки своих душ, доверяют все меньше и меньше, их захватывает нескончаемая трескотня игры, ее каждодневная самокритика, ее требования абсолютного внимания... и какого это иностранца Пират имеет в виду, если не ласкара без родины, этого несчастнейшего изгнанника, что глядит на него из зеркала...

Что ж: он догадывается, Они обремизили Мехико, и теперь тот влип в какие-то подобные византийские игрища, вероятно, связанные с американцами. А может, и с русскими. Поскольку «Белое явление» призвано заниматься психологической войной, в нем нашло приют всякой твари по паре: тут бихевиорист, там павловец. Пирата не касается. Но он отмечает: с каждой доставкой пленки энтузиазм Роджера растет. Нездорово, нездорово: такое чувство, будто Пират наблюдает пагубное пристрастие. Словно его друга, его условного военного друга используют для чего-то не вполне пристойного.

Что тут сделаешь? Если б Мехико хотел об этом поговорить, он бы нашел способ, и к черту безопасность. Его нежелание – иного сорта, нежели Пиратово насчет Операции «Черное крыло». Больше похоже на стыд. Сегодня, беря конверт, не прятал ли Роджер глаза? те лупцевали углы с невероятной скоростью, рефлекс покупателя порнографии... гм-м. Знаем мы Бомбажа – вероятно, так и есть, молодая дамочка охмуряет обеспеченного юношу, несколько поз – полезнее всего, что нафотографировала эта война... жизнь, по крайней мере...

Вот и девушка Мехико, только что вошла. Пират отмечает ее незамедлительно, вокруг нее витает ясность, отсутствие дыма и шума... он уже и ауры видит? Она замечает Роджера и

<sup>13</sup> Электроэнцефалограмма (и аппарат для снятия таковой).

улыбается, глаза огромны. . . темные ресницы, никакой косметики, во всяком случае, заметной Пирату, волосы до плеч уложены валиком – что, к чертовой матери, она делает на смешанной батарее ПВО?<sup>14</sup> Ей следует быть в столовой Военторга, разливать кофе по чашкам. Его, старого мямлю и осла, внезапно пробивает болью в коже, простой любовью к ним обоим, которая ничего для них не просит, кроме сохранности, и тем, что ему всегда удавалось определять как-то иначе – «заботой», знаете ли, «нежностью» . . .

В 1936-м Пират («Т. С.-Элиотов апрель», как она его назвала, хотя месяц шел другой и престостокий) был влюблен в директорскую жену. Не девушка, а худенький проворный стебелек по имени Скорпия Мохлун. Ее муж Клайв был экспертом по пластикам, работал в Кембридже на «Имперский химический». Пират, профессиональный военный, наслаждался годома-двумя рецидива – иначе загула – на гражданке.

У него возникло ощущение – на базе к востоку от Суэца, в таких местах, как Бахрейн, пока Пират хлестал пиво, разбодяженное каплями его же пота, среди вонии сырой нефти напротив Муаррака, покидать расположение части после заката запрещено – да и все равно вензаболеваний 98 % – одно обгоревшее на солнце замурзанное подразделение бережет шейха и нефтяные деньги от какой бы то ни было угрозы, коей источник восточнее Английского канала, хочется трахаться, все зудит от вшей и потницы (мастурбировать в таких условиях – изысканная пытка), постоянно вусмерть пьяны, – но даже так у Пирата закралось смутное подозрение, что жизнь проходит мимо.

Невероятная черно-белая Скорпия подкрепила не одну Пиратову фантазию о блистательном английском шелкоикренном реальном мире, которого, по его ощущениям, он был настолько лишен. Сошлись они, когда Клайв отправился по заданию «ИХ» устранять неполадки – и не куда-нибудь, а в Бахрейн. Такая симметрия несколько расслабила Пирата. Они ходили на вечеринки порознь, хотя ей так и не удалось вооружиться против его неожиданных появлений в той же комнате (он старался влиться, вроде как ничей не служащий). Пирата она считала трогательным в его невежестве касательно всего – развлечений, любви, денег, – чувствовала себя умудренной и отчаянно привязанной к этому мгновенью мальчишества среди его обычаев, великодержавных и укоренившихся (ему было 33), его пре-Аскезе, в которой Скорпия выступала его Последним Загулом – хотя сама и была слишком молода, *этого* еще не понимала, не знала, как Пират, о чем на *самом* деле поется в песне «Танцуем в темноте» . . .

Он всеми силами постарается ей об этом не проговориться. Но бывают времена, когда такая мука – не припасть к ее ногам, зная, что Клайва она никогда не оставит, не вопиять *ты мой последний шанс... если не ты, времени больше не осталось* . . . Разве не желает он вопреки всем надеждам *возможности* отринуть несчастное расписание западного мужчины . . . но как человеку . . . с чего вообще начинать в 33-то года . . . «Но в *этом*-то все и дело», – рассмеялась бы Скорпия, не столько в раздражении (она б *точно* рассмеялась), сколько веселясь от нереальности загвоздки – ибо сама чересчур увлеклась его маниакальной стороной, что всегда *вступает в бой*, берет штурмом, пересекает ее (ибо гораздо сильнее, нежели при дробке в армейскую фланель в Персидском заливе, крапивный ошейник любви стянул теперь его – его хуй), для Скорпии чересчур неукротимой, чтоб не сдаться безумию, но и, вообще говоря, чересчур безумной, чтобы считать, будто предает Клайва . . .

Короче, для нее дьявольски удобно. Роджер Мехико теперь переживает почти то же самое с Джессикой, и Другой Парень в данном случае известен под кличкой Бобер. Пират на все это смотрел, но ни разу с Мехико не обсуждал. Да, он ждет, не закончится ли все это для Роджера так же, – часть Пирата никогда так не радовалась, как от вида чужого несчастья, болеет за Бобра и за все, что, подобно Клайву, тот обозначает: лишь бы они выиграли. Но другая часть

<sup>14</sup> Противовоздушная оборона.

– сменное «я»? – та, которую ему не стоит в спешке называть «порядочной», – *видимо*, желает Роджеру того, что сам Пират утратил...

– Ты *действительно* пират, – прошептала она в последний день – ни он, ни она не знали, что он последний, – ты приехал и увез меня на своем пиратском корабле. Девушку из хорошей семьи, как водится – стеснительную. Ты меня изнасиловал. И теперь я Рыжая Стерва Открытых Морей... – Прелестная игра. Чего, спрашивается, ей такого раньше не придумать? Еблись в последний (уже последний) день дотемна, с полудня до сумерек, целые часы ебли, нравилось так, что не рассовокупиться, – и заметили, как заемная комната мягко покачивается, потолок любезно спустился на фут, лампы дрогнули в своих люстрах, какая-то йота движения по Темзе уделила солоноватых криков по-над водой, корабельных рынд...

Но позади, за их нависшим небо-морем гончие Правительства уже вышли на след – подбираются ближе, плывут катера и лоснящиеся гермафродиты закона, агенты, которые, поскольку бывалы, согласятся на ее безопасное возвращение, не будут настаивать на его казни или поимке. Их логика прочна: нанести ему достаточно серьезную рану, и он придет в себя, вернется к обычаям этого мира, сваренного вкрутую, как яйцо, и к расписаниям, крутя по кругу ночь за компромиссной ночью...

Он оставил ее на вокзале Ватерлоо. Праздничная там собралась толпа – провожали «Роту Чудо-Карликов» Фреда Ропера на имперскую ярмарку в Йоханнесбург, Южная Африка. Карлики в темных тулупчиках, изящных платишках и приталенных пальтишках бегали по всему вокзалу, поглощая напрощальные шоколадки и выстраиваясь под объективы репортеров. Тальково-белое лицо Скорпии – в последнем окне, за последним выходом – ударило его в сердце. От Чудо-Карликов и их поклонников долетела метель хохотков и наилучших пожеланий. Ну что, подумал Пират, вернусь-ка я, пожалуй, в Армию...

\* \* \*

Они едут на восток, Роджер всматривается поверх руля, нахохлился в своем «бёрберри» по-дракульи, блестящие миллионы капелек шелковистым неводом цепляются к тусклой шерсти на рукавах и плечах Джессики. Им хочется быть вместе, в постели, отдыхать, любить, а вместо этого сегодня – на восток и к югу от Темзы, на randevу с неким первостатейным вивисектором, пока Сент-Феликс не пробил час. И когда сбегут вниз мыши, не выяснится ли сегодня лишь то, что сбежали они навсегда?

Лицо ее подле замутненного дыханьем окна – еще одна туманность, очередной зимний трюк света. За нею пролетают белые изломы дождя.

– А зачем он сам себе собак тырит? Он же вроде администратор? Нанял бы мальчишка, что ли.

– Мы их называем «персонал», – отвечает Роджер, – и я понятия не имею, почему Стрелман делает то, что делает, – он же павловец, милая. Член Королевского колледжа. Откуда мне знать про этих людей? Трудные, как это сборище у «Сноксолла».

Оба сегодня сварливы, напряжены, как листы неправильно прокаленного стекла, чуть что – и вдребезги, от любого невнятного касания в ноющей матрице стрессов...

– Бедный Роджер, бедный ягненочек, ужасная ему выдалась война.

– Ладно, – трясая головой, яростные «б» или «п» не желают взрываться, – ахх, очень умная, да? – Роджер в бешенстве, руки отпустили руль, помогают вытолкнуть слова, «дворники» тикают в такт. – Изредка отстреливалась от редких «жужелиц», ты да твой дружок, дорогуша Нутрия...

– *Бобер*.

– Ну да, точно, и этот ваш великолепный дух, которым вы по справедливости знамениты, но *ракет* ты что-то маловато сбила, а, ха-ха! – выпятив ядовитейшую из кривых ухмылок,

подперев ею наморщенный нос и щурясь. – Не больше, чем я, не больше, чем Стрелман, ну и кто тут кого чище в *такое* время, а, милмоя? – подскакивая вверх-вниз на кожаном сиденье.

Ее ладонь уже тянется, вот-вот коснется его руки. Она прижимается щекой к своему плечу, волосы разметались, ей сонно, смотрит на Роджера. С ней даже не поспоришь пристойно. А он старается. Своими паузами она гладит, как ладонями, отвлекает его, успокаивает их углы в комнатах, покрывала, скатерти – случайные пространства... Даже в кино, когда смотрели этот ужасный «Иду своим путем» в день знакомства, он видел малейшее белое блуждание голых ее ладоней, кожей чувствовал любое движение оливковых, янтарных, кофейных ее глаз. Он потратил галлоны растворителя, шелкая свою верной «зиппо», фитилек обуглился – энергичность уступила бережливости, – съежился до коротенького ошметка, синее пламя вспыхивает по краям во тьме, в разнообразной тьме, лишь бы увидеть, что творится с ее лицом. В каждой новой вспышке лицо – новое.

И бывали мгновенья, а в последнее время – чаще, мгновения, когда лицом к лицу не поймешь, кто из них кто. Оба одновременно зловеще теряются... вроде как в зеркало враспloch поглядеть, но... более того, ощущение, будто и впрямь соединены... и затем проходит – кто знает? две минуты, неделя? и они, снова разъединившись, понимают, что творится, Роджер и Джессика сливаются в единое существо, себя не сознающее... В жизни, которую он снова и снова клял за ее потребность так верить в транс-наблюдаемое, вот оно, первое, самое первое настоящее волшебство – этих данных не оспоришь.

То было, как любит выражаться Голливуд, «прелестное знакомство», в центре Танбридж-Уэлса, в самом опрятном его сердце XVIII века: Роджер ехал на винтажном «ягуаре» в Лондон, Джессика на обочине симпатично сражалась с гакнувшимся велосипедом, невзрачная шерстяная юбка ВТС зацепилась за руль, весьма неуставная черная комбинашка и чистые жемчужные бедра над чулками хаки, э...

– Эй, милая, – пронзительно скрежещут тормоза, – мы тут, знаешь ли, не за кулисами «Мельницы».

Это она знала.

– Хмм, – кудряшка падает, щекочет ей нос и добавляет ее ответу яда сверх нормы, – а вот что туда пускают маленьких мальчиков, я не знала.

– Ну, вообще-то, – уже наученный справляться с замечаниями насчет внешности, – гёрл-гайдов тоже никто не вызывал, а?

– Мне двадцать.

– Ура, значит, можешь прокатиться в этом вот «ягуаре» до самого Лондона.

– Только мне в другую сторону. Почти до Бэттла.

– Ну, туда и обратно, само собой.

Отбрасывая волосы с лица:

– А твоя мама знает, что *ты* вот здесь?

– Моя мама – война, – провозглашает Роджер Мехико и наклоняется открыть дверцу.

– Весьма чудное заявление, – один заляпанный башмачок ощупывает подножку.

– Залезай, душенька, ты задерживаешь миссию, транспорт оставь, следи за юбкой, когда садишься, я б не хотел свершить неопишваемое прямо здесь, на улице Танбридж-Уэлса...

И в этот миг падает ракета. Прелестно, прелестно. Грохот, глухой раскат барабанной дроби. Довольно далеко от города, угрозы нет, но достаточно близко и громко – подталкивает Джессику, и та пролетает сотню миль до незнакомца: долгое парение, балетное, великолепная круглая попка поворачивается, устраивается на втором сиденье, волосы – мгновенным веером, рука оглаживает снизу юбку армейской расцветки, красивая, как крыло, а взрыв еще реверберирует.

Кажется, он видит сумрачное шишковатое нечто, оно темнее или меняется быстрее облаков, вздымается к северу. И теперь она прелестно прижмется к нему, попросит защиты? Он не

верил даже, что она сядет в машину, упала ракета или не упала, и потому теперь подает Стрелманов «ягуар» задним ходом вместо низкой передачи, ага, давит велосипед с оглушительным хрустом, оставляя один металлолом.

– Я в твоей власти, – кричит она. – *Совершенно.*

– Хмм, – через некоторое время Роджер находит рычаг, танцует по педалям, рррн, врррр, вперед в Лондон. Но Джессика не в его власти.

А война – ну, она и *вправду* Роджера мать, вконец выщелочила мягкие и уязвимые вкрапления надежды и хвалы, разбросанные под слюдяным блеском, по Роджерову минеральному, надгробному «я», все это смыла стонущим серым приливом. Шесть лет уже, всегда в поле зрения, всегда хоть как-то на виду. Он забыл свой первый труп или когда впервые видел, как умирает кто-то живой. Вот как давно это тянется. Кажется – почти всю жизнь. Город, куда он приезжает ныне, – приходящая Смерти, где все бумаги составлены, контракты подписаны, дни сочтены. Ничего от величественной, тепличной, рискованной столицы, какую знало его детство. Он стал Строгим Юношей из «Белого явления», пауком, что вяжет свою паутину чисел. Невеликая тайна – он не ладит с коллегами в отделе. А как ему ладить? Все они – дикие таланты, ясновидцы и чокнутые чародеи, телекинетики, астральные скитальцы, собиратели света. А Роджер – всего лишь статистик. Ни единого пророческого сна, ни разу не отправил и не получил телепатического послания, никогда не касался напрямую Мира Иного. Если что и есть, обнаружится в экспериментальных данных, правда? в цифрах... но ни приблизиться, ни прояснить ему не светит. Чего удивляться, что он резковат с Отделом Пси в обе стороны по подвальному коридору, со всей этой компанией явных трех сигм? Господи боже, а вы, можно подумать, не были б резковаты.

Это их единственное отчетливое стремление, такое очевидное, его раздражает... И *его* стремление тоже, ладно. Но как прикажете подогнать научную базу под «психическое», когда смертность вечно понукает, прямо за гранью распределения хи-квадрат, между тасовкой карт Зенера и передышками посреди невнятных и натужных изречений медиума? Я не оставляю попыток, выходит, я храбрый – так думает Роджер, когда накатывает умиротворение. Но по большей части клянет себя за то, что не работает в пожарной безопасности или не вычерчивает графики Стандартных Уровней Поражения на Тонну для групп бомбардировщиков... что угодно, только без неблагодарного вмешательства в дела неуязвимой Смерти...

Они приблизились к зареву над крышами. Пожарные машины с ревом промчались мимо, направляясь туда же. Давящий район кирпичных улиц и немых стен.

Роджер дает по тормозам перед толпой саперов, пожарников, окрестных жителей в темных пальто поверх белых пижам, старушек, в чьих ночных раздумьях пожарным припасено особое местечко *нет прошу вас не направляйте на меня этот громадный Шланг... о нет... вы не снимете разве эти ваши отвратительные резиновые сапоги... дада вот...*

Через каждые несколько ярдов стоят солдаты – разреженный кордон, недвижимый, чуточку сверхъестественный. И Битва за Британию была не так формальна. Но эти новые управляемые бомбы принесли с собой никем не измеренный потенциал общественного ужаса. В переулке Джессика замечает угольно-черный «паккард», набитый гражданскими в темном. Их белые воротнички жестки во тьме.

– А они кто?

Он пожимает плечами: «они» – вполне достаточно.

– Неприятная публика.

– Кто бы говорил.

Но улыбаются они по-старому, привычно. Одно время она слегка психовала из-за его работы: очаровательные подшивочки по «жужелицам», как мило... И его раздраженный вздох: Джесс, не делай из меня какого-то холодного фанатика науки...

В лица им ударяет жаром, желтизна обжигает глаза, когда струи выстреливают в пламя. Лестница, прицепленная к кромке крыши, раскачивается на рьяных сквозняках. Наверху, напротив неба, фигуры в макинтошах ежатся, машут руками, вместе шагают раздавать приказы. В полуквартале фальшфейеры освещают спасательную операцию посреди обугленных промокших руин. От прицепов с насосами и тяжелых агрегатов тянутся брезентовые шланги, разжиревшие под давлением, второпях нарезанные ниппели исторгают звезды холодных брызг, жгуче холодных, и те вспыхивают желтым, когда вскидывается огонь. Где-то женский голос по радио – тихая йоркширская девочка рассылает другие наряды в другие районы города.

Некогда Роджер и Джессика остановились бы. Но оба они выпускники Битвы за Британию, обоих завербовали, погрузили в ранние черные утра и мольбы о милосердии, тупую инерцию булыжника и балок, непомерный дефицит милосердия в те дни... К тому времени, когда выволакиваешь *n*-ную жертву или фрагмент жертвы из *n*-ной груды бута, однажды сказал он ей, сердитый, измотанный, это уже не так лично воспринимается... величина *n*, возможно, для каждого из нас своя, но прости – рано или поздно...

А помимо измождения вот еще что. Пусть не вполне отколовшись от военного положения, они все-таки начали мягко отступать... нет ни места, ни времени об этом поговорить, а может, и нужды нет – но оба отчетливо понимают, что лучше уютно забиться куда-нибудь вместе, чем назад в бумаги, пожары, хаки, сталь Тыла. Что, правду сказать, Тыл – какая-то фикция и ложь, не слишком изящно сработанная, дабы их разлучить, подорвать любовь во имя работы, абстракции, назначенной боли, горькой смерти.

Они нашли дом в запретной зоне под аэростатами заграждения к югу от Лондона. Городок, эвакуированный в 40-м, по сей день «регулируется» – по сей день в списках Министерства. Роджер и Джессика заняли дом незаконно – акт неповиновения, который не оценить, пока их не застукают. Джессика привезла старую куклу, морские ракушки, теткин саквояж, набитый кружевными трусиками и шелковыми чулками. Роджер ухитрился раздобыть несколько кур, чтобы неслись в пустом гараже. Встречаясь в доме, непременно привозят свежий цветок-другой. Ночи полны взрывов, и грузовиков, и ветров, что тащат к ним через холмы последний душок моря. День начинается с чашки горячего и сигареты за охромевшим столиком, который Роджер условно подлатал бурой бечевкой. Разговоров всегда немного – лишь касания, и взгляды, и общие улыбки, и сетования, что надо расстаться. Ничтожно, голодно, холодно – чаще всего паранойя не дает им рискнуть и развести огонь, – но они хотят это сохранить, так хотят, что ради этого возьмут на себя больше, чем когда-либо умоляла их пропаганда. Они влюблены. Нахуй войну.

\* \* \*

Сегодняшняя жертва, чье имя будет Владимир (или же Илья, Сергей, Николай, смотря какой стих найдет на доктора), сторожко крадется ко входу в погреб. Эта зазубренная по краям дыра наверняка ведет туда, где глубоко и надежно. В жертве таится воспоминание – или рефлекс: она ускользала уже в подобную тьму от ирландского сеттера, который пахнет печным дымом и бросается, едва завидит... однажды от стайки детей, недавно – от внезапного взрыва громосвета, падения кладки, которая все же угодила по левой ляжке (та еще болит, еще надо зализывать). Но сегодняшняя опасность – нечто новое: не такая свирепая, систематически хитрая, жертва к такой не привыкла. Жизнь тут прямее бьет в лоб.

Идет дождь. Ветер едва тлеет. Он несет с собой запах, для жертвы странный, – она ни разу и близко не подходила к лаборатории.

Запах этот – эфир, он исходит от мистера Эдварда У. А. Стрелмана, члена Королевского хирургического колледжа. Собака скрывается за развалиной стены, и едва улепетывает кончик хвоста, доктор попадает ногой в гостеприимную белую глотку унитаза – его-то доктор, так

сосредоточившись на добыче, и не заметил. Доктор неловко нагибается, выволакивая унитаз из окружающего мусора, бормоча проклятья всем небрежным, не себя, в частности, имея в виду, а хозяев разгромленной квартиры (если их не убило взрывом), или кому там не удалось скоммуниздить унитаз, в котором, вообще говоря, доктор застрял, похоже, довольно прочно...

Мистер Стрелман подтаскивает ногу к разбитому лестничному пролету, тихонько размахивается, чтобы не испугать собаку, и бьет по низу балясины из мореного дуба. Унитаз лишь тенькает в ответ, дерево сотрясается. Издевательство – ладно же. Он садится на ступеньки, восходящие к открытому небу, и пытается стащить с ноги эту чертяку. Не сходит. Доктор слышит, как невидимая собака – тихо пощелкивают когти – спаслась в безопасном погребе. В унитаз даже рука, блядь, не пролазит *иннурок* развязать...

Пудобнее сдвинув окно вязаного подшлемника себе под нос так, что щекотно, и решив не поддаваться панике, мистер Стрелман встает, ждет, чтобы кровь схлынула, вновь поднялась, заскакала по миллиону своих веточек в этой моросливой ночи, просочилась везде и сбалансировалась, – после чего, хромая, позвякивая, направляется обратно к машине, чтобы там ему помог юный Мехико, который не забыл, надеется доктор, прихватить с собой переносной электросветильник...

Роджер и Джессика нашли Стрелмана немногим ранее – он шнырял в конце улочки террасных домов. V-бомба, причинившая увечья, по которым он рыскал, снесла на днях четыре жилища, ровно четыре, аккуратно, как в операционной. Висит мягкий запах строевого леса, павшего до срока, пепла, прибитого дождем. Натянуты веревки, в дверном проеме нетронутого дома, за которым начинаются развалины, безмолвно валандается часовой. Если они с доктором и успели поболтать, ни один теперь не подает виду. Джессика замечает, как из вывязанного окошка зыркают два глаза неопределенной расцветки, – похоже на средневекового рыцаря в шлеме. С какой же тварью он сюда вышел сражаться за своего короля? Руины задерживают его, уходя откосами вверх к остаткам задних стен в завале, ажур дранки, бесцельно стропильный, – половицы, мебель, стекло, ошмотья штукатурки, длинные клочья обоев, расколотые и разбитые брусья: гнездовой долгострой какой-то женщины вновь разобран на отдельные соломинки, вышвырнут на этот ветер и в эту тьму. А в развалинах подмигивает латунная кроватьная ножка; и вокруг нее заплетен чей-то бюстгальтер, белый, еще довоенное изделие из кружев и атласа, просто запутан и брошен... На миг в головокружении, которого Джессике не остановить, вся жалость, отложенная в сердце, устремляется к этой тряпке, будто к выброшенному и позабытому зверьку. Роджер открыл багажник. Мужчины роются в нем, извлекают большой брезентовый мешок, фляжку эфира, ловчую сеть, собачий свисток. Джессика знает, что не должна плакать: от ее слез смутные глаза в вязаном окошке не станут искать своего Зверя тщательнее. Но потерянная хлипкая бедняжка... ждет хозяйку в ночи, под дождем, ждет, что комната вокруг нее соберется вновь...

Ночь полнится моросью и пахнет мокрой псиной. Стрелман, похоже, где-то заплутал.

– Я совсем рассудок потеряла. Вот в эту самую минуту я должна где-нибудь обниматься с Бобром, смотреть, как он раскуривает свою Трубку, а взамен я тут с этим *егерем*, или кто он там, с этим спиритом, статистиком, ты вообще *кто*...

– Обниматься? – Роджер выказывает склонность к крику. – *Обниматься?*

– Мехико. – Это доктор, вздыхает, на ногу унитаза, вязаный шлем набекрень.

– Здравсьте, а вам так ходить не трудно? я бы сказал, нелегко... давайте сюда, сначала в дверцу, вот так, и, ага, хорошо, – затем снова закрывая дверцу на Стрелмановой лодыжке; унитаз теперь занимает сиденье Роджера, сам Роджер полупокоится на коленях у Джессики, – и тяните как можно сильнее.

Думая *юный педант* и *издевается, скотина*, доктор отшатывается на свободной ноге, хрюкает, унитаз мотыляется туда-сюда. Роджер держит дверцу и внимательно всматривается туда, где исчезает нога.

– Вазелинчику б, и не помешало бы что-нибудь скользкое. Погодите! Стойте, Стрелман, не двигайтесь, мы сейчас все решим... – Под машину, импульсивный парнишка, к пробке картера, не успевает Стрелман произнести:

– Нет *времени*, Мехико, она сбежит, сбежит.

– И то верно. – Снова выпрямляется, нащупывает в кармане фонарик. – Я ее выгоню, а вы ждите с сетью. Вы же сможете нормально перемещаться? Скверно, если упадете, как раз когда она выскочит.

– Ради всего святого. – Стрелман топчет за ним в развалины. – Не спугните ее, Мехико, это вам не Кения, нам она нужна как можно, знаете, ближе к нормативу.

Норматив? *Норматив?*

– Роджер, – отзывается Роджер, мигая ему фонариком «короткий-длинный-короткий».

– Джессика, – бормочет Джессика, на цыпочках идя следом.

– Давай, дружище, – манит Роджер. – Тут у меня славная бутылочка *эфира*, – открывая фляжку, помахивая ею в проеме погреба, затем включив луч. Собака выглядывает из ржавой детской коляски, подпрыгивают черные тени, язык вывален, на морде – крайний скептицизм. – Да это ж миссис Нуссбомб! – восклицает Роджер: так же, он слышал, восклицал Фред Аллен по средам вечером на Би-би-си.

– А вы таки ожидали, навэрное, *Лэсси?* – отвечает собака.

Осторожно спускаясь, Роджер чувствует, что пары эфира сгущаются.

– *Давай*, старина, не успеешь оглянуться – все закончится. Стрелман просто хочет посчитать, сколько ты пускаешь слюней, вот и все. Сделает махонький разрезик у тебя на щечке, стеклянную трубочку вставит, чего тут волноваться, правильно? Поблямкает в колокольчик. Волнительный лабораторный мир, тебе понравится.

Похоже, на него действует эфир. Роджер пытается закупорить фляжку: делает шаг, нога проваливается в дыру. Дернувшись вбок, ловит, за что бы удержаться. Затычка выпадает из фляжки и навсегда исчезает в мусоре на самом дне разметанного дома. Над головой Стрелман кричит:

– Губку, Мехико, вы забыли *губку!* – Вниз падает круглое бледное скопище дырок, впрыгивает в луч фонарика и выпрыгивает.

– Порывистый какой. – Роджер цапает губку обеими руками и промахивается, привольно расплескивая повсюду эфир. Засекает ее лучом, собака наблюдает из коляски в некотором смятении. – Ха! – льет эфир, который пропитывает губку и холодом испаряется с пальцев, пока фляжка не пустеет. Зажав мокрую губку двумя пальцами, он шатко направляется к собаке, высвечивая себе подбородок фонариком, чтобы лучше подчеркнуть вампирскую гримасу, которую, по его мнению, корчит. – Момент... истины!

Он делает бросок. Собака отскакивает куда-то наискось, мчится мимо Роджера к выходу, а Роджер с губкой летит головой вперед прямо в коляску, которая под его тяжестью рушится. Смутно он слышит, как доктор хнычет наверху:

– Она убегает, Мехико, скорее же.

– Скоро. – Сжимая губку, Роджер выпутывается из детской коляски, снимая ее с себя, словно рубашку, и являя при этом, на его взгляд, вполне атлетические навыки.

– Мехико-о-о, – жалобно.

– Ага.

Роджер ощупью пробирается по куче подвального мусора вверх, наружу, где зрит, как доктор отрезает собаке путь, сеть наготове и развернута. Эту живую картину упорно поливает дождь. Роджер делает круг, чтобы со Стрелманом взять в клещи животное, кое уже замерло, расставив лапы и ощерившись, у пока не падшего куска задней стены. Джессика ждет поодаль, руки в карманах, курит, смотрит.

– Эй, – вопит часовой, – вы. Идиоты! Не подходите к этой стене, на соплях держитесь.

- У вас есть сигареты? – спрашивает Джессика.
- Она сейчас кинется, – голосит Роджер.
- Бога ради, Мехико, теперь помедленней.

Каждый шаг на ощупь, они движутся вверх по хрупкому равновесию руин. Это система рычагов, которая в любой миг может низвергнуть их в смертельный обвал. Они подбираются ближе к добыче, которая, вертя головой, внимательно всматривается то в доктора, то в Роджера. На пробу рычит, хвост неустанно шлепает по двум сторонам угла, куда ее загнали.

Когда Роджер с фонариком чуть отступает, собака – какие-то ее контуры – припоминает другой свет, бивший сзади в последние дни, – свет, что последовал за грандиозным взрывом, после так кипевшим болью и холодом. Свет сзади сигнализирует смерть / мужчин с сетями, готовых прыгнуть, можно избежать...

- Губку, – вопит доктор.

Роджер кидается на собаку, которая уже сорвалась к Стрелману и прочь на улицу, пока доктор, стеная, отчаянно размахивается своей обунитаженной ногой – мимо, инерция влечет его за собой в полном развороте, сеть вздета радарной антенной. Роджер с сопелкой, забитой эфиром, не может остановиться в боковом броске – и пока Стрелман совершает новый разворот, Роджер влетает в доктора, и унитаз больно лупит по ноге. Оба падают, путаясь в сети, накрывшей их совершенно. Сломанные балки скрипят, сыплются куски промокшей штукатурки. Наверху уже покачивается ничем не поддерживаемая стена.

– Убирайтесь оттуда, – орет часовой. Но все усилия парочки под сетью хоть как-то сдвигаются лишь яростнее шатают стену.

- Нам кранты, – вздрагивает доктор.

Роджер заглядывает ему в глаза – не шутит ли? – но в окошке вязаного шлема теперь содержатся лишь белое ухо и бахрама волос.

- Катимся, – предлагает Роджер.

Они умудряются прокатиться несколько ярдов по склону к улице; к этому времени часть стены рушится – в другую сторону. Им удастся вернуться к Джессике, не причинив более никаких разрушений.

- Она побежала по улице, – сообщает Джессика, помогая им выпутаться из сети.
- Да ничего, – вздыхает доктор. – Какая разница.
- Ах, но вечер еще *юн*, – это от Роджера.
- Нет-нет. И не думайте.
- Как же вы теперь без собаки.

Они снова в пути, Роджер за рулем, Джессика между ними, унитаз торчит в полуоткрытую дверцу, и тут наконец ответ:

- Возможно, это знак. Возможно, мне следует расширить специализацию.

Роджер быстро взглядывает на него. Молчать, Мехико. Старайся не думать, что *это* значит. Доктор ему, в конце концов, не начальство, оба подчиняются старому Бригадиру в «Белом явлении» на равных, насколько Роджер знает, основаниях. Но иногда – Роджер снова бросает взгляд поверх темного шерстяного бюста Джессики на вязаную голову, голый нос и глаза – ему кажется, что доктор хочет не только его доброй воли, его сотрудничества. А хочет *его*. Как хочет прекрасную собачью особь...

Так зачем он здесь, зачем помогает еще одной песьей краже? Что за безумного чужака он пригреб в себе...

- Вы сегодня поедете обратно, доктор? Юную даму нужно подвезти.

– Нет, останусь там. А вы можете вернуться на машине. Мне надо поговорить с доктором Спектро.

Вот они приближаются к долгой кирпичной импровизации, викторианскому парафраму того, что некогда, давным-давно, завершилось готическими соборами, – но в свое время под-

нялось не из нужды вскарабкаться сквозь формирование уместных путаниц к какому бы то ни было апикальному Богу, но скорее в расстройстве цели, из сомнения в истинном локусе Бога (либо, у некоторых, в самом его существовании), из жестокой сети чувственных мгновений, откуда нельзя высвободиться, и она поэтому склонила намерения строителей ни к какому не зениту, а вновь к страху, к простому бегству куда угодно от всего, что говорили о вероятности милости в тот год промышленные дымы, уличные отходы, беззаконные трущобы, пожимающие плечами кожаные дебри приводных ремней, текучие и терпеливые теневые государства крыс и мух. Закопченная кирпичная клякса известна под именем Госпиталя Святой Вероники Истинного Образа Для Лечения Толстокишечных и Респираторных Заболеваний, и один из прикомандированных к ней врачей – некий доктор Кевин Спектро, невролог и бессистемный павловец.

Спектро – один из первоначальных семи владельцев Книги, и если вы спросите мистера Стрелмана, какой Книги, над вами лишь ухмыльнутся. Она переходит, таинственная эта Книга, из рук в руки совладельцев на еженедельной основе, и сейчас, догадывается Роджер, настала неделя Спектро, когда можно заявляться к нему в любой час. В недели Стрелмана прочие так же приезжали среди ночи в «Белое явление», Роджер слышал их ревностные заговорщицкие шепотки в коридорах, самодовольный грохот их каблуков, изничтожавших человеческий покой, словно бальные туфли, танцующие по мрамору, – они отказываются умирать даже на расстоянии, голос Стрелмана и шаг его всегда отчетливее прочих. Как он зазвучит сейчас с унитазом?

Роджер и Джессика оставляют доктора у бокового входа, в коем он истаивает, не оставляя по себе ничего, кроме дождя, каплющего с укусин и засечек нечитабельной надписи над проемом.

Они поворачивают на юг. Тепло светят огоньки на приборной доске. Проекторы обшаривают дождливое небо. Узкая машина дрожит по дорогам. Джессика сползает в сон, кожаное сиденье поскрипывает, когда она сворачивается клубком. «Дворники» чешут дождь ритмичной яркой дугой. Третий час ночи, домой пора.

\* \* \*

А в госпитале Святой Вероники они вдвоем сидят прямо у отделения военных неврозов – привычные вечера. Автоклав бурлит мелкой суматохой стальных костей. Пар плывет к сиянию гибкой лампы, то и дело вспыхивает ярче яркого, и тени жестов рассекают его острыми ножами, стремительными взмахами. Но два лица обыкновенно замкнуты, тщательно скрытны в кольцеобразном теле ночи.

Из черноты отделения, приоткрытой картотеки боли, где каждая койка – папка, несутся крики, потрясенные крики, словно от холодного металла. Сегодня Кевин Спектро вооружится шприцем и станет колоть, себя не помня, дюжину раз, не меньше, во тьме, чтоб угомонить Лиса (так он обозначает любого пациента – трижды беги весь корпус, не думая о лисе, и сможешь вылечить что угодно). Всякий раз Стрелман будет сидеть, ждать, когда возобновится беседа, радоваться отдыху в эти мгновенья полутьмы: истертые золоченые буквы сияют с книжных корешков, ароматную кофейную гущу осадили тараканы, зимний дождь в водосточной трубе прямо за окном...

– А вот *ты* все равно выглядишь неважно.

– Да опять эта старая сволочь, доконал меня. Такая битва, Спектро, что ни *день*, я не... – выпятив губы к очкам, которые протирает рубашкой, – я этого клятого Мудинга не понимаю толком, вечно он преподносит... сенильные сюрпризики.

– Возраст у него такой. Вообще-то.

– Ой, с *этим* я бы справился. Но он так чертовски – такой *ублюдок*, не спит *никогда*, *козни* строит...

– Да не сенильность, я не о том – позиция у него такая. Стрелман? У тебя же пока нет его прерогатив? Ты не можешь рисковать, как он рискует. Ты ведь работал с ними, в таком возрасте, сам знаешь – есть в них это странное... *самодовольство*...

Стрелманов собственный Лис ждет в городе – военный трофей. А сей кабинетик – пещера оракула: плывет пар, из темноты прибывают вопли сивиллы... Абреакции Повелителя Ночи...

– Мне это не нравится, Стрелман. Раз уж ты спросил.

– Почему. – Пауза. – Неэтично?

– Да господи боже, *это*, что ли, этично? – и воздевает руку ко входу в отделение почти в фашистском приветствии. – Нет, я просто ищу способ оправдать это экспериментально. И не нахожу. Такой человек есть только один.

– И это Ленитроп. Сам знаешь, кто он. Даже Мехико считает... ну, как обычно. Предвидение. Психокинез. У них свои проблемы, у *этой* братии... Но, скажем, *тебе* выпадает шанс исследовать подлинно классический образчик... некоей патологии, идеальный механизм...

Как-то ночью Спектро спросил:

– Он бы тебя так же вдохновлял, если б не был подопытным Ласло Ябопа?

– Само собой.

– Хм-м.

Вообразите ракету, чье приближение слышишь только *после* взрыва. Реверсирование! Аккуратно вырезанный кусочек времени... несколько футов киноплёнки, прокрученные наоборот... взрыв ракеты, павшей быстрее звука, – и *оттуда* прорастает рев ее падения, догоняет то, что уже смерть и горение... призрак в небесах...

Павлова зачаровывали «понятия противоположения». Допустим, имеется у нас кластер клеток где-нибудь в коре головного мозга. Помогают отличать наслаждение от боли, свет от тьмы, господство от подчинения... Но если неким образом – моря их голодом, травмируя, шокируя, кастрируя, столкнув в одну из переходных фаз, за пределы их бодрствующих «я», вне фазы уравнительной и парадоксальной, – вы подорвете это представление о противоположении, – вот вам уже пациент-параноик, которому быть бы господином, а он себя полагает рабом... которому быть бы любимым, а его мучает равнодушие мира, и «я беру смелость предположить, – пишет Павлов Жанэ, – что вот эта-то *ультрапарадоксальная фаза* и есть основание ослабления у наших больных понятия противоположения». У наших чокнутых, наших параноиков, маньяков, шизоидов, нравственных имбецилов...

Спектро трясет головой:

– У тебя реакция идет наперед раздражителя.

– Вовсе нет. Ты сам подумай. Он там за несколько дней *чувствует, что они летят*. Но это рефлекс. Рефлекс на то, что витает в воздухе *прямо сейчас*. Мы сконструированы слишком топорно и не улавливаем – а *Ленитроп улавливает*.

– Но тогда выходит экстрасенсорика.

– А можно сказать: «сенсорный сигнал, на который мы просто не обращаем внимания». Оно давным-давно существует, мы могли бы это увидеть, только вот никто не смотрит. В наших экспериментах часто... Кажется, М. К. Петрова заметила первой... женщина, в игру вступила очень рано, по сути... сам факт привода собаки *в лабораторию* – особенно в нашей экспериментальной работе с неврозами... первый же взгляд на испытательный стенд, на лаборанта, случайная тень, касание сквозняка, некие сигналы, которых мы, может, и не распознаём никогда, – и все, собака слетает в переходное состояние... Итак, Ленитроп. Предположим. В городе сама обстановка – допустим, будем считать, что сама война – *лаборатория*? понимаешь, когда падает V-2, сначала взрыв, затем рев падения... реверсированный, то есть, порядок раздражи-

телей... значит, он может завернуть за какой-то угол, выйти на некую улицу и неясно, по какой причине, вдруг почувствовать...

Воцаряется молчание, вылепленное проговоренными грезами, за дверью голосит боль жертв ракетных бомбардировок, детей Повелителя Ночи, голоса повисают в застойном медицинском воздухе отделения. Молятся своему Господину: абреакция рано или поздно – каждому, по всему этому замороженному и искалеченному городу...

...и снова пол – гигантский подъемник, врасплох возносит тебя к потолку – проигрывается заново, и стены пухнут наружу, кирпичи и известка – ливнем, твой внезапный паралич и смерть приходит объять ошеломить *знать не знаю папаша я небось вырубился а когда окле-мался ее уж и нету все вокруг горит в башке дым сплошняком...* и видишь свою кровь – она фонтанирует из дряблого ошметка артерии, поперек половины кровати заснеженный шифер, киношный поцелуй не доцелован, тебя пришилило, два часа боли пялился на смятую сигаретную пачку, слышал, как они кричат в рядах справа слева, но не мог шевельнуться... внезапный свет заполняет комнату, кошмарная тишина, ярче всякого утра сквозь одеяла, обращенные в марлю, вообще никаких теней, лишь невыразимая двухчасовая заря... и...

...этот переходный скачок, эта капитуляция. Где противоположные идеи слились и лишились своей противоположности. (И вправду ли на ракетный взрыв настраивается Лениитроп, или как раз на *эту деполяризацию*, это невротическое «замешательство», что сегодня затопляет палаты?) Сколько еще раз, пока не смоется, излитие итераций, переживание взрыва, бояться отпустить, ибо отпустить – это так окончательно *откуда мне знать доктор что я когда-нибудь вернусь?* И ответ *верьте нам* так пуст после ракеты, всего только лицедейство – верить вам? – и оба это понимают... Спектро так остро ощущает себя мошенником, но продолжает... лишь потому, что боль остается реальной...

А те, кто в итоге отпускает: из каждого катарсиса рождаются новые дети, ни боли, ни эго на одно биение Между... табличка вытерта, вот-вот начнутся новые письма, рука и мелок изготовились в зимнем сумраке над бедными этими человеческими палимпсестами, что дрожат под казенными одеялами, одурманены, тонут в слезах и соплях горя до того настоящего, выданного из таких глубин, что оно изумляет, чудится не только их личным...

Как вожделеет их Стрелман, хорошеньких детишек. Его замызганный гульфик того и гляди лопнет от нужды несмешно, суетно употребить их невинность, начертать на них собственные новые слова, свои бурые реальнополитические сны, некая психическая простата ноет вечно от обещанной любви, ах, одни намеки до сего дня... как соблазнительно лежат они рядами на железных койках, в этих девственных простынях, очаровашки, столь безыскусно эротичные...

Центральный автовокзал Святой Вероники, их перекресток (только прибыли на сей эрзац-паркет, жвачка измочалилась в угольную черноту, потеки ночной блевоты, бледно-желтые, чистые, как жидкости богов, мусорные газеты или агитки, которых никто не читает, разодраны на клинья, засохшие козюли, черная грязь, что вяло подтягивается внутрь, едва отворяется дверь...).

Ждал в таких местах до раннего утра, подстроившись к беленью интерьера, затвердил расписание Прибытия в сердце, в пустоте сердца. И откуда бежали дети сии, и что в городе сем их некому встретить. Поражаешь их нежностью. Так толком и не решил, прозревают ли они твой вакуум. Они еще не желают смотреть в глаза, их худенькие ножки никак не успокоятся, трикотажные чулки сползают (все эластичное ушло на войну), но пленительно: каблучок неустанно пинает матерчатые сумки, обтрепанные саквояжи под деревянной скамьей. Репродуктор в потолке отчитывается об отбытиях и прибытиях по-английски, затем на других языках, языках изгнания. Сегодняшняя детка долго ехала, не спала. Глаза красные, платышко измялось. Пальто было вместо подушки. Чуешь ее измождение, чуешь невозможную ширь

спящих пригородов у нее за спиной, и на миг поистине бескорыстен, беспол... только думаешь, как бы ее уберечь, ты – Помощь Страннику.

За спиной длинные, в ночь длиною очереди мужчин в мундирах медленно отодвигаются, пиная по пути вещмешки для самоволки, главным образом немо, к выходу, покрашенному в бежевый, но края размазаны до бурого параболами прощальных взмахов поколения рук. Двери, что открываются лишь по временам, запускают внутрь холодный воздух, высасывают людской сквозняк и затворяются вновь. Шофер или писарь стоит у двери, проверяет билеты, пропуска, увольнительные. Один за другим люди ступают в сей абсолютно черный прямоугольник ночи и исчезают. Испарились, отняты войною, человек за спиной уже предъявляет билет. Снаружи режут моторы: не столько транспорт, сколько некий стационарный агрегат, очень низкие частоты землетрясения мешаются с холодом – как-то намекают, что снаружи, после яркости внутри, слепота твоя будет – что внезапный ветер в лицо... Солдаты, матросы, морпехи, пилоты. Один за другим – исчезают. Те, кто по случаю курит, может, продержатся мгновением дольше, слабенький уголек нарисует оранжевую дугу раз, два – и все. Сидишь, вполборота наблюдаешь, твоя испачканная сонная дорогуша принимается канючить, и без толку – ну как похотям твоим вписаться в ту же белую раму, где столько отбытий – и столь бесконечных? Тысячи детей шаркают сегодня за эти двери, но лишь в редкие ночи войдет хоть один – домой, к твоей пружинистой осеменной койке, ветер над газгольдером, спертая вонь плесени на влажной кофейной гуще, кошачье говно, бледные ажурные свитера свалены грудой в углу неким случайным жестом, выкидышем или объятием. Эта бессловесная трескучая очередь... уходят тысячи... лишь заблудшая полоумная частица ненароком течет против основного потока...

И все ж несмотря на все мучения Стрелман пока добудет только осьминога – да, гигантского морского дьявола, как из фильма ужасов, именем Григорий: серого, склизкого, неугомонного, замедленно содрогающегося в самодельном загончике у пристани Фуй-Регис... жутко дуло в тот день с Канала, Стрелман в вязаном шлеме, подмораживает глаза, доктор Свинович в шинели, воротник поднят, меховая шапка натянута на уши, их дыхание смердит застарелой рыбой, и на черта Стрелману сдалось это животное?

И ответ уже растет сам по себе, вот – безликой каплебластурой, а вот сворачивается, видоизменяется...

Помимо прочего, Спектро сказал в ту ночь – наверняка в ту самую:

– Мне вот только любопытно, ты бы так же думал, если б собаки вокруг не ошивались? Если б ты с самого начала экспериментировал на людях?

– Так выделил бы мне парочку, вместо – ты вообще серьезно? – гигантских осьминогов. Врачи внимательно разглядывают друг друга.

– Интересно, что будешь делать.

– Самому интересно.

– Забирай осьминога. – Он что, хочет сказать – «забудь о Ленигропе»? Напряженный миг.

Но тут Стрелман исторгает этот свой знаменитый хохоток, что славно послужил ему в профессии, где слишком часто пан либо пропал:

– *Вечно* мне говорят – возьми животных.

Он о том, как много лет назад один коллега – теперь его нет – сказал, что Стрелман будет человечнее, теплее, если заведет собаку вне лаборатории. Стрелман попытался – видит бог, – со спрингер-спаниелем по имени Глостер, довольно славной, пожалуй, животиной, однако попытка продлилась меньше месяца. До окончательной потери терпения Стрелмана довело то, что собака не умела реверсировать собственное поведение. Открывала двери дождю и весенней мошкаре, а закрывать не могла... переворачивала мусорное ведро, блевала на пол, а убирать не научилась... как *вообще* жить с такой особью?

– Осьминоги, – улещивает Спектро, – очень податливы при хирургии. Способны пережить массивное удаление мозговых тканей. Их безусловный рефлекс на жертву *очень* надежен:

покажи им краба – ХВАТЬ! щупальце выпустит и готово, отравить – и на ужин. И, Стрелман, они не *лают*.

– Э, но. Нет... резервуары, насосы, фильтры, особый рацион... может, в Кембридже это прокатит, у тамошних, а у нас сплошь скупердяи, это все клятое наступление Рундштедта, не иначе... Д. П. П. не станет ничего финансировать, если не окупается тактически, сей же час – на прошлой неделе, понимаешь ли, а то и быстрее. Нет, осьминог – чересчур сложно, даже Мудинг на такое не пойдет, даже престарелая мания величия собственной персоной.

– Нет предела тому, чему их можно научить.

– Спектро, ты не дьявол. – Всмотриваясь пристальнее. – Да? Ты сам знаешь, нам всё наладили под звуковые раздражители, сама суть этого Ленигропова казуса *должна* быть слуховой, и *реверсирование* слуховое... Я в свое время видал парочку осьминожьих мозгов, друг, и зря думаешь, будто я не заметил их громадные цветущие зрительные доли. А? Ты пытаешься всучить мне визуальный организм. Что там *видеть*, когда эти гадины падают?

– Свечение.

– А?

– Огненный красный шар. Падает, как метеор.

– Да ерунда.

– Гвенхидви недавно видал, ночью над Детфордом.

– А я хочу, – Стрелман склоняется в центр лампового свечения, белое лицо уязвимее голоса, шепчет над горящим острием подкожной иглы, что стоямя замерла на столе, – мне нужно позарез – не собаку, не осьминога, а какого-нибудь твоего Лиса. *Ч-черт*. Одного – маленького – *Лиса!*

\* \* \*

Что-то крадется по городу Дыма – собирает горстями стройных девочек, прекрасных и гладких, словно куколки. *Их жалобные крики... их жалобные игрустные крики...* лицо одной вдруг очень близко и – *ниц!* на немигающие глаза опускаются сливочные веки с жесткими ресницами, громко хлопают, долгие отзвуки свинцовых противовесов перекатываются в голове, а веки самой Джессики разлетаются настезь. Она всплывает, в аккурат чтоб услышать, как по пятам взрыва сдувает последние отголоски, суровые и пронзительные, зимний звук... Роджер тоже на миг просыпается, бормочет нечто вроде «Ебаное безумие» и вновь закемаривает.

Она тянется, маленькая слепая рука обмахивает тикающие часы, вытерто-плюшевый живот панды Майкла, пустую молочную бутылку, в которой стоят алые цветы молочая из сада, что в миле дальше по дороге, – тянется туда, где должны быть сигареты, но их нет. Полувыбравшись теперь из-под одеяла, Джессика висит меж двух миров – белым атлетическим натяжением в этой холодной комнате. Ох, ну что ж... оставляет Роджера в их теплой норе, движется, вздрагивая вухвухвух, в зернистой тьме по зимне тугим половицам, скользким как лед под босыми ступнями.

Сигареты – на полу гостиной, остались меж подушек перед камином. Везде разбросана одежда Роджера. Раскуривая, шурясь против дыма одним глазом, Джессика прибирается, складывает его брюки, вешает рубашку. Затем подбредает к окну, приподнимает штору светомаскировки, пытается разглядеть, что снаружи, сквозь собравшуюся на стеклах изморозь – что на снегу, испещренном следами лис, кроликов, давно потерянных собак и зимних птиц, но никаких людей. Пустые каналы снега увивают в рощицу и городок, чьего названия они до сих пор не знают. Джессика прикрывает сигарету чашечкой ладони, осмотрительно стараясь не светить огоньком, хотя затемнение отменили уже много недель назад и оно осталось в другом времени и мире. В ночи на север и юг проносятся поздние грузовики, самолеты затопляют небо, после чего стекают на восток в некую тишь.

А нельзя было довольствоваться гостиницами, бланками ЭВН<sup>15</sup>, шмонами на предмет фотокамер и биноклей? Этот дом, городок, пересекшиеся дуги Роджера и Джессики так уязвимы – пред немецким оружием, пред британскими распоряжениями... здесь совершенно не *чувствуется* опасности, но все-таки Джессике хочется, чтобы рядом оказались и другие, чтобы тут в самом деле была деревенька – ее деревенька. Прожекторы могут остаться – освещать ночь, – и аэростаты заграждения – населять, жирные и дружелюбные, рассвет; всё, даже далекие взрывы, может остаться, если только ни зачем... если только никому не придется умирать... разве нельзя, чтоб так было? лишь возбуждение, звук и свет, летом близится гроза (жить в мире, где за весь день возбуждает только *это*...), лишь добрый гром?

Джессика выплыла из себя, вверх, посмотреть на себя, что смотрит в ночь, пореять в широконогой белизне с подложенными плечиками, атласно-изысканной там, где она обращена к ночи. Пока что-то в этой ночи не упадет близко до того, что не все равно, им вполне безопасно – их чащи серебристо-голубых стеблей после темна тянутся аж до облаков, касаясь их или обмахивая, буро-зеленые массы в мундирах, под вечер, каменные, глаза устремлены вдаль, конвои направлением на фронты, к высокой судьбе, которая, как ни странно, имеет мало общего с ними двумя вот здесь... ты разве не знаешь, что война идет, идиот? да, но – вот Джессика в ношеной сестриной пижаме, и Роджер спит вообще без всего, а война-то *где*?

Пока она их не коснется. Пока что-нибудь не упадет. «Жужелица» даст время добежать до укрытия, ракета вдарит до того, как они ее услышат. Может, библейская, да, жуткая, как старая северная сказка, но – не Война, не великая битва добра и зла, о которой каждый день сообщает радио. И никакой причины просто не, ну в общем, не продолжать...

Роджер пытался объяснить ей статистику V-бомб: разницу между распределением – с высоты ангельского полета – по карте Англии и собственными их шансами, как они видятся отсюда, снизу. Джессика почти поняла: до нее почти дошло его уравнение Пуассона, однако связать их она не может – сопоставить свою натужную спокойную повседневность с чистыми цифрами и ни то, ни другое не терять из виду. Кусочки постоянно вскальзывают и выскальзывают.

– Почему твое уравнение только для ангелов, Роджер? Почему *мы* тут, внизу, ничего не можем? Разве не бывает уравнения и для нас, чтоб мы нашли место понадежнее?

– Почему меня окружают, – сегодня говорит его обычное всепонимающее «я», – статистические неучи? Нет никакого способа, милая, – во всяком случае, пока средняя плотность ударов постоянна. Стрелман этого даже не понимает.

Ракеты *и впрямь* распределяются по Лондону так, как предсказывает уравнение Пуассона. По мере поступления данных Роджер все больше смахивает на пророка. Публика из Отдела Пси смотрит ему вслед в коридорах. Это не предвидение, хочется ему объявить в кафе-терии, например... разве когда-нибудь притворился я тем, кем не был? я всего-навсего сую цифры в хорошо известное уравнение, можете глянуть в учебнике и сами сделать...

Его маленьким бюро теперь правит мерцающая карта, окно в пейзаж иной, нежели зимний Сассекс, надписанные имена и паучьи улицы, чернильный призрак Лондона, разграфленный на 576 квадратов, каждый – четверть квадратного километра. Ракетные удары обозначены красными кругами. Уравнение Пуассона скажет – для произвольно выбранного общего количества попаданий, – сколько квадратов не получают ни одного, сколько – по одному, два, три и так далее.

На конфорке булькает колба Эрленмейера. Дребезжит голубой свет, перезавязывается узлами в семятоке за стеклом. На столе и по полу разбросаны древние замусоленные учебники и математические статьи. Где-то из-под Роджера старого «Уиттакера и Уотсона» выглядывает снимок Джессики. У раскрытой двери сбавляет ход седеющий павловец – своей тугой

<sup>15</sup> Эвакуация от воздушных налетов.

походкой, тонкий, как игла, он движется по утрам к себе в лабораторию, где ждут его собаки со вскрытыми щеками, и зимне-серебряные капли, взбухающие в аккуратных обнаженных фистулах, наполняют вощенные стаканчики или градуированные пробирки. Воздух дальше синь от сигарет, выкуренных и забычкованных, а позже, на морозных черных утренних сменах пере-выкуренных, – стоялая тошнотворная атмосфера. Но он должен войти, должен испить привычную утреннюю чашу.

Оба знают, сколь странной выглядит, очевидно, их связь. Если когда-либо и существовал Антистрелман, его зовут Роджер Мехико. Не в смысле, признает доктор, психических исследований. Молодой статистик предан цифрам и методу, а не столоверчению или бодрому самообману. Но в царстве от нуля до единицы, от не-чего-то до чего-то Стрелман способен владеть лишь нулем и единицей. Он не может, в отличие от Мехико, выжить между. Как прежде его учитель И. П. Павлов, Стрелман воображает корковую массу больших полушарий мозаикой пунктов вкл./выкл. Одни постоянно в оживленном возбуждении, другие мрачно подавлены. Контуры, яркие и темные, постоянно меняются. Но каждому пункту дозволено лишь два состояния: бодрствование или сон. Единица или нуль. «Суммация», «переход», «иррадиирование», «концентрация», «взаимная индукция» – вся павловская механика мозга – допускает присутствие этих бистабильных пунктов. А Роджеру принадлежит царство *между* нулем и единицей, та середина, которую Стрелман исключил из своих убеждений, – вероятности. Шанс в 0,37, что к тому времени, как он закончит подсчет, данный квадрат карты пострадает лишь от одного удара, 0,17 – что от двух...

– Неужели нельзя... *сказать*, – Стрелман предлагает Мехико свои «Кипринос Ориент», которые бережет в тайном кармашке для курева, вшитом в изнанку всех его лабораторных халатов, – по этой вашей карте, в какие места безопаснее всего ехать, где безопаснее от нале-тов?

– Нет.

– Но ведь...

– В каждый квадрат может попасть с равной вероятностью. Попадания не группируются. Средняя плотность – константа.

На карте ничто не противоречит. Лишь классическое Пуассоново распределение, тихо и аккуратно просеивает все квадраты в точности, как и должно... обретает предсказанную форму...

– Но квадраты, уже *получившие* по несколько попаданий, то есть...

– Извините. Это Ложный Вывод Монте-Карло. Сколько б ни напáдало в конкретный квадрат, шанс остается тем же, что и всегда. Каждое попадание независимо от остальных. Бомбы – не собаки. Никакой связи. Никакой памяти. Никаких условных рефлексов.

Мило излагать такое павловцу. Это у Мехико всегдашняя педантичная бесчувственность, или он знает, что говорит? Если в самом *деле* ничто не связывает ракетные удары – никакая рефлекторная дуга, никакой Закон Отрицательной Индукции... значит... Каждое утро доктор входит к Мехико, будто ложится на болезненную операцию. Все больше и больше Стрелмана нервирует эта внешность хориста, студенческие любезности. Но он должен наносить этот визит. Как может Мехико играть – так привольно – с этими символами произвольности и страха? Невинный как дитя, вероятно, и не осознает – вероятно, – что в игре своей рушит изысканные чертоги истории, угрожает самой идее причины и следствия. А что, если все *поколение* Мехико выросло таким? Неужели Послевоенье станет всего лишь «событиями», заново создаваемыми из мига в миг? Без звеньев? Это что – конец истории?

– Римляне, – Роджер и преподобный д-р Флёр де ла Ньюи как-то вечером напились вместе – или это викарий напился, – древнеримские жрецы клали сито на дорогу, затем ждали и смотрели, какие стебельки травы прорастут сквозь дырочки.

Роджер сразу увидел связь.

– Интересно, – роясь по карманам, почему никогда нет этих чертовых... а, вот, – следовала ли она Пуассонову... поглядим-ка...

– Мехико. – Подавшись вперед, недвусмысленно враждебен. – Теми стебельками, что прорастали, они лечили больных. Сито было для них весьма священным предметом. Что вы сделаете с ситом, которым накрыли Лондон? Как используете то, что растет в вашей сети смерти?

– Я вас не очень понимаю. – Это же просто уравнение...

Роджеру в самом деле хочется, чтобы другие понимали, о чем он. Джессика это сознает. Если не понимают, лицо его часто бледнеет как мел и туманится, словно за измаранным стеклом железнодорожного вагона, когда опускаются смутно посеребренные шлагбаумы, вползают пространства, которые еще больше отделят его, только сильнее разбавляя одиночество. С самого первого их дня она знала – едва он потянулся открыть дверцу «ягуара», такой уверенный, что она ни за что не сядет. Увидела его одиночество: в лице, между покрасневших рук с обкусанными ногтями...

– В общем, это не честно.

– Это в высшей степени честно. – Роджер теперь циничен, ей кажется – выглядит очень молодо. – Все равны. Одинаковые шансы, что в тебя попадут. Равны в глазах ракеты.

На что она корчит ему гримаску Фэй Рэй – глаза округлены до предела, красный рот готов распахнуться криком, – пока он не вынужден расхохотаться:

– Ой, хватит.

– Иногда... – Но что она хочет сказать? Что он всегда должен быть привлекателен, нуждаться в ней и никогда не становиться, вот как сейчас, реющим статистическим херувимом, который, в общем, в преисподнюю не спускался, но говорит так, будто один из самых падших...

«Дешевый нигилизм» – вот как называет это капитан Апереткин. Однажды днем у замерзшего пруда возле «Белого явления» Роджер отправился сосать сосульки, валялся и махал руками, чтоб в снегу отпечатались ангелы, проказничал.

– Хочешь сказать, он не заплатил... – Взгляд выше, выше, обветренное лицо Пирата заканчивается словно в небесах, ее волосы наконец преграждают путь взгляду его серых строгих глаз. Он был другом Роджера, он не играл и не рыл подкопы, не знал ни шиша, догадалась она, про эти войны бальных туфелек – да и в любом случае ему не надо, поскольку она, ужасная кокетка, уже... ладно, ничего серьезного, но эти глаза, в которые ей так и не удалось толком заглянуть, до того кружили голову, до того были потрясны, честное слово...

– Чем больше V-2 вон там ожидает запуска вот сюда, – сказал капитан Апереткин, – тем, очевидно, больше его шансы одну из них поймать. Конечно, нельзя сказать, что он не платит по минимуму. Как, впрочем, и все мы.

– Что ж, – кивнул Роджер, когда она ему потом рассказала, взгляд витает где-то, Роджер размышляет, – опять это чертово кальвинистское безумие. Плата. Почему им всегда надо толковать это в понятиях обмена? Чего Апереткин хочет – еще одного Предложения Бевериджа или чего? Назначить каждому Коэффициент Ожесточенности! великолепно – встать перед Оценочной Комиссией, столько-то очков за то, что еврей, за концлагерь, за утраченные руки-ноги или жизненно важные органы, за потерю жены, любимой, близкого друга...

– Я так и знала, что ты рассердишься... – прошептала она.

– Я не сержусь. Нет. Он прав. Все это дешевка. Ладно, но тогда что ему надо... – вот расхаживает по этой душной, сумеречной маленькой гостиной, увешанной суровыми портретами любимых охотничьих собак, делающих стойку в полях, которых и не было никогда, разве что в неких фантазиях о смерти, луга золотеют тем сильнее, чем больше стареет их льняное масло, они еще осеннее, еще некрополитичнее, чем довоенные надежды, – ибо конец всем переменам, ибо долог статичный день и куропатка навсегда на смазанном взлете, прицел ведет наискось по фиолетовым холмам к скучному небу, хорошую собакустораживает вечный запах, выстрел

у нее над головой всегда раздастся вот-вот – эти надежды явлены так откровенно, так беззащитно, что Роджер даже в найдешевейшем нигилизме никак не может понудить себя снять картины, повернуть их лицом к обоям, – чего вы все от меня ждете, я изо дня в день работаю среди буйнопомешанных, – Джессика вздыхает *ох батюшки*, подогнув в кресле красивые свои ножки, – они верят в жизнь после смерти, коммуникацию разума с разумом, в пророчества, ясновидение, телепортацию, – они *верят*, Джесс! и – и... – что-то не дает ему говорить. Она забывает досаду, выбирается из пухлого пейслийского кресла обнять Роджера, и *откуда она знает*, бедра под теплой юбкой и холмик толкаются поближе, чтобы распалить и поднять его хуй, остатки помады теряются на его рубашке, перемешиваются мышцы, касания, кожа, ввысь, кроваво – так точно знает, что Роджер хотел сказать?

*Разум-с-разумом*, сегодня допоздна у окна, пока он спит, – зажигая одну драгоценную сигарету от уголька другой, переполняясь нуждой заплакать, ибо она так отчетливо видит свои пределы, знает, что никогда не сможет защитить его, как должна, – от того, что может выпасть из неба, от того, в чем он не мог признаться в тот день (похрустывают снежные тропинки, аркады согбенных деревьев с ледяными бородами... ветер стряхнул кристаллы снега: на ее длинных ресницах расцветают фиолетовые и оранжевые существа), и от мистера Стрелмана, и от Стрелманова... его... как ни встретишь его – уныло. От его равнодушной нейтральности ученого. Рук, которые... она содрогается. Налетайте, вражьи тени из снега и покоя. Она роняет штору светомаскировки. Рук, которые могут мучить людей, как собак, и никогда не почувствовать их боли...

Украдка лис, трусость дворняг – вот сегодняшнее уличное движение, что шуршит во дворах и проездах. Мотоцикл на шоссе – рычит дерзко, что твой истребитель, огибает деревню, направляясь в Лондон. В небе дрейфуют огромные аэростаты, выросшие жемчугом, а воздух так недвижим, что краткий утренний снег по-прежнему льнет к стальным тросам, белое крутит мятной палочкой в тысячах футов ночи. И люди, что могли бы спать здесь в пустых домах, люди сметены, некоторые – уже навсегда... снятся ли им города, сияющие фонарями в ночи, Рождества, вновь увиденные глазами детей, а не овец, сбившихся вместе, таких уязвимых на голых склонах, таких выбеленных кошмарным сиянием Звезды? или песни – такие смешные, такие милые или правдивые, что их не вспомнишь, проснувшись... сны мирного времени...

– Как это было? До войны? – Она знает, что была тогда живой, ребенком, но она не об этом. Беспроводные, атмосферно-помешанные статички «Вариации Фрэнка Бриджа» – расческа для спутанных мозгов по «Внутреннему вещанию Би-би-си», бутылка «Монраше», подарок Пирата, остывает на кухонном окне.

– Ну, в общем, – надтреснутым голосом старого брюзги, паралитическая рука тянется стиснуть ей грудь так мерзко, как только умеет, – девчоночка, это смотря *какой* войны, – и вот оно, фу, фу, слюна собирается в уголке нижней губы, перетекает и падает серебристой нитью, умник какой, репетировал все эти отвратительные...

– Не смеш меня, Роджер, я серьезно. Я не помню. – Смотрит, ямочки проступают по щекам, пока он взвешивает, странновато ей улыбаясь. *Так будет, когда мне стукнет тридцать...* вспышкой несколько детей, сад, окно, голоса *Мамочка, что...* огурцы и коричневый лук на разделочной доске, цветы дикой моркови окропили блистательно-желтым простор темной, очень зеленой лужайки, и голос его...

– Я помню только, что было глупо. Просто ошеломительно глупо. Ничего не происходило. А, Эдуард VIII отрекся от престола. Влюбился в...

– Это я знаю, я умею читать журналы. Но как оно *было*?

– Просто... просто чертовски глупо, и все. Переживали из-за того, что не... Джесс, ты по правде не помнишь?

Игры, переднички, подружки, черный бездомный котенок с белыми лапками, отпуск у моря всей семьей, соленая вода, жарится рыба, катания на осликах, персиковая тафта, мальчик по имени Робин...

– То, что ушло по-настоящему, чего я не найду никогда больше, – нет, не помню.

– А. В то время как *мои* воспоминания...

– Ну? – Оба улыбаются.

– Глотал много аспирина. Почти все время пил или ходил пьяным. Беспокоился, чтобы пиджачная пара сидела как влитая. Презирал высшие слои, но отчаянно пытался вести себя, как они...

– Громко визжал – он по дороге домой потерялся...<sup>16</sup>

Джессика не выдерживает и начинает хихикать, когда Роджер тянется по ее боку в свитере до того места, где, как ему известно, она не переносит щекотки. Джессика ежится, елозя подальше, а он прокатывается мимо, отскакивает от спинки дивана, но удачно подымается, и теперь ей щекотно уже повсюду, хоть за щиколотку хватай, хоть за локоть...

Но ракета внезапно – бабах. Потрясающий взрыв, неподалеку за деревней: вся ткань воздуха, время – изменились... створное окно вдуто внутрь, отскочило с древесным скрипом и вновь шарахнуло, а весь дом еще содрогается.

Их сердца колотятся. Барабанные перепонки, скользом натянутые ударной волной, звенят от боли. Над самой крышей вдаль уносится незримый поезд...

Они сидят тихо, как нарисованные собаки, молча, странно неспособные коснуться друг друга. Смерть вошла через кладовку: стоит, смотрит на них, железная и терпеливая, – дескать, *попробуй пощекочи меня.*

\* \* \*

(1)

Временно командированный  
в Отделение Абреакции  
Госпиталь Святой Вероники  
Мослчепел-Гейт, Е1  
Лондон, Англия  
Зима, 1944 г.

Мальшу Кеноше  
До востребования  
Кеноша, Висконсин, С.Ш.А.

Многоуважаемый сэр,  
Разве я когда-нибудь, *хоть когда-нибудь* в жизни от Вас чего-нибудь  
хотел?

Искренне Ваш,  
*Л-т Эния Ленигрон*

До востребования  
Кеноша, Виск., С. Ш. А.

---

<sup>16</sup> Перев. И. Родина.

*несколько дней спустя*

Энии Ленитропу, эск.  
временно командированному  
Отделение Абреакции  
Госпиталь Святой Вероники  
Мослчепел-Гейт, Е1  
Лондон, Англия

Многоуважаемый мистер Ленитроп,  
Никогда – что вы, да как можно?

*Мальш Кеноша.*

(2) Наглый щегол: Ай, да я все это старье могу сбавать – и «чарльстон», и «ба-альшое яблоко» тоже!

Матерый танцор: Спорим, не знали никогда – вы, да, – как можно, мальш, «Кеношу»?

(2.1) Н. Щ.: Ёксель, да я все могу – и «касл-уок», и «линди» тоже!

М. Т.: Спорим, не знали никогда вы, да! – как можно «малыша Кеношу»?

(3) Мелкий служащий: Ну вот, он меня избегал, и я решил, что из-за Казуса Ленитропа. Если он зачем-то взвалил ответственность на меня...

Начальник (кичливо): Никогда! Что? Вы? Да как можно, Мальш Кеноша ни на секунду не подумал, что *вы*...

(3.1) Начальник (скептически): Никогда, что вы! Да как можно Мальшу Кеноше на секунду подумать, что *вы*?..

(4) И в конце могучего дня, когда он даровал нам огненными письменами по небу все слова, что пригодятся нам, слова, коими ныне мы наслаждаемся и заполняем наши словари, кроткий голос крошки Энии Ленитропа, с тех пор воспетый в сказаньях и песнях, робко просочился и достиг слуха Мальша:

– Никогда – что? Вы – «да как»? Можно, Мальш Кеноша?

Сии вариации на тему «Никогда что вы да как можно Мальш Кеноша» занимают сознание Ленитропа, а врач подается к нему из белой надглавной вышины, дабы пробудить и начать сеанс. Игла без боли скользит в вену чуть в стороне от ямки в самом изгибе локтя: 10 %-ный Амитал Натрия, один кубик за раз, по необходимости.

(5) Может, вы фальшивили с Филадельфией, растревляли Рочестер, джентльменовствовали с Джолиет. Но никогда... что вы – да как можно с Мальшом Кеношей?

(6) (День Вознесенья и жертвоприношенья. Соблюдается всей страной. Вытапливаются жиры, кровь каплет и пережигается в бурю соль...) Вы пожертвовали чикагскую чушку – есть, форест-хиллскую форель – есть. (Уже слабее...) Ларедский лярд. Есть. Ой. Постой-ка. Что это, Ленитроп? Никогда? Что вы, да как можно – а малышки ношу? Рав-няйсь, Ленитроп.

В кулаке зажат стояк  
Стройся, хряк, —  
И под стяг!  
Рав-няйсь, Ленитроп!

Джексон, поебать дела —  
Мне бы «драного орла».  
Рав-няйсь, Ленитроп!

Ни любви мне здесь, ни пониманья:  
Лишь бы вновь отправить на зада... нье...

Датчик в мозг, прослушку в лоб,  
И иголкой в вену – хлоп!  
Ленитроп, рав-няйсь!

ПИСКУС: Сегодня, Ленитроп, мы хотим снова побеседовать о Бостоне. В прошлый раз, как вы припоминаете, мы беседовали о неграх в Роксбери. Мы, конечно, знаем, что вам это не особо приятно, но попробуйте, будьте любезны. Итак... вы где, Ленитроп? Вы что-нибудь видите?

Ленитроп: Ну, не то чтобы *вижу*...

С ревом влетая над-подземкой, только в Бостоне, сталь и углеродный саван поверх древнего кирпича...

Ри-там взял мя,  
О этот свинг, свинг, свинг!  
Да, ритм взял мя  
И несется со всех гор-морей-равнин,  
Никогда не думал, что-он так-звучит,  
Даже за углом-на старой Бэй-син-стрит,  
Раз нынче ритм взял мя, детки, врежем  
Свинг, свинг, свинг,  
Давай... детки, это... свинг!

Черные лица, белая скатерть, сверкают *очень острые ножи*, выложенные у тарелок... дым табака и ганджи мешается густо, от него краснеют глаза, ядреный, как вино, а то как же ж забём косую шоб от дури в мозге процесс! шоб все складки совсем разгладьсь, ну дак!

ПИСКУС: Вы сказали «мудак», Ленитроп?

Ленитроп: Да лана вам, ребзя... чё вы такие...

Белые студентики, вопят – заказывают «комбо» на эстраде, чего играть. Голоса, как у подготовишек с Востока, *жона* произносят с эдаким сфинктерным жомом губ – выходит *жже-ёопня*... на ногах не стоят, фулюганят. Аспидистры, гигантские филодендроны, зеленые опухала листьев и ветви тропических пальм свисают в сумрак... два бармена, очень светлый вестиндец, хрупкий, с усиками, и его партнер на побегушках – черный, что рука в вечерней перчатке, – неумоимо перемещаются перед глубоким, прямо-таки океаническим зеркалом, которое заглатывает большую часть зала в металлические тени... сотня бутылок едва успевает ухватить свет, а потом тот стекает в зеркало... если кто-то нагибается прикурить, пламя отражается лишь темным закатным оранжем. Ленитропу не разглядеть даже своего белого лица. К нему оборачивается женщина за столиком. Глаза ее – единым мигмом – сообщают ему, что он такое. Губная гармоника в кармане вновь погружается в латунную инертность. Тягость. Принадлежность джайва. Но он берет ее с собою, куда б ни пошел.

Наверху, в мужской уборной танцзала «Страна роз» он отъезжает, стоя на коленях возле унитаза, блюет пивом, гамбургерами, картошкой во фритюре, шефским салатом с французской заправкой, полубутылкой «Мокси», послеобеденными мятными пастилками, плиткой «Кларка», фунтом соленого арахиса и вишенкой из «старомодного» какой-то рэдклиффской девчонки. Ни разу не предупредив, пока из глаз льются слезы, ПЛЮХ – гармоника выскальзывает в это, *влеэээээ*, омерзительное *очко*! И тут же по ярким ее бочкám ползут пузырьки, и

по коричневому дереву, где-то залакированному, где-то истертому губами, эти тонкие серебряные зернышки – чередой на волю от спуска гармоник к каменно-белой шейке и в ночь еще глубже... Настанет день, и Армия США снабдит его рубашками, у которых карманы застегиваются на пуговицы. Но в те довоенные дни он может полагаться лишь на крахмал белоснежной «Стрелы», который слепляет карман так, чтоб ничего оттуда не... Но нет, нет же, дурень, гармоника *уже* выпала, забыл? низкие язычки на миг запевают, ударяясь о фаянс (а где-то в окно бьет дождь – и снаружи, по листовому железу вентиляционного люка: холодный бостонский дождь), затем гасятся водой, исполосованной последними желчно-бурыми витками его блевотины. Не призовешь обратно. Либо отпустить гармонику, свою серебряную мечту о песне, либо придется следом.

Следом? У своего пыльного кожаного сиденья ждет Рыжий – негр-чистильщик. По всему разоренному Роксбери негры ждут. Следом? С танцпола внизу воеет «Чероки», поверх хайхэта, контрабаса – тысячи пар ног, где шальные розовые огни предполагают не бледнолицых гарвардских мальчиков с подружками, а толпу разодетых краснокожих. Та песня, что нынче играет, – очередная ложь о преступлениях белых. Однако под «Чероки» в канале потопло больше музыкантов, чем проплыло с одного конца до другого. Все эти долгие, долгие ноты... к чему они, что делать столько времени у них внутри? сговор индейских духов? А в Нью-Йорке – гони, может, успеешь к последнему отделению: на 7-й авеню между 139-й и 140-й сегодня «Птаха» Паркер откроет, как использовать ноты на верхних охвостьях этих самых аккордов, чтобы разломать мелодию на *помилосердуйте* да что это такое блядь просто пулемет какой-то чувак да он *спянул* 32-е тридцатьвторые ноты – произнеси очень (тридцатьвторая нота) быстро голосом жевуна если врубаешься, *что* несется из «Дома Чили Дэна Уолла» и вдоль по улице – ёксель, да по всяким улицам (к 39-му его странствие началось уже изрядно: вдоль по нутру самых утвердительных соло гудков – уже ленивое распотешенное дум-ды-дум самого старика Мистера блядь Смерть) по радиоволнам, на светские вечеринки, иногда аж и до того, что сочтется из динамиков, запрятанных в городские лифты и все рынки, поет его птаха, противореча колыбельным Чувака, подрывая хмельной прилив бесконечно, бесхребетно переналоженных струнных... Стало быть, пророчество даже тут, на дождливой Массачусетс-авеню нынче уже осуществляется в «Чероки», саксофоны внизу пускаются в какую-то ох в натуре жуть...

Если за гармоникой следом в унитаз, придется Ленитропу головой вперед, а это не есть хорошо, птушто жопа тогда беззащитно вознесется в воздух, а коли вокруг негритосы, нам такого не надо: сам мордой в зловонную неведомую тьму, а бурые пальчики, крепкие и уверенные, тут же примутся расстегивать на нем ремень, разлатьвать ширинку, сильные руки разведут ноги – и он уже чувствует на бедрах холодное лизольное дуновение, ибо длинные трусы тоже сползают вместе со своими разноцветными приманками на окуня и наживками на форель. Он старается поглубже залезть в очко унитаза, а тем временем сквозь вонючую воду смутно доносится гомон целой смуглой банды кошмарных негров, что, довольно голоса, заваливают в уборную для белых, смыкаются над бедным ерзающим Ленитропом, корячатся джайвом, как это у них обычно, распевая: «Дай-ка тальку ты мне, Малькольм!» И голос, что им отвечает, – чей, как не этого Рыжего, мальчишки-чистильщика, который раз десять драил черные лакированные Ленитропа, опустившись на колени и пошчелкивая щеткой в такт... а Рыжий – это сильно долговязый, костлявый рыжий парнишка, негр-чистильщик с причудливо выпрямленными волосьями, который для всех гарвардцев всегда был просто «Рыжим»: «Слышь, Рыжий, „Шейхов“ не завялялось?» – «А еще поговорчивей телефончика не найдется, Рыжий?» – этот негритос, чье настоящее имя наконец посреди унитаза достигает слуха Ленитропа – а толстый палец с плюхой очень склизкого желе или крема уже подползает по расщелине к его дыре, сплетая по пути волоски ломаной саржей, как изогипсы на топографической карте речной долины, – *настоящее имя Малькольм*, и все черные хуи знают его, этого Малькольма, всю дорогу знали – Рыжий Малькольм, Немыслимый Нигилист, грит: «Батюшки-светы да он *весь* сплошная жопа,

а?» Черти червивые, Ленитроп, ну тебя и загнули раком! Хоть ему и удалось так забуриться, что одни ноги торчат, а ягодицы вздымаются и перекатываются под самой водой, словно мертвенно-бледные купола льда. Вода плещет, холодная, как дождь снаружи, по стенкам белого унитаза. «Хватай, покуда не сбежал!» – «А то!» Далекие руки цапают его за икры и лодыжки, щелкают его подтяжками и дергают за носки в ромбик, что мамуля связала ему специально для Гарварда, но изолируют они так хорошо, либо он так глубоко продвинулся в унитаз, что рук почти что и не чувствует...

И тут он их стяхнул, касанье последнего негра осталось где-то наверху, а он свободен, скользок, как рыба, и девственная жопа его нетронута. Тут кое-кто сказал бы уф-ф, ну *слава* богу, а кто-то немного бы покряхтел, эх бя, но Ленитроп не говорит почти ничего, ибо почти ничего не *чувствует*. Да и-и – по-прежнему ни следа его потерявшейся гармоникки. Свет тут внизу темно-сер и довольно тускл. Уже некоторое время он замечает говно, причудливо облепившее стенки этого керамического (или к сему мгновенью – железного) тоннеля, в коем он сейчас: говно, что ничем не смыть, смешанное с минералами жесткой воды в предумышленные наросты на его пути, в узоры схем, тяжкие от смысла, как знаки «Бирма-Брижки» туалетного мира, вонючие и липучие, криптические и глиптические, формы эти проступают и плавно минуют, а он продолжает спуск по долгому мутному урезу отходов, «Чероки» по-прежнему очень смутно пульсирует сверху, аккомпанируя ему до самого моря. Он сознает, что способен различить некие следы говна по явной принадлежности тому или иному знакомому гарвардцу. Что-то здесь, конечно, наверняка негритянское, но это последнее все на вид одинаково. Эй, вон то – «Индюк» Биддл, должно быть, в тот вечер, когда мы все ели чоп-суи в «Грешке Фу» в Кембридже, потому что где-то тут ростки фасоли и даже намек на соус из дикой сливы... надо же, некоторые чувства и *впрямь* обостряются... ух ты... «Грешок Фу», ёксель, это ж сколько месяцев назад. Да и-и Свалка Виллард, в тот вечер у него был запор, нет? – черная срань, тугая, как смола, которая день придет – и навеки осветлится до темного янтаря. В ее тупых неохотных касаньях вдоль стенки (кои гласят о реверсе ее собственного сцепленья) он, сверхъестественно говнообостренный, способен различить древние муки в бедняге Свалке, который в прошлом семестре пытался покончить с собой: дифференциальные уравнения не желали для него сплетаться никаким элегантным узором, мать в надвинутой на глаза шляпке и коленями в шелке подавалась над столиком Ленитропа в «Большом Желтом Гриле Сидни», чтобы допить за него бутылку канадского эля, рэдклиффские девчонки его избегали, черные профи, с которыми его сводил Малькольм, впаривали ему эротические жестокости по доллару, сколько он мог вытерпеть. Или – если мамин чек запаздывал – сколько мог себе позволить. Смывшись вверх по течению, барельефный Свалка теряется в сером свете – нынче Ленитроп проплывает мимо знаков Уилла Каментуппа, Дж. Питера Питта, Джека Кеннеди – посольского сынка: слышь, где же *Джек*, блядский хек, а? Если бы кто и спас гармонику, то один только Джек. Ленитроп восхищается им издали – Джек атлет, добрый, в классе Ленитропа его все любят. На истории, конечно, чутка сбрендил. Джек... может, сумел бы не дать ей упасть, как-то завалил бы тяготение? Здесь, на переходе в Атлантику ароматы соли, водорослей, тленья слабо прибывает к нему, как шум волноломов, – да, похоже, Джек бы мог. Ради еще не сыгранных мелодий, миллионов возможных блюзовых строк, гнутых нот с официальных частот, подтяжек, на какие Ленитропу вообще-то не хватит дышалки... пока не хватит, но настанет день... ну, по крайней мере, если (когда...) он найдет инструмент, тот хорошенько промокнет, гораздо легче играть. В унитазе такая мысль обнадеживает.

Нырк в тубзо – о как я дал!  
 Надо же, какая дурь!  
 Только бы никто не ссал —  
 Йиппи диппи диппи дуй...

И вот именно тут накатывает этот кошмарнейший всплеск от уреза, грохот нарастает приливной волной, упакованный по самое не хочу волновой фронт говна, блевотины, туалетной бумаги и ганзоликов в умопомрачительной мозаике налетает на перепуганного Ленигропа, как поезд бостонской подземки на свою несчастную жертву. Некуда бежать. Парализованный, он оглядывается через плечо. Стена высится и волочет за собой длинные щупальца говнобумаги, удар по нему – ГААХХХ! он пробует по-лягушачьи лягнуться в последний миг, но его уже смел цилиндр отходов, темный, словно говяжий студень, по хребту его между лопатками, бумага рвется, облепляет губы, ноздри, все пропало и воняет говном, а он вынужден отмахиваться ресницами от налипающих на них микрокакашек, это хуже торпедной атаки япошек! бурая жижа несется дальше, влача его, беспомощного, за собой... похоже, он бултыхается вверх торпедками – хоть в этом сумрачном говношторме толком и не скажешь, никаких визуальных реперов... время от времени его трет о кустарник, а может, о перистые деревца. Ему приходит в голову, что давненько он уже не касался твердой стенки – с тех пор как начал кувыркаться, если он и впрямь кувыркается.

В какой-то миг бурый сумрак вокруг начинает светлеть. Типа заря. Потихоньку-полегоньку кружение оставляет его. Последние жгуты говнобумаги, почти пульпа, отступают... убогие, растворяются, прочь. Его заливает зловещим светом – водянистым и крапчатым, хоть бы это ненадолго, ибо что несет он с собою? Но в сих пустошах живут «контакты». Знакомые. В панцирях старых и, похоже, недурной кладки руин – одна выветренная клетка за другой, многие без крыш. В черных очагах горят костры, в ржавых общепитовских банках из-под лимфской фасоли закипает вода, и пар уносится по худым дымоходам. А они сидят вокруг на стертых плитах пола, делишки у них... как бы получше определить... какие-то смутно церковные... Спальни обставлены полностью, свет там включается и тлеет, со стен и потолков свисает бархат. До распоследнейшей забытой синей бусины, обросшей пылью под «Кейпхартом», до последнего высохшего паучка и сложносоставной ряби по ворсу ковров замысловатость сих жилищ изумляет его. Здесь укрываются от бедствия. Не обязательно от смыва в Туалете – такое беспокойство случается тут как бы по умолчанию, за этим древним небосводом, в его разъединенной однотонности, – но от чего-то иного, кошмарно *навалившегося* на эту страну, чего бедный промокший Ленигроп не умеет ни разглядеть, ни расслышать... словно тут каждое утро Пёрл-Харбор невидимо лупит с небес... В волосах туалетная бумага, а в правой ноздре застрял мохнатый и тугой комочек кала. Фу, фу. В ландшафте сем безмолвно трудятся крах и упадок. Ни солнца, ни луны – лишь долгое гладкое гармоническое колебание синусоиды света. Это негритянская какашка, он точно знает – упорная, как зимняя козюля, когда он ее нащупывает. Ногтями расцарапывает до крови. Он стоит снаружи этих коммунальных комнат и залов, снаружи, в собственном пустынно-высокогорном утре, рыжевато-бурый ястреб – нет, два... зависли на воздушном потоке, дабы надзирать за горизонтом. Холодно. Дует ветер. Ленигроп чувствует лишь свою отдельность. Они хотят его к себе вовнутрь, но он не может к ним. Что-то ему не дает: оказался внутри – все равно что дал кровавый обет. Его никогда не отпустят. Нет гарантии, что не попросят о чем-нибудь... о чем-то таком...

Вот всякий отдельный камень, всякий клочок фольги, плашка дерева, ошметок растопки или ткани скачет вверх-вниз: подымается на десять футов, затем вновь падает и бьется о мостовую с резким хлопком. Свет густ и водянисто-зелен. По улицам сплошь в унисон взлетает и падает мусор, словно отданный на милость некоей глубокой размеренной волне. Сквозь вертикальный танец трудно прозреть хоть что. Дробь по мостовой длятся одиннадцать тактов, двенадцатый пропускают, цикл начинается заново... это ритм какой-то народной американской мелодии... Все улицы безлюдны. Либо рассвет, либо сумерки. Те куски мусора, что металлические, сияют с жесткой, едва ль не синей настойчивостью.

Ты Рыжего Малькольма помнишь, дебил?  
В его волосах щелок «Красный черт» был...

И вот вам Клюкфилд или Злюкфилд, пионер с фронта. Не «архетипичный» переселенец, но *единственный*. Поймите, он был такой только один. Лишь один индеец вступил с ним в бой. Лишь один бой, одна победа, одно поражение. И только один президент, и один убийца, и одни выборы. Поистине. Всего по одному. Вы подумали о солипсизме, вообразили, что вся структура населена – на вашем уровне – всего одним, вот ужас-то, одним. Любые другие уровни не в счет. Но оказывается, что не так уж одиноко. Разреженно, да – но гораздо лучше, чем уединенно. Всего по одному – не так уж плохо. Пол-Ковчега – лучше, чем никакого. И вот этот Клюкфилд подрумянивается тут солнцем, ветром и грязью; против темно-бурых досок амбара или конюшни он – древесина с иным волокном и отделкой. Против фиолетового горного склона – добродушен, солиден, щурится на солнце. Тень его грубо сжеживается назад сквозь деревянное сито конюшни – балок, столбов, стоек стойл, опор для корыт, стропил, потолочного настила, сквозь который сияет солнце: ослепительный эмпирей даже на закате дня. За уборной кто-то играет на губной гармонике – какой-то музыкальный обжора, гигантскими пятинотными аккордами на весь рот выводит мелодию

#### ДОЛИНЫ КРАСНОЙ РЕКИ

Говорят, ты смываешь заначки, —  
Посиди отдохни, крепче вдуй...  
Потому что сортир не взломают,  
А говна тут – хоть задницей жуй.

Да уж, нормальная такая Красная река, коли не верите – спросите этого «Рыжего», где б он ни был (я вам расскажу, что такое Рыжий – это оттенок Красных, жопных дружочков ФДР, они хотят все это отобрать, у всех баб ноги волосами поросли, подавай им все, а не то взорвут черную круглую железяку с фитилем посреди ночи, окровавив пшеков в серых кепках, сезонников, негритосов ага черномазых особенно...)

Ну а снова тут мелкий кореш Клюкфилда только что вышел из амбара. Мелкий кореш на сейчас, то есть. За Клюкфилдом по всей этой широкой щелочной равнине тянется цепочка безутешных мелких корешей. Один мелкий дурик в Южной Дакоте,

Один мелкий жулик из Сан-Берду,  
Один китаёза, сбежавший со стройки,  
С жопой желтушной, как сам Фу-Манчу!  
Один с трипаком и один с жутким зобом,  
Один был с проказой, чуть-чуть – и того,  
Калека на правой, калека на левой,  
Калека на обе ноги – три всего!  
Один пидарас и одна лесбиянка,  
Один негритос и один мелкий жид,  
Один краснокожий с бизоном под ручку,  
И еще из Нью-Мексик охотник бежит...

И так далее и тому подобное, всех по одному, он Белый Ебарь *terre mauvais*<sup>17</sup>, этот Злюкфилд, приходит оба пола и всех животных, кроме гремучих змей (должным образом говоря – «гремучей змеи», поскольку наличествует только одна), но в последнее время, судя по всему, ему в голову взбредают фантазии и об этой *гремучей змее* тоже! Зубы едва шекочут крайнюю плоть... бледная пасть распаивается, и ужасная радость в глазах-полумесяцах... Его нынешний мелкий кореш – Шмякко, юный норвежец-мулат, у которого фетиш – конская параферналия: ему нравится, когда его стегают арапником в пропотевше-кожаных сбруйницах их скитаний, коим сегодня три недели – долгонько этот продержался, для мелкого-то кореша. Шмякко носит наштанники из импортной шкуры газели, которые Клюкфилд ему купил в Орлином Перевале у фараонного банкомета с тягой к тинктуре опия – банкомет навсегда пересекал великую Рио, направляясь в пустынную духовку дикой Мексики. Кроме того, Шмякко щеголяет в бандане уставных цветов – пурпурного и зеленого (предполагается, что у Клюкфилда целый шкаф этих шелковых шарфиков дома на «Ранчо Пелигросо»<sup>18</sup>, и он никогда не выезжает в скалы и по руслам без дюжины-двух, распиханных по седельным сумкам. Это означает, что правило всего-по-одному применимо лишь к формам жизни, вроде мелких корешей, а не к предметам, вроде бандан). А венчает Шмякко высокий блестящий шапокляк японского шелка. Сегодня Шмякко, выходя из амбара, – вполне себе фронт.

– А, Клюкфилд, – сделав ручкой, – как мило, что ты появился.

– Ты знал, что я появлюсь, маленький негодяй, – блядь, этот Шмякко с таким прибабахом. Вечно подначивает хозяина, надеясь получить кожаным хлыстом пару раз по этим смуглым афроскандинавским ягодицам, кои сочетают в себе каллипигийскую округлость, наблюдаемую у наций Темного Континента, с поджарой и благородной мускулатурой крепкого Олафа, нашего светловласого северного сородича. Но Клюкфилд на сей раз лишь отворачивается, разглядывая горы в отдаленье. Шмякко дуется. В цилиндре его отражается грядущий холокост. Белому человеку не надо произносить только одного, даже мимоходом – примерно следующего: «Сегодня вечером прискачет Торо Рохо»<sup>19</sup>. Оба кореша и *так* это знают. Ветра, что несет им эту индейскую вонь, хватит кому угодно. О господи, вот пальба пойдет, кровавая, как черт-те что. Ветер задует так крепко, что на деревьях с северной стороны кровь застынет коркой льда. С краснокожим придет собака – единственная индейская псина на этих пепельных равнинах: кабыздох полезет к мелкому Шмякко и дни свои закончит на мясном крюке за открытым прилавком на немощеной площади в Лос-Мадрес, глаза распахнуты, шелудивая шкура нетронута, по залитым солнцем известке и камню церковной стены, что через площадь, скачут блохи, кровь темнеет и запекается на драной шее, где зубы Шмякко перегрызли яремную вену (а может, и пару-тройку сухожилий, ибо голова свесилась набок). Крюк вонзен в спину, меж позвонками. Мексиканские дамы тычут вдохлого пса, а тот неохотно покачивается в утренних запахах кормовых бананов для жарки, сладкой молодой морковки из долины Красной реки, давленого множества овощей, кинзы, что пахнет животным мускусом, крепкого белого лука, ананасов, что бродят под солнцем и уже готовы взорваться, огромных крапчатых полок горных грибов. Ленитроп движется меж ларей и развешанных тканей, невидимый, среди лошадей и собак, свиней, ополченцев в коричневых мундирах, индейцев с младенцами, подвешенными в платках, слуг из пастельных домов, что дальше по склону, – площадь бурлит жизнью, и Ленитроп озадачен. Разве всем не полагается быть по одному?

О. Да.

В. Тогда одна индеанка...

<sup>17</sup> Пустошь (*фр.*).

<sup>18</sup> От исп. «опасное ранчо».

<sup>19</sup> От исп. «красный бык».

*О.* Одна *чистокровная* индейка. Одна *mestiza*. Одна *criolla*<sup>20</sup>. Затем: одна яки. Одна навахо. Одна апача...

*В.* Секундочку, в самом начале был всего один индеец. Которого Клюкфилд убил.

*О.* Да.

Считайте это задачей оптимизации. Наилучшим манером страна обеспечивает всех только по одному.

*В.* Тогда как же остальные? Бостон. Лондон. Те, кто живет в городах. Эти люди настоящие или как?

*О.* Некоторые да, некоторые нет.

*В.* А настоящие необходимы? или избыточны?

*О.* Зависит от того, что у вас на уме.

*В.* Блядь, нет у меня ничего на уме.

*О.* А у нас есть.

На миг десять тысяч жмуриков, что скрючились под снегом в Арденнах, принимают солнечный диснеизированный вид пронумерованных младенцев под теплыми белыми одеялками – ждут, когда их отправят благословенным родителям в какие-нибудь Верхние Водопады Ньютона. Это длится лишь мгновенье. Затем еще на миг впечатление такое, будто все рождественские колокольцы мироздания вот-вот сольются в хор – что весь их случайный перезвон нынче станет, лишь на этот миг, согласен, гармоничен и принесет с собою вести о недвусмысленном утешении, о правдоподобной радости.

Но сдвигаем на склон Роксбери. Снег слежался в арки, в сетчатые поля его черных резиновых подошв. Его «артики» позвякивают, когда он шевелит ногами. Снег в этой труппной тьме выглядит сажей в негативе... влетает в ночь и вылетает... Кирпичные поверхности при свете дня (он их видит лишь на ранней утренней заре, в ботах ему больно, ищет такси вверх и вниз по всему Холму) пылают коррозией, плотные, глубокие, снова и снова заваленные морозами: до того историчные, что куда там Бикон-стрит...

В тених, где черное и белое держатся на лице схематичной пандой и всякая область – опухоль или масса рубцовой ткани, ждет связник, к которому он добирался в такую даль. Лицо вялое, как у сторожевого пса, и хозяин оного лица много жмет плечьми.

*Ленитроп:* Где он? Почему не явился? Вы кто?

*Голос:* Малыша замели. И меня вы знаете, Ленитроп. Припоминаете? Я – Никогда.

*Ленитроп (вглядываясь):* Никогда? Что – вы, да? (Пауза.) Как можно? Малыша Кеносу?

\* \* \*

«Криптосперм» – патентованная разновидность стабилизированного тирозина, разработанная концерном «ИГ Фарбен» по контракту на исследования с ОКВ<sup>21</sup>. Прилагается активирующий агент, который при наличии некоего, до сего дня [1934] не обнаруженного, компонента семенной жидкости способствует преобразованию тирозина в кожный пигмент меланин. В отсутствие семенной жидкости «Криптосперм» остается невидимым. Ни один известный реагент из тех, что доступны оперативникам в полевых условиях, не преобразует «Криптосперм» в видимый меланин. В криптографическом применении предлагается вместе с сообщением передавать раздражитель, который с высокой вероятностью вызовет эрекцию

---

<sup>20</sup> Метиска... креолка (*исп.*).

<sup>21</sup> Oberkommando der Wehrmacht (*нем.*) – Верховное главнокомандование вооруженных сил (в нацистской Германии).

и эякуляцию. Бесценным подспорьем представляется детальное изучение психосексуального профиля получателя.

*Проф. Ласло Ябон, «Криптосперм» (рекламный проспект), «Азфа», Берлин, 1934*

Картинка на плотной кремовой бумаге, сверху черные письма «GENEIME KOMMANDOSACHE»<sup>22</sup>, выполнена пером и тушью, прорисовано весьма тонко, отчасти под Бердслея или фон Байроса. Женщина – один в один Скорпия Мохлун. Комната – они говорили о ней, но никогда не видели, комната, где они хотели бы однажды поселиться, утопленный бассейн, шелковый полог ниспадает с потолка, – сказать по правде, съёмочная площадка Де Милля, грациозные промасленные девицы в прислужницах, вверху – намек на полуденный свет, Скорпия растянулась среди пухлых подушек, на ней в точности грация фламандских кружев, темные чулки и туфли, о каких он нередко грезил, но никогда...

Нет, разумеется, ей он – ни слова. Никому ни слова. Как у всякого юнца, выросшего в Англии, у него условный рефлекс – стояк при виде неких фетишей, а затем условный рефлекс – стыд из-за новых рефлексов. Возможно ли – где-то – досье, возможно ли, чтоб Они (Они?) как-то умудрялись отслеживать все, что он видел и читал с самой половозрелости... а откуда еще Им знать?

– Тш-ш, – шепчет она. Пальцами легонько гладит свои длинные оливковые бедра, нагие груди набухают над кружевами. Лицо обращено к потолку, но глаза проницают Пиратовы, длинные, от похоти суженные, меж густых ресниц мерцают две точки света... – Я его брошу. Мы приедем сюда и станем жить. Станем вечно заниматься любовью. Я – твоя, мне это ясно давным-давно... – Язык выскальзывает, обмахивая заостренные зубки. Мохнатый ежик – в средоточии света, и во рту вкус, который он вновь ощутит...

Короче, Пират едва успевает, еле вываливает хуй из штанов, прежде чем все вокруг обкончат. Впрочем, приберег каплю спермы – хватит втереть в тот пустой клочок, что прилагался к картинке. И медленно, откровением под перламутровой пленкой его семени проступает буро-негритянокое сообщение – фразированное простой «перестановкой нигилистов», и ключи он почти угадывает. Расшифровывает по большей части в уме. Дано место, время, запрос о содействии. Он сжигает послание, свалившееся на него из страт, что выше земной атмосферы, добытое с нулевого меридиана Земли, картинку оставляет – хм-м – и моет руки. Простата ноет. Тут многое сокрыто. Ни попросить о помощи, ни умолить о пощаде: опять туда, эвакуировать оперативника. Послание равносильно приказу с высочайших уровней.

Издалека сквозь ливень доносится хрусткий взрыв очередной германской ракеты. Третья за сегодня. Охотятся в небесах, как Водан и его чокнутое воинство.

А Пиратовы роботоруки уже обследуют папки и ящики на предмет потребных расписок и бланков. Поспать нынче не светит. Пожалуй, сигарету или глотнуть чего по пути – и то без шансов. На хера?

\* \* \*

В Германии с приближеньем финала вот чем исписаны бесконечные стены: «WAS TUST DU FÜR DIE FRONT, FÜR DEN SIEG? WAS HAST DU HEUTE FÜR DEUTSCHLAND GETAN?»<sup>23</sup>. В «Белом явлении» стены исписаны льдом. Ледяные граффити в бессолнечный день заволакивают темнеющий кровавый кирпич и терракоту, будто здание – архитектурный документ, старомодный прибор, чье назначение позабыто, – надлежит оберегать от непогоды

<sup>22</sup> Совершенно секретно, особой важности (нем.).

<sup>23</sup> «Что ты делаешь для фронта, для победы? Что сделал ты сегодня для Германии?» (нем.)

в некоей шкуре прозрачного музейного полиэтилена. Лед разновеликой толщины, волнистый, помутнелый – легенда, которую расшифруют повелители зимы, краевые ледоведы, а затем станут спорить о ней в своих журналах. Выше по склону, к морю ближе, подобно свету, снег копится на всякой наветренной грани древнего Аббатства – крыша давным-давно снесена по маниакальному капризу Генриха VIII, а стены остались, безбожными оконными дырами умеряют соленый ветер, пока времена года крупными мазками перекрашивают травянистый ковер в зеленый, в выцветший, потом в снежный. Из палладианского здания в насупленной сумеречной низине это единственный вид – на Аббатство или же на мягкие, обширные и крапчатые перекаты нагорья. Вид на море отсюда заказан, хотя в определенные дни и приливы чувствуешь это море, чувствуешь всех своих подлых прародителей. В 1925-м бежал Редж Ле Фройд, пациент «Белого явления» – промчался по центру города и воздвигся, покачиваясь, на утесе, волосы и больничная одежда трепещут на ветру, слева и справа в рассольной дымке тускнеют, колеблясь, мили южного побережья, белесого мела, пристаней и променадов. За ним во главе толпы зевак прибежал констебль Дуббз.

– Не прыгай! – кричит констебль.

– Я и не думал. – Ле Фройд по-прежнему смотрит в море.

– Ну а что ты там делаешь. А?

– Хотел на море поглядеть, – объясняет Ле Фройд. – Никогда не видал. Я ему кровная родня, понимаете?

– А, ну да. – Коварный Дуббз тем временем к нему подбирается. – К родственничкам в гости заглянул, а? как мило.

– Я слышу Повелителя Моря, – дивясь, кричит Ле Фройд.

– Боженька всемогущий, а зовут-то его как? – У обоих лица мокрые, оба перекрикивают ветер.

– Ой, я не знаю, – орет Ле Фройд. – А вы как посоветуете?

– Берт, – предлагает констебль, припоминая, как надо – правой рукой хватать выше левого локтя или же левой рукой хватать...

Ле Фройд оборачивается и только теперь видит констебля, видит толпу. Глаза его округляются и смягчаются.

– Берт – это хорошо, – говорит он и задом шагает в пустоту.

Вот и все разнообразие, что горожане Фуй-Региса поймали с «Белого явления»: много лет подряд наблюдали розовый или веснушчатый отпускной наплыв из Брайтона, Выброс и Отброс всякий день радио-истории отливали в песне, закаты на променаде, диафрагмы объективов вечно открывались под морской свет, веющий в небе то резко, то мягко, на ночь аспирина, – и только прыжок Ле Фройда, единственное развлечение, пока не вспыхнула эта война.

Разгром Польши – и вдруг в любой час ночи видишь правительственные кортежи, что подкатывают к «Белому явлению», бесшумные, как сторожевые суда, выхлопы заглушены до беззвучия, – лишённые хрома черные механизмы, что сияли, если ночь звездная, а в остальном облачались в камуфляж лица, которое вот-вот припомнишь, но отодвигаешь в небытие самым воспоминанием... Затем, с падением Парижа, на утес водрузили радиопередающую станцию, нацелили на Континент плотно охраняемыми антеннами, чьи наземные линии таинственно протянуты вниз, к дому, что день и ночь патрулируется собаками, которых особо избивали, морили голодом и обманывали, дабы выработать рефлекс вцепляться в горло любому, кто б ни приблизился. Это что, один из Высочайших взлетел еще выше – ну то есть поехал крышей? Что, Наши хотят деморализовать Германского Зверя, транслируя ему случайные мысли безумцев, нарекая – по традиции, заложенной констеблем Дуббзом в тот знаменательный день, – глубинное, еле зримое? Ответ – да, все вышеописанное, и не только.

Спросите в «Белом явлении» о генеральном плане би-би-сишного красная Мирона Ворчена, чей плавленный ирисочный голос годами заползал из потертой ржавой букли громко-

говорителя в английские сны, затуманенные старческие головы, в детей на грани внимания... Вынужден был откладывать свой план вновь и вновь – поначалу один только голос, – лишенный данных, которые так нужны, никакой поддержки, он пытался достучаться до германской души тем, что под руку подворачивалось: допросы пленных, руководства Мининдела, брата Гримм, собственные туристические воспоминания (юные бессонные вспышки эпохи Дауэса, южные склоны Рейнской долины обросли виноградниками, точно бородами, под солнцем очень зелеными, ночью длинные оборчатые подвязки в дыму и гарусе столичных кабаре – точно ряды гвоздик, шелковые чулки, и каждый высвечен единой, длинной и тонкой штриховкой света...). Но в конце концов появились американцы, и институция, известная под названием ВЕГСЭВ, и поразительные горы денег.

Комбинация называется «Операция „Черное крыло“». Бож-ты-мой, какая тщательная работа – пять лет угрохали. Никто не может целиком приписать ее себе – даже Ворчен. Контрольные директивы – идею «стратегии правды» – составил генерал Эйзенхауэр. Айк настаивал на чем-нибудь «реальном»: крюк в изрешеченной расстрельной стене войны, на который можно прицепить сюжет. Пират Апереткин из Д. О. О. прибыл с первыми достоверными сведениями: в германской программе создания секретного оружия взаправду неким образом участвуют настоящие африканцы – гереро, выходцы из колоний в Юго-Западной Африке. Вдохновленный Мирон Ворчен как-то ночью совершенно экспромтом выдал в эфир пассаж, который затем очутился в первой директиве «Черного крыла»:

– Когда-то Германия обращалась со своими африканцами, подобно суровому, но любящему отчиму, и карала их по необходимости – нередко смертью. Помните? Но то было далеко-далеко на Зюдвесте, и с тех пор сменилось поколение. Ныне гереро живет в доме отчима. Вы, слушатели, быть может, видели этого гереро. Ныне он не дремлет в комендантский час, наблюдает за отчимом, пока тот спит, – незримый, под защитой ночи цвета его кожи. О чем они все думают? Где сейчас гереро? Что *делают* они в эту минуту – ваши темные тайные дети?

«Черное крыло» даже отыскало американца, лейтенанта Ленигропа, который согласился подвергнуться легкому наркозу и поведать о расовых проблемах в своей стране. Бесценное дополнительное измерение. К концу ближе, когда потекло больше данных о боевом духе за границей – интервьюеры-янки с планшетами, в высоких ботинках или галошах, новеньких до скрипа, навешают снегом смягченные освобожденные руины, дабы выкопать трюфели трюизмов, возникшие, как полагали древние, в грозу, в миг удара молнии, – контакт в американском О. П. В.<sup>24</sup> умудрился контрабандой раздобыть копии и передать в «Белое явление». Ни одна душа толком не знает, кто сочинил название «Schwarzkommando»<sup>25</sup>. Мирон Ворчен склонялся к «Wütende Heer»<sup>26</sup> – ватаге духов, что дикой охотой мчится по небесным пустошам с Воданом во главе, – но согласился, что это скорее северный миф. В Баварии эффективность может не дотягивать до оптимальной.

Они все только и болтают об эффективности – американская ересь, а в «Белом явлении», пожалуй, чрезмерно. Громче всех обычно мистер Стрелман, и зачастую боеприпасами ему – статистика от Роджера Мехико. К высадке в Нормандии Стрелманов сезон отчаяния был в разгаре. Доктор понял наконец, что великие континентальные клещи все-таки принесут удачу. Что эта война, это Государство, коего гражданином он стал себя ощущать, будет разрушено и воссоздано миром – и что в профессиональном смысле он, по видимости, не получит с этого ни хера. Финансируются всякие радары, магические торпеды, самолеты и ракеты – а где же в мироустройстве место Стрелману? Всего только на минутку заграбастал руководство: свою Группу Абреакционных Вопросы (ГАВ), быстренько заловил себе десяток мелких

<sup>24</sup> Отдел психологической войны.

<sup>25</sup> «Черное подразделение» (нем.).

<sup>26</sup> «Дикое воинство» (нем.).

сошек, собачьего дрессировщика из варьете, студента-другого с ветеринарии и даже крупный куш – беженца д-ра Свиновича, который работал с самим Павловым в Колтушском институте еще до чисток. Всем скопом команда ГАВ принимает, исчисляет, взвешивает, классифицирует по Гиппократовым типам темперамента, сажает в клетки и тотчас подвергает экспериментам аж дюжину свежих собак еженедельно. А еще ведь есть коллеги, совладельцы Книги; все теперь – все, кто остался из первоначальных семи, – вкалывают в госпиталях, обрабатывают тех, кто измотан и контужен на поле боя по ту сторону Канала и пристукнут ракетой или бомбой по эту. В наше время тяжелых V-бомбардировок врачи видят столько абреакций, сколько врачам прежних времен не светило увидеть за несколько жизней; новые темы для исследований можно предлагать до бесконечности. Из Д. П. П. скаречно сочтется денежный ручеек, вниз по корпоративной пространственной решетке отчаянно шелестит бумага – хватает, чтобы продержаться, хватает, чтобы ГАВ пребывала колонией в войне метрополии, но до независимости не дотягивала... Статистики Мехико записывают для ГАВ капли слюны, вес тел, вольтажи, уровни громкости, частоты метронома, дозы бромида, количество перерезанных афферентных нервов, проценты удаленных мозговых тканей, даты и часы онемения, глухоты, слепоты, кастрации. Помощь поступает даже из Отдела Пси, колонии *dégagé*<sup>27</sup> и послушливой, начисто лишенной мирских устремлений.

Старый Бригадир Мудинг пристойно уживается с этой бандой медиумов – он и сам склоняется в ту сторону. Но вот Нед Стрелман – прохиндей, ему бы только денег раздобыть побольше, – Мудинг способен лишь взирать на него и стараться не грубить. Не так высок, как его отец, и, по физиономии судя, явно не так честен. Отец был офицером медслужбы в полку Гроума Тыкка, ляжкой словил шрапнели в Зоннебеке, семь часов лежишь молча, пока они, ни слова заранее не сказав, в этой грязи, в этой вони в... да, в Зоннебеке... или – а кто был тот рыжий мужик, он еще в каске спал? аххх, вернись. Ну вот, Зоннебеке... нет, ускользнуло. Рухнувшие деревья, мертвые, гладко-серые, древеснойтекстурыводоворотомкак-мерзлыйдым... рыжий... гром... без толку, без толку, блядь, нету его, и этого нету, и этого, ах ты ж господи...

Возраст старого Бригадира неясен, хотя наверняка под 80 – возвращен в строй в 1940-м, послан в новое пространство, не просто поля боя – где линия фронта ежедневно или ежечасно меняется, как петля, как золотом осиянные границы сознания (пожалуй – хотя негоже выражаться здесь так зловеще, – *в точности как они...* в общем, лучше уж «как петля») – но и самого Военного государства, структуры его. Мудинг недоумевает – порою вслух и в присутствии подчиненных, – каким врагам хватило неприязни назначить его в Политическую Пропаганду. Тут положено действовать в согласии – однако же то и дело в изумительном диссонансе – с прочими поименованными сферами Войны, колониями этого Мать-Города, нанесенными на карту повсюду, где занимаются систематической смертью: Д. П. П. перехлестывается с Министерством информации, «Европейской службой Би-би-си», Директоратом Особых Операций, Министерством Экономической Войны и Отделом Политической Разведки МИДа в Фицморис-хаусе. Среди прочего. Когда появились американцы, занадобилось соотноситься с их ОСС, УВИ<sup>28</sup> и Отделом Психологической Войны сухопутных войск. Теперь еще возникли объединенный Отдел Психологической Пропаганды (О. П. П.) ВЕГСЭВ, подчиняется напрямую Эйзенхауэру, а чтобы все это не развалилось, есть Лондонский координационный совет по пропаганде, у которого реальной власти – шиш.

Кто в силах нащупать дорогу в этом ветвистом лабиринте аббревиатур, стрелочек сплошных и пунктирных, квадратиков больших и малых, имен отпечатанных и заученных? Только не Честер Мудинг – это для Новых Ребят, что выставляют зелененькие усики, улавливая съедоб-

<sup>27</sup> Непринужденной, свободной (*фр.*).

<sup>28</sup> Отдел стратегических служб, Управление военной информации.

ные эманации власти, сведущи в американской политике (знают разницу между «новокурсантами» из УВИ и денежными республиканцами с Востока, стоящими за ОСС), в мозгу хранят досье о латентностях, слабостях, чайных привычках, эрогенных зонах всех, всех, кто однажды может пригодиться.

Воспитанием Честер Мудинг научен верить в буквальную Лестницу Инстанций, как священники прошлых веков верили в Лестницу Существ. Новейшие геометрии его смущают. Величайшее его торжество на поле боя имело место в 1917-м, в загазованном, армагеддоновом месиве Ипрского клина, где Бригадир на ничейной земле отвоевал излучину глубиной ярдов 40 максимум, потеряв всего 70 % личного состава подразделения. Где-то в начале Великой депрессии его услали на пенсию; он засел в кабинете пустого девонского дома в окружении фотоснимков старых товарищей – ни один не глядит прямо в глаза, – где с замечательно оживленным рвением решил подзаняться комбинаторным анализом, этим излюбленным времяпрепровождением отставных армейских офицеров.

Его посетила идея сосредоточиться на европейском балансе сил, из-за давней патологии каковых он когда-то страдал, без малейшей надежды очнуться, посреди фламандского кошмара. Он приступил к гигантскому труду, озаглавленному «То, что может произойти в европейской политике». Начинаем, разумеется, с Англии. «Во-первых, – писал Бригадир, – собственно, Берешит: Рэмси Макдоналд может умереть». К тому времени, когда он одолел партийные урегулирования и возможные перетасовки кабинетных постов, Рэмси Макдоналд умер.

– Никак не успеть, – бормотал Бригадир каждый день, приступая к работе, – все меняется, на ходу подметки рвут. Заковыристо – ох, заковыристо.

Когда все изменилось настолько, что на Англию посыпались германские бомбы, Бригадир Мудинг забросил свою манию и вновь предложил услуги стране. Знай он тогда, что это означает «Белое явление»... понимаете, не то чтоб он ожидал боевого назначения, но вроде заходила же речь о разведработе? А вместо этого огреб заброшенный госпиталь для чокнутых, пару-тройку символических психов, громадную стаю краденых собак, шайки медиумов, водевильных паяцев, радистов, куэистов, успенсковцев, скиннеровцев, поклонников лоботомии, фанатиков Дейла Карнеги, – война разразилась и вытряхнула всех из идефиксов и маний, обреченных – продлись еще мир – на провалы различной глубины; однако *ныне* их надежды устремляются к Бригадиру Мудингу и возможностям финансирования – Предвоенье, эта недо-развитая провинция, таких надежд не предоставляло. В ответ Мудингу остается лишь напускать на себя эдакую ветхозаветность со всеми, включая собак, и тайком недоумевать и болеть из-за, как он полагает, измены в высших эшелонах Командования.

Снегосвет просачивается в высокие окна с частым переплетом, день сумеречен, лишь тут и там в бурых кабинетах горит свет. Младший офицерский состав шифрует, подопытные с завязанными глазами выкликают догадки относительно карт Зенера в спрятанные микрофоны:

– Волнистые линии... Волнистые линии... Крест... Звезда...

А кто-нибудь из Отдела Пси записывает за ними под громкоговорителем в зябком цоколе. Секретарши в шерстяных шалах и резиновых галошах трясутся от зимнего холода, вдыхаемого сквозь мириады трещин в психушке, и клавиши пишмашинки стучат, как жемчужные зубки. Мод Чилкс, которая с тыла смахивает на Марго Эскуит на фото Сесила Битона, сидит, грезя о булочке с чашкой чаю.

В крыле ГАВ краденые псины спят, чешутся, вспоминают призрачные запахи людей, которые, возможно, их любили, слушают, не пуская слюны, Нед-Стрелмановы осцилляторы и метрономы. Закрытые жалюзи проницаемы лишь для мягких течений света с улицы. Лаборанты копошатся за толстым смотровым окном, но халаты их, за стеклом зеленоватые и подводные, трепещут медленнее, смутнее... Все погружается в оцепенелость или же войлочную тьму. Метроном на 80 в секунду раздражается деревянным эхом, и Собака Ваня, привязанный к смотровому столу, пускает слюни. Все прочие звуки сурово глушатся: балки, подпирающие лабо-

раторию, удушены в комнатах, заваленных песком, мешками с песком, соломой, мундирами мертвецов заполнены пустоты меж безглазых стен... где сидели обитатели местного бедлама, хмурились, вдыхали закись азота, хихикали, рыдали при переходе с ми-мажорного аккорда на соль-диез-минорный, – ныне кубические пустыни, песочные комнаты, и здесь, в лаборатории, за железными дверьми, герметично закрытый, царит метроном.

Проток подчелюстной железы Собаки Вани давным-давно выведен наружу сквозь надрез под подбородком и пришит, слюна течет в воронку, прилаженную, как подобает, оранжевой Павловской Замазкой из канифоли, оксида железа и воска. Вакуум вытягивает секрецию по блестящему трубопроводу, и та вытесняет столбик светло-красного масла, какой движется справа вдоль шкалы, размеченной «каплями» – условная единица, вероятно, не равная тем каплям, что взаправду падали в 1905-м в Санкт-Петербурге. Но число капель – для этой лаборатории, для Собаки Вани и для метронома на 80 – всякий раз предсказуемо.

Теперь, когда Собака Ваня перешел в «уровнительную», первую из переходных фаз, между ним и внешним миром натягивается еле заметная пленка. «Внутри» и «снаружи» пребывают неизменными, однако то, что находится на *рубеже*, – кора Собаки-Ваниного мозга – многообразно меняется, и вот это в переходных фазах поистине замечательно. Уже не важно, сколь громко тикает метроном. Усиление раздражителя более не вызывает усиления реакции. Течет или же падает то же число капель. Приходит человек, убирает метроном в дальний угол этой приглушенной комнаты. Метроном кладут в ящик, под подушку с машинно-вышитой надписью «Воспоминания о Брайтоне», однако слюнотечение не ослабевает... затем метроном тикает в микрофон с усилителем так, что каждый тик криком заполняет комнату, но слюнотечение не усиливается. Всякий раз прозрачная слюна проталкивает красный столбик лишь до той же отметки того же числа капель...

Уэбли Зильбернагель и Ролло Грошнот бильярдными шарами мотыляются по коридору, закатываются в чужие кабинеты, ищут, где бы разжиться курибельными бычками. Кабинеты сейчас в основном пусты: весь персонал, кому хватает терпения или же мазохизма, вместе с мямлей Бригадиром проходят некий ритуальчик.

– У стари-ка ни стыда ни-совести. – Геза Рожавельды, еще один беженец (и яростный антисоветчик, отчего ГАВ несколько напрягается), в веселом отчаянии поводит руками туда, где воздвигся Бригадир Мудинг, мелодичный венгерский шепот цыгана бубнами звякает по комнате, так или иначе взбадривая всех, кроме собственно престарелого Бригадира, который все болбочет с кафедры – когда-то, в маниакальные годы XVIII столетия, здесь была личная часовня, а сейчас пусковая платформа «Еженедельных Брифингов», изумительнейшего потока сенильных наблюдений, конторской паранойи, слухов о Войне, подразумевающих или же не подразумевающих нарушение секретности, воспоминаний о Фландрии... небесные ящики угля рушатся на тебя с ревом... так молочен и сияющ ураганный огонь в ночь его рождения... влажные плоскости в воронках на мили вокруг отражают одно тусклое осеннее небо... что в роскошестве своего остроумия изрек однажды в столовой Хейг про отказ лейтенанта Сассуна воевать... артиллеристы по весне в развевающихся зеленых одеждах... дорожные обочины, заваленные бедными гниющими лошадьми, как раз перед абрикосовым восходом... двенадцать спиц застрявшего артиллерийского орудия – грязевые часы, грязевой зодиак, обляпаный и запаршивевший, на солнце являет множество оттенков бурого. Грязь Фландрии собиралась творожными комьями, разжиженными желейными консистенциями человеческого говна, наваленные, покрытые настилами, взрезанные траншеями и пронзенные снарядами лиги говна, куда ни глянь, ни единого жалкого древесного обрубка – и тут старый трепач, маэстро болтовни пытается сотрясти кафедру вишневого дерева, словно то было худшее во всем кошмаре Пасхендале, это отсутствие вертикальных преимуществ... И он все болтает, болтает – сотня рецептов вкусного приготовления свеклы или бахчевые невероятности, вроде Тыквенного Сюрприза Честера Мудинга – да уж, есть некий садизм в рецептах с «Сюрпризом» в назва-

нии, голодный мужик хочет, знаете ли, просто *пожрать*, а не Сюрприз получить, хочет просто впиться зубами в (эх-х...) старую картофелину, в резонной уверенности, что внутри нет ничего, знаете ли, *кроме* картофелины, и уж точно не остроумный мускатно-ореховый «Сюрприз!» какой-нибудь, жидкое месиво, пурпурное, допустим, от *гранатов...* и однако же вот такие сомнительные шуточки Бригадир Мудинг и любит: как он *хихикает*, когда ничего не подозревающие гости за ужином взрезают знаменитую Бригадирову «Жабу-в-Норе», вскрывают честное йоркширское тесто и – *фу-у!* это еще что? свекольная *тефтеля?* *фаршированная* свекольная *тефтеля?* а может, сегодня воняющее морем вкуснейшее пюре из ритмума (который он покупает раз в неделю у одного жирного сынка рыборотговца, что, пыхтя, закатывает на меловой утес свой велосипед) – ни одна из этих рехнутых, трехнутых овощных тефтелей не напоминает обычную «Жабу», скорее – испорченных полуобморочных созданий, с которыми у Юнцов с Кингз-роуд случаются Делишки в лимериках – у Мудинга *тысяча* таких рецептов, и он бесстыже делится ими с ребятами в ПИСКУС, а равно – по мере развития еженедельного монолога – парой строк, восьмью тактами из «Не лучше ль быть тебе полковником с орлицей на плече, чем трубить в пехоте с цыпой на колене?», а потом, наверное, пространная опись всех его трудностей с финансированием – всех, начиная задолго до появления даже конторы в «Электра-хаусе»... эпистолярные баталии, которые он вел на страницах «Таймс» с критиками Хейга...

И все они *сидят* пред высоченными зачерненными окнами, что перечеркнуты свинцовыми горбыльками, потекают бригадирскому капризу, собачий народ кучкуется в углу, перебрасывается записками и склоняется друг к другу пошептаться (у них заговор, заговор, нет конца этому ни во сне, ни наяву), ребята из Отдела Пси слиняли к стене напротив – как будто у нас тут парламент какой... годами всякий занимает свою особую церковную скамью, под углом к бредягине розовеющего и идущего печеночными пятнами Бригадира Мудинга – а прочие фракции-в-изгнании распределяются меж этими двумя крылами: баланс сил, если некие силы в «Белом явлении» имеются.

Д-р Рожавельдьи полагает, что это было бы вполне возможно, если б ребята «правильно разыгрывали свои карты». Сейчас одна задача – выживание, сквозь чудовищный рубеж Дня победы в Европе, сквозь новехонькое Послевоенье, с нетронутыми чувствами и воспоминаниями. Нельзя допустить, чтобы ПИСКУС рухнул под ударом молота вместе с остальным бляющим стадом. Должен явиться – и чертовски быстро – способный сбить их в фалангу, в централизованный источник света, некий лидер или программа, чьей мощи хватит, чтобы все они перетерпели неизвестно сколько лет Послевоенья. Д-р Рожавельдьи более склоняется к могучей программе, нежели могучему лидеру. Видимо, потому, что на дворе 1945-й. В те дни верили повсеместно, будто Война – смерть, варварство, истребление – основана на принципе Фюрера. Но если заменить персоналии абстракциями власти, если возможно пустить в ход методики, разработанные корпорациями, быть может, народы станут жить рационально? Такова одна из заветнейших надежд Послевоенья: харизме, этому кошмарному недугу, места быть не должно... ее следует рационализировать, пока есть время и ресурсы...

Не такова ли на самом деле ставка д-ра Рожавельдьи в последней его афере, что образовалась вокруг Казуса лейтенанта Ленигропа? Все психологические тесты в досье подопытного, вплоть до его учебы в колледже, обнаруживают недужную личность. «Рожан» эффекта ради припечатывает папку ладонью. Рабочий стол содрогается.

– Например: его Миннесот-ское, многопро-фильное исследование личности поразительно *однобоко*, всегда в *пользу*, психо-патического, и, нездорового.

Однако преподобный д-р Флёр де ла Ньюи – не любитель ММИЛ.

– Рожочка, разве бывают шкалы для измерения межличностных особенностей? – Ястребиный нос зондирует, зондирует, глаза опущены в расчетливой кротости. – *Человеческих цен-*

ностей? Доверия, честности, любви? Не существует ли часом – простите, что я все о своем, – религиозной шкалы?

Да ни в жизнь, падре: ММИЛ разработали году в 1943-м. В самом сердце Войны. «Изучение ценностей» Олпорта и Вернона, Опросник Бернрейтера, в 35-м пересмотренный Флэнаганом, – предвоенные тесты – Флёру де ла Нью кажутся человечнее. ММИЛ, по всей видимости, проверяет одно: выйдет из человека хороший солдат или плохой.

– Солдаты нынче в цене, преподобный доктор, – бормочет мистер Стрелман.

– Я просто надеюсь, что мы не станем чересчур напирать на его баллы по ММИЛ. Мне этот тест представляется слишком узким. Он не учитывает обширные сферы человеческой личности.

– Вот и-менно поэ-тому, – вмешивается Рожавельдьи, – мы предлагаем, теперь, подвергнуть Ле-нитропа сов-сем ино-му, тестированию. Мы сейчас разраба-тываем для него, так называ-емый, «проективный» тест. Самый извест-ный пример – чернильные *пят*-на Роршаха. Суть тео-рии, в том, что в присутствии неструктури-рованного раздражителя, некоего бесформенного *сгуст*-ка пережива-ний, подопытный, постарается наложить, *на* него структу-ру. То, как, он *ста*-нет структури-ровать этот сгусток, отразит его *нуж*-ды, его надежды – *предо*-ста-вит, нам наме-ки, на его грезы, *фанта*-зии, глубочайшие *об*-ласти его сознания. – Брови летают как заведенные, жестикуляция замечательно текуча и красива, напоминает – вероятнее всего, нарочно, и кто упрекнет Рожанчика за то, что тщится воспользоваться, – жестикуляцию его прославленного соотечественника, хотя неизбежно возникают пагубные побочные эффекты: сотрудники, которые клянутся, будто видели, как он головой вперед полз вниз по северному фасаду «Белого явления», например. – Таким *об*-разом, мы, вполне *единодуш*-ны, преподобный доктор. Тест, подобный ММИЛ, в этом отношении, неадекватен. Это, структури-рованный раздражитель. Подопытный может *созна*-тельно, лгать, или *бес*-сознательно, подавлять. Но с проектив-ной *мето*-дикой, что бы он ни делал, *созна*-тельно или наоборот, нам ничто не *помеша*-ет, вы-яснить то, что мы хотим, знать. Контролируем, мы. Он, ничего не может, поделать.

– Должен сказать, это не ваша область, Стрелман, – улыбается д-р Аарон Шелкстер. – Ваши-то раздражители обычно структурированы, нет?

– Будем считать, я питаю некое постыдное любопытство.

– Нет уж, не будем. Только не говорите, будто не замараете в этом ваши чистые павловские руки.

– Ну нет, Шелкстер, не совсем так. Раз уж вы об этом помянули. Еще мы задумали очень структурированный раздражитель. Тот же, собственно, который нас и заинтересовал. Мы хотим подвергнуть Ленигропа действию германской ракеты...

На лепном гипсовом потолке над головами кишит методистское видение Царства Христа: львы обжимаются с ягнятами, фрукты буйно и безостановочно сыплются в руки и под ноги джентльменов и леди, селян и молочниц. Лица у всех какие-то не такие. Крошечные создания злобно скалятся, лютые звери словно обдолбаны или засыпают, а люди вообще не смотрят в глаза. И в «Белом явлении» много чудного и помимо потолков. Классический «каприз» в лучшем виде. Кладовая спроектирована как арабский гарем в миниатюре – ныне о причинах можно лишь гадать: там полно шелков, глазков и резных загогулин. Одна библиотека некоторое время служила хлевом, пол опущен на три фута и до порога завален грязью, в которой гигантские глостерширские пятнистые резвились, хрюкали и прохлаждались лета напролет, разглядывали полки с клеенчатыми томами и раздумывали, вкусно ли будет их сожрать. В этом здании виговская эксцентричность достигает весьма нездоровых высот. Комнаты треугольны, сферичны, замурованы в лабиринты. Откуда ни взгляни, таращатся или ухмыляются портреты – этюды генетических диковин. На фресках в ватерклозетах Клайв и его слоны сминают французов при Пласси, фонтанчики изображают Саломею с главой Иоанна (вода хлещет

из ушей, носа и рта), на полу мозаичные образы различных версий *Homo Monstrosus*<sup>29</sup>, любопытное увлечение тех времен – со всех сторон друг за другом циклопы, гуманоидный жираф, кентавр. Повсюду своды, гроты, гипсовые цветочные композиции, стены завешены потертым бархатом или парчой. Балконы выпирают в невероятных местах и над ними нависают горгульи, чьи клыки изрядно расцарапали головы множеству новоприбывших. Даже в сильнейшие ливни эти монстры способны лишь пускать слюну – водостоки, что их кормят, много столетий назад вышли из строя, ошалело ползут по черепице, мимо свесов, мимо треснувших пилястров, зависших купидонов, терракотовой облицовки на каждом этаже и бельведеров, рустованных стыков, псевдоитальянских колонн, маячащих минаретов, кривых скособоченных дымоходов – любая пара наблюдателей, как бы близко друг к другу ни стояли, издалека не узрят одной и той же конструкции в сем разгуле самовыражения, к коему до самой реквизиции в эту Войну всякий следующий владелец прибавлял свое. Поначалу подъездную дорогу обрамляют фигурные древесные куафюры, затем они уступают место лиственницам и вязам: утки, бутылки, улитки, ангелы и жокеи стипль-чеза редуют, чем дальше катишь щебенкой, растворяются в увядшем безмолвии, в тенях тоннеля вздыхающих деревьев. Часовой, темная фигура в белом тканье, торчит в лучах твоих замаскированных фар в строевой стойке, и перед ним надлежит затормозить. Собаки, управляемые и смертоносные, взирают на тебя из леса. А ныне подступает вечер, уж падают редкие горькие хлопья снега.

\* \* \*

Веди себя прилично, а то вернем д-ру Ябопу!

Когда Ябоп вырабатывал условный рефлекс у этого, он сломал раздражитель.

Я вижу, д-р Ябоп заходил сегодня глянуть на твою штучку, а?

«50 000 дразнилок Нила Нособура»§ 6,72, «Отвратительный Отпрыск»«Нэйленд Смит Пресс» Кембридж, Массачусетс, 1933

Мудинг: Но это же...

Стрелман: Сэр?

Мудинг: Это же довольно подло, Стрелман? Вот так лезть в чужие мозги?

Стрелман: Бригадир, мы всего лишь продолжаем долгую традицию экспериментов и опросов. Гарвардский университет, армия США? Едва ли подлые институции.

Мудинг: Мы не можем, Стрелман, это зверство.

Стрелман: Но американцы его уже *обработали!* вы что, не понимаете? Мы же не девственника развращаем...

Мудинг: Мы что, обязаны, если так делают американцы? Нам надо, чтоб они развратили нас?

Еще году в 1920-м д-р Ласло Ябоп заключил, что если Уотсон и Рейнер благополучно выработали у своего «Младенца Альберта» условный рефлекс ужаса перед чем угодно пушистым, даже перед собственной матерью в меховом боа, то он, Ябоп, уж наверняка в силах сделать то же со своим Младенцем Энией и младенческим сексуальным рефлексом. Ябоп был тогда в Гарварде – пригласили из Дармштадта. Это случилось на заре его карьеры, до плавного уклона в органическую химию (судьбоносная перемена сферы деятельности, как и – столетием раньше – прославленный переход самого Кекуле к химии от архитектуры). Для эксперимента у Ябопа имелся крошечный грант Национального научно-исследовательского совета (в рамках текущей программы психологических исследований ННИС, открывшейся в Мировую войну,

<sup>29</sup> Человек безобразный (лат.).

когда потребны были методы отбора офицеров и классификации призывников). Может, из-за скудости финансирования доктор и положил себе целевым рефлексом младенческий стояк. Измерять секрецию, чем занимался Павлов, – значит, резать. Измерять «страх», рефлекс, который избрал Уотсон, – значит, перебор субъективности (что есть страх? Что такое «сильный»? Кто решает, когда ты на-месте-в-поле и вальяжно сверяться с Таблицей Страха просто нет времени?). В те дни ведь не было аппаратуры. Ябопу оставался разве что трехпараметровый «детектор лжи» Ларсона-Килера, но детектор тогда был еще экспериментальной моделью.

А вот стояк... стояк либо есть, либо нет. Бинарно, элегантно. Наблюдение может вести даже *студент*.

Безусловный раздражитель = поглаживание пениса стерильным ватным тампоном.

Безусловный рефлекс = стояк.

Условный раздражитель = *x*.

Условный рефлекс = стояк при наличии *x*, поглаживание более не требуется, нужен только этот *x*.

Э... *x*? это какой *x*? Ну как же – знаменитый «Таинственный Раздражитель», что завораживал поколения студентов с курса поведенческой психологии, – вот какой *x*. Среднестатистический университетский сатирический журнал ежегодно публикует 1,05 дюйма текста по этому вопросу – что, по иронии судьбы, равно как раз средней длине эрекции Младенца Э., зафиксированной Ябопом.

Короче, по традиции в таких делах, у мелкого сосунка рефлекс бы уничтожили. Ябоп, в терминологии Павлова, «угасил» бы выработанный эректильный рефлекс, а уж потом отпустил бы младенца на все четыре стороны. Вероятнее всего, Ябоп так и поступил. Но, как выражался сам Иван Петрович, «интенсивность угашения определяется не *только* степенью уменьшения условного рефлекса, на которой мы остановились, не только окончательным нулем эффекта, она может нарастать и дальше; мы имеем, так сказать, дальнейшее *невидимое угашение*. Повторяя сделавшийся недействительным при угашении условный раздражитель, мы углубляем, усиливаем угашение... Недействительный условный раздражитель, повторенный изолированно несколько раз, оказал влияние на следующие за ним раздражители. Таким образом при опытах с угашением необходимо обращать внимание на глубину угасания. Как она определяется *за нулем*, будет показано в связи со следующим пунктом, к которому мы теперь переходим». Курсив мистера Стрелмана.

Может ли у человека условный рефлекс выживать в спячке 20 или 30 лет? Угасил ли его д-р Ябоп лишь до нуля – дождался ли, когда стояк у младенца при наличии раздражителя *x* стал равняться нулю, – а затем бросил? Забыл ли «невидимое угашение за нулем» – или им пренебрег? Если пренебрег – почему? Национальный научно-исследовательский совет имел что сказать?

Под занавес 1944-го, когда «Белое явление» открыло Ленигропа – правда, многие давно знали его как прославленного Младенца Энию, – вышло как с Новым Светом: разные люди сочли, что открыли разное.

Роджер Мехико считает, что это статистическое уродство. Однако теперь чувствует, как сотрясаются основы этой дисциплины – глубже, чем уродству надлежит сотрясать. Урод, урод, урод – вдумайтесь, что за слово: какая белая окончательность в финальном щелчке языка. Намекает на уход мимо полной смычки языка с зубами – за нуль – в иное царство. Само собой, насквозь не пройдешь. Но умом понимаешь, что вот так тебе идти *надлежит*.

Ролло Грошнот полагает, что дело в предзнании.

– Ленигроп умеет предсказать, когда ракета упадет в заданной точке. До сего дня он выживал, а это доказывает, что он действует, руководствуясь заблаговременной информацией, и обходит стороной район, когда там предполагается падение. – Д-р Грошнот толком не знает, при чем тут секс – может, и ни при чем.

Но Эдвин Паток, самый наифрейдист из психических исследователей, убежден, что дар Ленигропа – в психокинезе. Ленигроп силой своего сознания *вызывает* падение ракет там, где они падают. Может, он их и не гоняет по небу физически; может, он шурует в ракетной системе наведения, электрические сигналы путает. Что бы Ленигроп ни творил, в теории д-ра Патока секс *при чем*.

– Он подсознательно хочет стереть все следы сексуального Другого, которого на своей карте символически обозначает – и это очень существенно – *звездой*, этим анально-садистическим образом школьного успеха, какой пропитывает начальное образование в Америке...

Карта – вот что их пугает, карта, на которой Ленигроп ведет счет своим девчонкам. Звездочки складываются в Пуассоново распределение, как ракетные удары на Роджеровой карте Беспилотного Блица.

Но тут – ну... тут не просто распределение. Так вышло, что схемы идентичны. Совпадают до квадрата. Слайды, которые Тедди Бомбаж нащелкал с карты Ленигропа, спроецированы на карту Роджера, и оказалось, что два изображения, девичьи звездочки и круги ракетных ударов, друг на друга наложились.

Большинство звездочек Ленигроп датировал – уже легче. Звезда всегда возникает *до* соответствующей ракеты. Та появляется спустя каких-то два дня или аж через десять. В среднем задержка – около 4½ дней.

Допустим, рассуждает Стрелман, что Ябопов раздражитель *x* – какой-то громкий шум, как у Уотсона-Рейнер. Допустим, в случае Ленигропа эректильный рефлекс не вполне угашен. Значит, у него должен вставать при каждом громком шуме, которому предшествует та же зловещая подготовка, с какой Ленигроп столкнулся в лаборатории Ябопа – с какой по сей день сталкиваются псы в лаборатории самого Стрелмана. Это указывает на V-1: любая «жужелица» в окрестностях, от которой Ленигроп вздрагивает, должна вызывать у него стояк – двигатель грегочет все громче, затем отсечка и тишина, растет напряжение – и затем взрыв. Тресь – стояк. Так ведь нет же. У Ленигропа эрекция, лишь когда эта последовательность проигрывается *наоборот*. Сначала взрыв, затем приближается звук: V-2.

И все-таки раздражителем *должна* быть ракета, некое бесплотное предвестье, для Ленигропа присутствует некий двойник ракеты – процентная доля улыбок в автобусе, какое-нибудь таинственное влияние на менструальные циклы – ну с *чего* эти девки дают ему за так? Флуктуации на сексуальном рынке, в порнографии или среди проституток – может, с привязкой к ценам прямо на Фондовой бирже, – о которых мы, чистюли, и ведать не ведаем? Может, новости с фронта разжигают зуд меж их прелестных ляжек, может, желание растет прямо или обратно пропорционально реальному шансу внезапной гибели – ч-черт, где же подсказка – ведь прямо перед носом, – чего по заглубелости сердец не видим мы?

Но если оно витает в воздухе, вот прямо здесь, прямо сейчас, значит, ракеты следуют из него 100 % времени. Без исключений. Найдя, вновь докажем твердокаменную детерминированность всего, всякой души. Любой надежде пространства останется – кот заплакал. Сами понимаете, как важно такое открытие.

Они шагают мимо заснеженных собачьих загонов, Стрелман – в «гластонбери» и двубортной шинели оленьего цвета, шарф Мехико, недавно связанный Джессикой, трепещет, тянется к суше алым драконьим языком – таких холодов еще не бывало, 39 ниже нуля. К обрывам, лица стынют, на пустынный пляж. Набегают волны, ускользают, оставляя большие полумесяцы льда, тонкого, будто кожа, и ослепительного под вялым солнцем. Две пары мужских ботинок хрустят им, проламываясь к песку или гальке. Самый надир года. Сегодня слышны орудия из Фландрии – приносит ветер с того берега Канала. Руина Аббатства замерла над обрывом, серая и хрустальная.

Ночью в доме на окраине городка, куда ни-ни, Джессика, лапаясь, уплывая, когда они уже совсем засыпали, шепнула:

– Роджер... а как же девушки?

Больше ничего не сказала. Но Роджер пробудился. И, хоть устал как собака, еще час валялся, не смыкая глаз, раздумывая о девушках.

Теперь же, понимая, что надо выбросить из головы:

– Стрелман, а если Эдвин Паток прав? Что это психокинез. А вдруг Ленитроп – даже не сознавая – *заставляет* их падать, куда они падают.

– Ну. Значит, вашим кой-чего обломится, да.

– Но... *зачем* ему. Если они падают везде, где он...

– Может, он женоненавистник.

– Я серьезно.

– Мехико. Вы что, и впрямь дергаетесь?

– Не знаю. Я, пожалуй, все думал, не увяжется ли как-нибудь с этой вашей ультрапарадоксальной фазой. Пожалуй... мне охота знать, что вы на самом деле ищете.

Над ними пульсирует стая «В-17», чей пункт назначения неочевиден сегодня, далеко за пределами обычных воздушных коридоров. Позади этих «Крепостей» синее испод хладных облаков, и гладкие их валы прочерчены синими прожилками – а кое-где тронуты посеребрившим розовым или же фиолетовым... Крылья и стабилизаторы понизу отчеркнуты темно-серыми тенями. Тени мягко оперены, светлее вдоль изгибов фюзеляжа или гондолы. Коки винтов возникают из-под капюшона темноты в обтекателях, раскручивают пропеллеры до невидимости, свет небесный все уязвимые плоскости схватывает одинаковым тускло-серым. Самолеты величаво гудят себе дальше, в вышине нулевого неба, на лету сбрасывают наледь, покрывают небо позади белой ледяной бороздой, цвет их гармонирует с некими оттенками облака, крошечные иллюминаторы и отверстия в мягкой черноте, перспективный нос отсвечивает облаку и солнцу, навеки покоробленным и текучим. Внутри же – черный обсидиан.

Стрелман все говорил о паранойе и о «понятии противоположения». Царапал в Книге восклицательные знаки и *как-верны* сплошь по полям открытого письма Павлова Жанэ касательно *sentiments d'emprise*<sup>30</sup> и Главы LV, «Пробы физиологического понимания навязчивого невроза и паранойи»: не сдержал этого мелкого хамства, хоть семь владельцев и условились пометок в Книге не делать – она чересчур драгоценна, каждому пришлось выложить за нее по гинее. Ее продали ему украдкой, во тьме, во время рейда люфтваффе (существующие копии были по большей части уничтожены на складе в начале Битвы за Британию). Стрелман так и не увидел даже физиономии продавца – тот испарился в сиплой слышимой заре отбоя тревоги, оставив врача с Книгой, бессловесная пачка бумаги уже разогрелась, увлажнилась в стиснутой ладони... да, вполне мог быть раритет эротического толка, этот грубый шрифт, как будто вручную набирали, отчетливо смахивал... корявость фразировки, словно чудной перевод д-ра Хорсли Гантта записан шифром, а в расшифровке перечислены стыдные восторги, преступные порывы... И до какой степени в каждой псине, что навещает его смотровые столы, Нед Стрелман видит прелестную жертву, что тщится сбросить оковы... и ведь скальпель и зонд равно декоративны, дополнения равно изысканные, как трость и хлыст, правда?

Конечно, том, что предшествовал Книге, – первая Сорок одна Лекция – настиг его в 28, словно повеленья Венеры из грота, против каких не погрешь: бросить Харли-стрит, отправиться в путешествие, уводящее все дальше, дивно вперед, в лабиринт работы над условными рефлексамми, где лишь теперь, после тринадцати лет с мотком нити, он начинает возвращаться, натывается на старые улики – он этой тропой уже ходил, – тут и там встречает последствия своего молодого, совершенного приятия... Но ведь она предупреждала – ведь так? а он хоть раз прислушался? – что со временем заплатить придется сполна. Венера и Ариадна! Казалось, она стоит любой платы, лабиринт в те дни казался слишком замысловатым для *них* – сумеречных

<sup>30</sup> Зд.: чувства овладения (фр.).

сутенеров, что всё устроили между версией его самого, крипто-Стрелманом, и его судьбою... слишком разнообразен лабиринт, думал он тогда, его, Стрелмана, здесь ни за что не найти. Теперь-то он понял. Зайдя чересчур далеко, предпочитая пока не смотреть в лицо правде, он понял: они попросту ждут, каменные и уверенные, эти агенты Синдиката, которым она, должно быть, тоже заплатила, в центральной камере ждут его приближения... Они владеют всем: Ариадной, Минотавром, даже, страшится Стрелман, им самим. Ныне они ему видятся мельком – нагие, атлеты, замерли, дышат в камере, ужасные пенисы восстали, минеральные, как их глаза, что блистают изморозью или чешуйками слюды, но не страстью – или же не к нему. Просто у них такая работа...

– Пьер Жанэ – этот человек иногда изъяснялся, как восточный мистик. На самом деле, противоположения он не постигал. «Акты *оскорблять* и *быть оскорбляемым* объединены в общей процедуре оскорбления». Обсуждающий и обсуждаемый, хозяин и раб, девственница и соблазнитель – всякая пара весьма удобно соединена и неразделима... Эта инь-янская ерунда – последнее прибежище неисправимых лентяев, Мехико. Избегаешь всяческой малоприятной работы в лаборатории, но что ты при этом *сказал*?

– Мне бы не хотелось углубляться с вами в религиозные споры, – от недосыпа Мехико сегодня раздраженнее обычного, – но я вот думаю – может, вы все чуток... как бы слишком напираете на достоинства анализа. Ну то есть – когда всё разберете на детальки – отлично, я первый зааплодирую вашему ремеслу. Но помимо кучи обломков и обрывков, что сказали *вы*?

Стрелману такой спор тоже душу не греет. Однако он пронзительно взирает на этого молодого анархиста в красном шарфе.

– Павлов считал, что идеал, финал, ради которого мы бьемся в науке, – истинное механическое объяснение. Он был реалист и не ожидал увидеть такое при жизни. Или при еще нескольких жизнях. Но надеялся на долгую цепь приближений, все лучше и лучше. В конечном счете он верил в чисто физиологическую основу жизни духа. Без причины не бывает следствия, ясная последовательность связей.

– Это, конечно, не мой конек, – Мехико правда хочет не обидеть, но честное слово, – однако есть такая мысль, что эти причина-следствие не бесконечно растяжимы. Что если наука вообще хочет двигаться дальше, ей следует искать не такой узкий, не такой... стерильный набор допущений. Может, следующий великий прорыв случится, когда нам хватит смелости вообще выкинуть причину-следствие и пальнуть под каким-нибудь другим углом.

– Нет – не «пальнуть». Регресс. Вам же 30 лет, ну. Нет никаких «других углов». Можно только вперед, раз ввязался, – *внутрь* – или назад.

Мехико наблюдает, как ветер дергает Стрелмана за полы шинели. Чайка с воплем рушится боком вдоль замерзшей бермы. Меловой обрыв над головою встал на дыбы, холодный и невозмутимый, будто смерть. Давние европейские варвары, рискнувшие приблизиться к этому берегу, сквозь туман узрели сии белые заставы и постигли, куда забрали их мертвецов.

Вот Стрелман повернулся и... о господи. Он улыбается. В притворном этом братстве сквозит нечто столь древнее, что – не теперь, но несколько месяцев спустя, когда расцветет весна и Война в Европе завершится, – Роджер вспомнит эту улыбку – она станет преследовать его – как злобнейшую гримасу, какую только видел на человеческом лице.

Прогулка застопорилась. Роджер смотрит на Стрелмана. Антимехико. Воплощенные «понятия противоположения», но на какой коре, на каком зимнем полушарии? Что за разрушительная мозаика, оборотившаяся наружу, к Бесплодной Пустоши... прочь от городского покрова... вмятая лишь тем, кто путешествует вовне... глаза вдаль... варвары... ездоки...

– У нас обоих есть Ленитроп, – вот что произнес сейчас Стрелман.

– Стрелман – чего вы хотите? Ну – помимо славы.

– Не больше, чем Павлов. Физиологической основы для очень странного, казалось бы, поведения. Мне все равно, в какую из ваших ПОИшных<sup>31</sup> категорий оно попадет, – странно, что ни один из вас не вспомнил о телепатии: может, Ленитроп на кого-нибудь там настроен – на того, кто заранее знает расписание германских пусков. А? И мне плевать, что это – может, какая-то зверская фрейдистская месть матери за то, что пыталась его кастрировать, я не знаю. У меня нет претензий, Мехико. Я непритязателен, методичен...

– Скромн.

– Я себе назначил границы. У меня есть только реверсирование шума ракеты... клиническая история выработки сексуальных рефлексов – *возможно*, на слуховой раздражитель, и, *судя по всему*, реверсирование причинно-следственной связи. Я менее вашего готов выкинуть причину и следствие вообще, но если их надо видоизменять – что ж, пусть.

– Но чего вы *добиваетесь*?

– Вы же видели его ММИЛ. Его шкалу F? Фальсификации, искаженные мыслительные процессы... Из оценок ясно как божий день: у него психопатические отклонения, мании, латентная паранойя... так вот Павлов считал, что мании и параноидальный бред – продукт неких... считайте, клеток, нейронов в мозаике мозга, которые до того возбуждены, что через взаимную индукцию подавляют весь участок коры вокруг. Один ярко горящий пункт, окруженный темнотой. Темнотой, которую пункт этот некоторым образом и создал. И он отрезан, этот яркий пункт, – может, до конца жизни пациента, – от всех прочих идей, ощущений, самокритики, которые умеряют, нормализуют пламя. Павлов это называл «пункт патологической инертности». Мы вот сейчас работаем с псом... он прошел «уравнительную» фазу, когда любой раздражитель, сильный или слабый, вызывает в точности одно и то же количество капель слюны... затем перешли на «парадоксальную» – сильные раздражители вызывают слабые отклики и наоборот. Вчера вывели его на ультрапарадоксальную. За пределы. Теперь, когда включаем метроном, который прежде обозначал еду – и прежде у Собаки Вани вызывал фонтаны слюны, – собака отворачивается. А когда выключаем метроном – ну, вот *тогда* Собака Ваня к нему поворачивается, нюхает, пытается лизать, кусать – в тишине ищет раздражитель, которого нет. Павлов считал, что все душевные заболевания в конце концов объясняются ультрапарадоксальной фазой, патологически инертными пунктами коры, путаницей понятий противоположения. Уже совсем было собравшись перейти к экспериментам, он умер. Но я-то живу. У меня есть финансирование, и время, и воля. Ленитроп – уравновешенный и сильный. Его непросто будет перевести в любую из трех фаз. Может, в итоге нам придется морить его голодом, запугивать, не знаю... не обязательно до этого доводить. Но я найду его пункты инертности, я выясню, каковы они, даже если мне, черт возьми, придется вскрыть ему череп, и пойму, как они изолированы, и, может быть, решу эту загадку – почему так падают ракеты, – хотя, признаюсь, это лишь взятка, чтобы уговорить вас мне помочь.

– Зачем? – Чутка не по себе, а, Мехико? – Зачем вам нужен я?

– Не знаю. Однако нужны.

– Это *вы* маньяк.

– Мехико. – Стоит очень неподвижно, пол-лица, повернутые к морю, словно вмиг постарели на полвека, смотрит, как прибор целых три раза оставляет за собою стерильную пленку льда. – Помогите мне.

Да никому я не могу помочь, думает Роджер. И откуда такой соблазн? Это опасно, это извращение. Он и впрямь хочет помочь, он, как и Джессика, сверхъестественно боится Ленитропа. *А как же девушки?* Может, это все одиночество его в Отделе Пси, в убеждении, которое сердцем своим он не может ни разделить, ни забросить... их вера, даже неулыбчивого Мракинга, в то, что возможно большее, за чувствами, за смертью, за Вероятностями, в которые

---

<sup>31</sup> От ОПИ – Общество психических исследований.

Роджер только и вынужден верить... *Ой, Джесси*, – его лицо тычется в ее голую, замысловато костяную и сухожильную спину, – *я тут совсем заплутал*...

На полпути меж водой и жестким солеросом звенит на ветру долгая полоса трубопровода и колючей проволоки. Черная сетка держится на длинных косых скобах, в море торчат копыя. Картина заброшенная и математическая: ободрано до силовых векторов, что удерживают конструкцию на месте, кое-где удвоено, один ряд за другим, движется вспять – это Стрелман и Мехико опять идут – толстым муаром, на фоне повторяющихся диагоналей повторяется вертикально параллаксом, а ниже путаница проволоки скрещивается случайнее. Вдалеке, где конструкция сворачивает в дымку, ажурная стена сереет. После ночного снегопада всякий штрих черных каракулей был вытравлен белым. Но сегодня ветер и песок вновь оголили темное железо – просолили, тут и там обнажив краткие мазки ржавчины... а местами лед и солнце обращают конструкцию в добела напряженные потоки энергии.

Еще дальше, выше, на полпути к обрыву, за похороненными фугасами и противотанковыми надолбами из разъедаемого бетона, в ДОСе<sup>32</sup>, крытом стальной сеткой и дерном, после сложной лоботомии расслабляются д-р Блэх и его медсестра Айви. Его оттертые упорядоченные пальцы ныряют под ее подвязки, оттягивают вбок, отпускают с внезапным громким чпоком и хо-хо-хо Блэха, Айви же подпрыгивает и тоже смеется, выворачиваясь не слишком настойчиво. Они лежат на постели из старых выцветших навигационных карт, руководств по эксплуатации, лопнувших мешков с песком и рассыпанного песка, жженных спичек и растрепанных пробковых фильтров давно разложившихся сигарет, что утешали ночами 41-го, когда при малейшем отсвете в море вдруг екало сердце.

– Ты псих, – шепчет она.

– Я распутник, – улыбается он и снова щелкает ее подвязкой – мальчик с рогаткой.

В нагорьях линия цилиндрических блоков, которым надлежало переломать траки безмолвным «королевским тиграм», что никогда не взроют эту землю, цепью пшеничных кексов тянется вдаль по мышастым пастбищам, среди плоских снежных заплат и бледных обнажений извести. На прудике чернокожий – прибыл из Лондона, катается на коньках, невероятный, как зуав, скользит на лезвиях, высокий и горделивый, словно рожден для них и льда, не для пустыни. Городские детишки бросаются перед ним врассыпную, и все равно слишком близко – всякий раз, когда он разворачивается, щеки их обжигает изогнутый кильватер ледяной крошки. Пока не улыбнется, они не посмеют заговорить, станут лишь ходить хвостом, следить, кокетничать, желая улыбки, страшаясь ее, желая... Лицо у него волшебное – они знают такое лицо. На берегу Мирон Ворчен и Эдвин Паток курят одну за другой, размышляют об Операции «Черное крыло» и репутации «Шварцкоммандо», наблюдают за волшебным своим негром, своим прототипом, оба не хотят рисковать и на лед не ступают – скакать или еще как выделяться на коньках перед этими детьми.

Зима застыла; небо – сплошь тусклый светящийся гель. Внизу на пляже Стрелман выуживает из кармана рулон туалетной бумаги – каждый листик размечен по трафарету «Собственность Правительства Е. В.», – дабы высморкаться. Роджер то и дело запикивает волосы под шапку. Оба молчат. Итак, вот они двое: бредут, руки в карманах, руки из карманов, силуэты тончают, желто-коричневый и серый, и еще мазок алого, очень резкие контуры, их следы позади – долгий морозный путь обессиленных звезд, тучи отражаются от глазурированного пляжа почти белым... Мы потеряли их из виду. Никто не слышал этих первых бесед – даже праздного снимка не сохранилось. Они шли, пока их не сокрыла эта зима, и казалось, сам жестокий Канал вот-вот перемерзнет, и никто, ни один из нас, больше не найдет их вполне. Следы наполнились льдом, а чуть позже их слизнуло море.

<sup>32</sup> Долговременное огневое сооружение.

\* \* \*

В тишине, втайне от нее камера следит, как она движется подчеркнуто никуда по комнатам, длинноногая, плечи юношески широки и ссутулены, волосы вовсе не резко голландские, а модно забраны вверх под старую корону тусклого серебра, вчерашняя свежая завивка заморозила эти ее очень светлые волосы на макушке сотнями вихрей, сияющих сквозь темную скань. Диафрагму сегодня полностью открыть, подбавить вольфрамового света – такого дождя на памяти не было, ракетные взрывы далеко к югу и востоку время от времени долетают к домику, грохоча отнюдь не запотевшими окнами, но лишь дверьми – медленно трех-четырекратно сотрясая их, словно бедные духи, стосковавшиеся по обществу, просятся внутрь, на минутку, чуть коснуться...

Она в доме одна, если не считать тайного кинооператора и Осби Щипчона – этот на кухне, творит нечто таинственное с грибами, каковых урожай собран на крыше. У них блестящие красно-оранжевые чашечки шляпок с выпуклыми лоскутьями беловато-серого покрывала. Время от времени геометрия неугомонности подвигает ее бросить взгляд в дверной проем: там Осби мальчишески увлеченно возится с *Amanita muscaria*<sup>33</sup> (ибо именно сия своеобразная разновидность ядовитого «ангела-разрушителя» не отпускает от себя внимания Осби – либо того, что у него считается вниманием), – сверкнуть ему улыбкой, коя ей представляется дружелюбной, а Осби мнится до ужаса многоопытной, искусенной, порочной. Первая голландская девушка, с которой он общался, и ему удивительно видеть не деревянные башмаки, а каблучки, его, считай, до мозгового расстройства поражает ее лощеный и (как он полагает) континентальный стиль, ум, светящийся под светлыми ресницами либо темными очками, в которых она щеголяет на улице, в следах детского жирка, в ямочках, противозалегающих по углам ее рта. (Крупным планом видно, что кожа ее, хоть почти идеальная, слегка припудрена и подрумянена, ресницы чуть подтемнены, брови изогнуты на два-три пустых фолликула...)

А что ж у юного Осби *может* быть на уме? Он тщательно выскребает каждую грибную чашечку цвета хурмы и шинкует остальное. Выселенные эльфы бегают по крыше, тараторят. У него все растет груды оранжево-серых грибов, затем он горстями сыплет их в кастрюлю с кипящей водой. Предыдущая партия тоже кипит на медленном огне – уже густая каша, вся в желтой пене; Осби снимает пену и мелет кашу в Пиратовом смесителе. Затем размазывает фунгоидное месиво по жестяному противню для печенья. Открывает печь, асбестовыми чепельниками извлекает еще один лист, покрытый темной пропеченной пылью, заменяет его только что приготовленным. Пестиком в ступе толчет вещество и сыплет в старую жестяную коробку от печенья «Хантли-и-Палмерз», оставляя лишь чуть-чуть – умело свертывает эти остатки в лакричную папиросную бумагу «Ризла», затем подкуривает и дым их вдыхает.

Однако ей случается заглянуть как раз в тот миг, когда Осби открыл гулкую печь. Камера не фиксирует в ее лице никакой перемены, но отчего ж она застыла в дверях столь бездвижно? словно кадру этому надлежит быть остановлену и растянуту именно в такой продольный миг злата, свежего и потускневшего, микроскопически закамуфлированной невинности, локоть присогнут, рука упирается в стену, пальцы веером на бледно-оранжевых обоях, словно касается она собственной кожи, задумчивое касанье... Снаружи долгий дождь кремниевым ледяным потоком шлепает безутешно в средневековые окна, медленно разъедая их, словно дымом занавешивая дальний берег реки. Этот город – всеми его милями, что прошиты бомбами: эта нескончаемо в узел завязанная жертва... кожа поблескивающей черепицы, закопченный кирпич, затопленный выше каждого окна, темного иль освещенного, и всякое из миллиона отверстий беззащитно пред сумраком зимнего дня. Дождь оmyвает, промачивает, журча песенкой,

<sup>33</sup> Мухомор красный (*лат.*).

наполняет канавы, город принимает его, приподымаясь с неизменным пожатием плеч... Со скрежетом и металлическим лязгом печь закрыта опять, но для Катъе она никогда не закроется. Катъе слишком много сегодня красовалась перед зеркалами, знает, что прическа и макияж у нее безупречны, ее восхищает платье, привезенное ей из «Харви Николса»: прозрачный шелк, стекающий от подкладных плечиков к глубокой ложбинке меж грудей, густого оттенка какао, что в этой стране известен как «негритосский», многие ярды этого аппетитного шелка скручены и наброшены, свободно подвязаны на талии, а к коленям опускаются мягкими складками. Кинооператор доволен неожиданным эффектом такого количества текучего шелка, в особенности – когда Катъе проходит перед окном и проникающий внутрь дождесвет на несколько кратких ахов диафрагмы меняет ткань на темное стекло, пропитанное темно-серым древесным углем, антикварное и обветренное, платье, лицо, волосы, руки, стройные икры, все обратилось в стекло и глазурь, на замершее целлулоидное мгновенье – полупрозрачный хранитель дождя, сотрясаемого весь день ракетными взрывами вдали и вблизи, устремленного вниз, темна и гибельна за нею земля, что в протяженьи кадра ее очерчивает.

Глядя в зеркало, Катъе тоже чувствует, как доволен оператор, однако ей ведомо то, чего не может знать он: в себе самой, заключенная в *soignée*<sup>34</sup> поверхность милой ткани и мерлых клеток, она – разложение и прах, ей место в Печи – жестоко, им тут и не снилось... место ей в *Der Kinderofen*...<sup>35</sup> стоит вспомнить его зубы, длинные, жуткие, прошитые ярко-бурой гнилью, когда он произносит эти слова, желтые зубы капитана Бликеро, сеть испятнанных трещин, а в глубине ночного его дыхания, в темной печи его самого – вечно скрученные шепотки распада... Зубы она припоминает прежде прочих его черт, от Печи зубам должно стать лучше прежде всего прочего – от того, что предназначено ей и Готтфриду. Он никогда не высказывал этого явной угрозой, непосредственно ни к кому из них даже не обращался, скорее говорил с гостями вечера поперек ее вышколенных атласных бедер либо вдоль Готтфридова покорного позвоночника («оси Рим – Берлин», как он назвал его в ту ночь, когда пришел итальянец, а они все расположились на круглой кровати, и капитан Бликеро вонзился во вздыбленный анус Готтфрида, а итальянец одновременно – в его хорошенький ротик), сама же Катъе пассивна, связана, с кляпом и в накладных ресницах, сегодня служит живой подушкой белеющим надутым кудрям итальянца (розы и жир, еще чуть-чуть – и прогоркнет)... всякое высказывание – закрытый бутон, способный расслаиваться и бесконечно являть (она припоминает математическую функцию, какая расцветет ради нее в степенной ряд *без общего члена*, бесконечно, мрачно, хоть и ни в единый миг не врасплох)... его фраза *Падре Игнасио* разворачивается в испанского инквизитора, черную сутану, смуглый нос с горбинкой, удушающую вонь фимиама + духовник/палач + Катъе и Готтфрид оба на коленях, бок о бок в темной исповедалне + + дети из старой *Märchen*<sup>36</sup> на коленях, а коленкам холодно и больно, пред Печью, шепчут ей секреты, кои никому больше не могут поведать + охота на ведьм, параноидальная мания капитана Бликеро, и он подозревает их обоих, несмотря на мандат *NSB*<sup>37</sup> у Катъе + Печь как слушатель/мститель + Катъе на коленях перед Бликеро, разряженным в черный бархат и кубинские каблуки, пенис его сплюснен под телесного цвета кожаным биндажом, к которому сверху он прицепил искусственную пизду и лохматку из соболя, и то, и другое изготовлено вручную в Берлине прискорбно известной мадам Офир, фальшивые губы и ярко-лиловый клитор отлиты из – мадам покорно просила прощенья, ссылаясь на дефицит, – синтетической резины и миполама, нового поливинилхлорида... жизнеподобная розовая влажность топорщится крохотными лезвиями из нержавеющей стали, их сотни, и Катъе на коленях вынуждена резать себе губы и язык о них, а

<sup>34</sup> Отшлифованный (*фр.*).

<sup>35</sup> Печь для детей (*нем.*).

<sup>36</sup> Сказки (*нем.*).

<sup>37</sup> Nationaal-Socialistische Beweging (*нидерл.*) – Национал-социалистическое движение.

затем поцелуями рисовать кровавые абстракции на золотой незагрунтованной спине своего «брата» Готтфрида. Брата по игре, по рабству... она никогда его не видела, пока не пришла в реквизированный домик возле пусковых площадок, запрятанных в рощах и парковых насаждениях этого заселенного клина мелких ферм и поместий, что тянется к востоку от королевского города меж двумя просторами польдера к Вассенару, – однако лицо его в тот первый раз, в осеннем свете сквозь огромное западное окно гостиной, когда он стоял на коленях голый, если не считать шипастого ошейника, метрономно мастурбируя под выкрики приказов капитана Бликеро, вся его светлая кожа, испятнанная предвечерним солнцем до светящегося синтетически-оранжевого оттенка, который она прежде никогда не связывала с кожей, его пенис – монолит крови, чей густо задышливый голос отчетливо слышен в тиши ковров, его лицо, поднятое отнюдь не к ним самим, но будто бы к чему-то на потолке или в небесах, которые потолок может его взгляду заменять, а глаза опущены долу, в каковом состоянии он, похоже, проводит большую часть времени, – его лицо, воздетое, напряженное все больше, кончающее, так близко к тому, что она всю свою жизнь видела в зеркалах, к ее собственному продуманному взору манекена, что она затаивает дух, на миг ощущает ускорившуюся дробь сердца и лишь затем обращает помянутый взор на Бликеро. Тот в восторге.

– Быть может, – говорит он, – я обрежу тебе волосы. – Улыбается Готтфриду. – Быть может, его заставлю отрастить.

Унижение мальчику будет полезно каждое утро в казармах, выстроившихся в ряд за его батареей у *Schußstelle*<sup>38</sup> 3, где некогда с громом неслись лошади перед неистовыми, проигрывающими завсегдатаями скачек прежнего мира, – смотров он раз за разом не проходит, однако его капитан прикрывает от армейской дисциплины. Вместо этого между стрельбами, днем ли, ночью, недосыпая, в самое неурочное время он претерпевает собственную *Hexeszüchtigung*<sup>39</sup> капитана. Но ей-то Бликеро обрезал волосы? Этого она уже не помнит. Знает, что раз или два надевала мундиры Готтфрида (волосы, да, подбирала под его пилотку), при этом легко могла бы сойти за его двойника, такие ночи проводила «в клетке», поскольку правила устанавливал Бликеро, а Готтфриду следовало носить ее шелковые чулки, кружевной передник и колпак, весь ее атлас и органди с лентами. Но после он всегда должен возвращаться в клетку. Так положено. Их капитан не позволяет никаких сомнений, кто из них, брат или сестра, на самом деле горничная, а кто – гусь на откорме.

Всерьез ли она играет? В завоеванной стране, в собственной оккупированной стране лучше, полагает она, вступить в некую формальную, осмысленную разновидность того, что снаружи происходит без всякой формы или пристойных ограничений днем и ночью, казни без суда и следствия, облавы, избиения, уловки, паранойя, стыд... они между собой никогда открыто этого не обсуждают, но, похоже, Катье, Готтфрид и капитан Бликеро уговорились, что такая северная и древняя форма, та, с которой они знакомы и им удобно, – заблудившиеся детишки, лесная ведьма в пряничном домике, пленение, откорм, Печь – будет их охранительной практикой, их убежищем от того снаружи, чего никто из них вынести не в силах: Войны, абсолютной власти случая, их собственных жалких обстоятельств здесь, посреди всего...

Даже внутри, в домике – небезопасно... почти каждый день ракета дает осечку. В конце октября недалеко от этого поместья одна рухнула обратно и взорвалась, унеся жизни 12 человек из бригады наземного обслуживания, выбив стекла в домах на сотни метров вокруг, включая западное окно гостиной, где Катье впервые увидела своего золотого брата по игре. Официальные слухи утверждали, что взорвались одно лишь топливо и окислитель. Но капитан Бликеро с трепетом – надо сказать, нигилистического – удовольствия сообщил, что аматоловый заряд боеголовки тоже взорвался, поэтому для них что пусковая площадка, что мишень – все

<sup>38</sup> Огневая позиция, пусковая площадка, объект (нем.).

<sup>39</sup> Зд.: порка ведьмы (искаж. нем.).

едино... И все они обречены. Домик стоит к западу от ипподрома Дёйндигт, совсем в другую от Лондона сторону, только никакой пеленг не спасает – ракеты, сбрендив, часто поворачивают произвольно, кошмарно ржут в небесах, разворачиваются и падают по прихоти собственного безумия, столь недоступного и, есть опасения, неизлечимого. Если время есть, хозяева их уничтожают – по радио, посреди судороги. Между ракетными запусками – английские налеты. Когда приходит пора ужинать, низко над темным морем с ревом проносятся «спитфайры», запинаясь, включаются городские прожекторы, высоко в небе над мокрыми железными скамейками в парках повисает послеплач сирен, орудия ПВО пыхтят, шарят, а бомбы падают в рощи, на польдер, среди низин, где, как считают, расквартированы ракетные войска.

Этим к игре прибавляется оттенок, слегка меняющий тембр. Это она, Катье, в некий неопределенный миг будущего должна впихнуть Ведьму в Печь, уготованную Готтфриду. Поэтому капитану не следует исключать возможности того, что Катье – взаправду английская шпионка или голландская подпольщица. Несмотря на все старания немцев, из Голландии прямо в Командование бомбардировочной авиации Королевских ВВС по-прежнему неубывающим потоком текут разведданные, повествующие о развертывании частей, путях снабжения, о том, в какой темно-зеленой древесной куще может располагаться установка А4: данные меняются с каждым часом, настолько мобильны ракеты и их вспомогательное оборудование. Но «спитфайрам» хватит и электростанции, и склада жидкого кислорода, и квартиры командира батареи... вот занимательный вопрос. Сочтет ли Катье свои обязательства недействительными, однажды вызвав английские истребители-бомбардировщики на этот самый домик, свою тюрьму понарошку, хоть это и значит смерть? Капитан Бликеро в сем вовсе не уверен. До некоторого предела эта мука восхищает его. Само собой, послужной список Катье у людей Муссерта безупречен, у нее на счету минимум три вынюханных криптоеврейских семейства, она преданно ходит на собрания, работает на курорте люфтваффе под Схевенингеном, где начальство хвалит ее за исполнительность и бодрость духа, от работы не уваливает. Да и не пользуется, как многие сейчас, партийным рвением, дабы прикрыть нехватку способностей. Быть может, лишь одна тень сомненья: преданность ее холодна. Похоже, у нее какая-то своя причина состоять в Партии. Женщина с математическим образованием – и с *причинами*... «Жди Превращения, – говорил Рильке, – О, пусть увлечет тебя Пламя!»<sup>40</sup> Лавру, соловью, ветру – *желая* его, отдаться, объять, пасть в пламя, что растет, заполняя собою все чувства и... не любить, ибо уже невозможно действовать... но беспомощно пребывать в состоянии любви...

Но не Катье – тут никакого рывка мотылька. Бликеро вынужден заключить, что втайне она страшится Превращения, вместо него предпочитая лишь банально подправлять наималейшие пустяки, узоры и покровы, не заходя далее расчетливого трансвестизма – не только в одежде Готтфрида, но и в обычной мазохистской униформе, наряде французской горничной, столь не подобающем ее высокой, длинноногой походке, ее светлым волосам, ее ищущим плечам, что как крылья, – она в это играет только... играет в игру.

Он ничего не может сделать. Посреди умирающего Рейха, с приказами, недействительными до бумажного бессилья, – она так ему нужна, нужен Готтфрид, ремни и хлысты из кожи, ощутимые в руках, что еще способны ощущать, ее вскрики, красные рубцы на ягодицах мальчика, их рты, его пенис, пальцы на руках и ногах – за всю зиму лишь в них уверенность, лишь на них можно рассчитывать: причин он вам не приведет, но в душе верит – хоть теперь, наверное, лишь формально – в эту, из всех *Märchen und Sagen*<sup>41</sup>, верит, что сохранится заколдованный домик в лесу, ни одна бомба не упадет на него случайно, а лишь по предательству, только если Катье и впрямь наводчица англичан и подманит их, – а он знает, что она так не может; что неким волшебством, под костным резонансом любых слов британский налет – един-

<sup>40</sup> Перев. А. Пурина.

<sup>41</sup> Сказки и легенды (*нем.*).

ственный запретный из всех возможных толчков сзади, в железное и окончательное лето Печи. Она придет, придет, эта Судьба... не так – но придет... *Und nicht einmal sein Schritt klingt aus dem tonlosen Los...*<sup>42</sup> Из всей поэзии Рильке «Десятую элегию» он любит особенно, чувствует, как горькое пиво Томленья начинает пощипывать в глазах и носу при воспоминании о любом отрывке из... юный мертвец, обнявшись со своею Жалобой, своим последним связующим звеном, отринув ныне даже ее условно человеческое касанье навеки, взбирается совершенно один, смертельно один все выше и выше в горы первобытного Страдания, а над головой – неистово чуждые созвездья... «Шаг беззвучен его. И не слышно Судьбы...» Это он, Бликеро, взбирается в гору, взбирается уже почти 20 лет, с тех пор, когда еще не возжег в себе пламя Рейха, еще с Зюдвеста... один. Какая бы плоть ни утоляла Ведьму, каннибала и колдуна, какие бы цветущие орудия Страдания – один, один. Ведьму он даже не знает, не способен постичь тот голод, что определяет его/ее, только в минуты слабости его ошеломляет, как голод сей может существовать с ним в одном теле. Атлет и его уменье, отдельные осознания... Молодой Раухандль, по крайней мере, так сказал... за столько лет до войны... Бликеро наблюдал за своим молодым другом (даже тогда уже столь вопиюще, столь жалко обреченным на некую разновидность Восточного фронта) в баре, на улице, как бы плохо ни сидел на том узкий костюм, как преходящи б ни были башмаки: он красиво реагировал на футбольный мяч, который шутники, признав его, вбрасывали откуда ни попадя, – бессмертные фортели! импровизированный пинок, так невозможно высоко, такой совершенной параболой, мяч взмывает на мили, чтобы пролететь в аккурат меж двух высоких фаллических электрических пилонов кинотеатра «Уфа» на Фридрихштрассе... головой он мог держать его кварталами, часами, а ноги красноречивы, как поэзия... Однако он лишь качал головой, раз спрашивают – надо уважить, но не в состоянии из себя выдавить... «Это... так бывает... мускулы сами... – затем припомнив слова старого тренера: – Это мускульное, – очаровательно улыбнувшись и уже самим этим действием мобилизован, уже пушечное мясо, бледный барный свет в дифракционной решетке его бритой головы: – Рефлексы, видите ли... Это не я... Это всего лишь рефлексы». Когда же среди тех дней для Бликеро все стало превращаться из похоти в простое сожаленье, тупое, как изумление Раухандля собственному таланту? Он повидал уже столько этих Раухандлей, особенно после 39-го, они укрывали таких же таинственных гостей, посторонних, часто не диковиннее дара всегда оказываться не там, где снаряды... кто-нибудь из *них*, из этого сырья, «ждет Превращения»? Они вообще в курсе? Что-то сомнительно... Пользуются лишь их рефлексами, по сотне тысяч за раз, другие пользуются – королевские мотыльки, увлеченные Пламенем. Уж много лет назад Бликеро утратил всякую невинность по этому вопросу. Итак, Судьба его – Печь; а заблудившиеся детишки, которые так ничего и не поняли и ничего у них ни во что не превратится, кроме мундиров и удостоверений личности, будут жить они и процветать еще долго после газов его и угольков, после вылета его в трубу. Так, так. Вандерфогель<sup>43</sup> в горах Страдания. Длится уж очень долго, он выбрал игру, считай, лишь ради того конца, какой она ему принесет, *nicht wahr?*<sup>44</sup> нынче слишком стар, гриппы все больше затягиваются, желудок слишком часто мучается днями напролет, глаза ошутимо слепнут с каждым медосмотром, он слишком «реалист» и вряд ли предпочтет геройскую смерть или даже солдатскую. Ему сейчас хочется одного – выйти из зимы, оказаться в тепле Печи, в ее тьме, в ее стальном укрытии, чтоб дверь за ним – сужающимся прямоугольником кухонного света, что лязгает гонгом, закрываясь навеки. Дальнейшее – прелюдия к акту.

Однако ему не все равно – небезразличнее, чем следует, и ему это удивительно, – как там с детьми, как с их мотивами. Они ищут свободы, соображает он, томясь, как он по Печи, – и

<sup>42</sup> В рус. перев. В. Микушевича: «Там не слышно шагов. Там беззвучный удел» (нем.).

<sup>43</sup> От нем. Wandervogel – перелетная птица; юный турист.

<sup>44</sup> Не правда ли? (нем.)

такая извращенность преследует его и угнетает... он вновь и вновь возвращается к опустению и бессмысленному образу того, что было домиком в лесу, а ныне обратилось в крошки и потеки сахара, осталась лишь черная неукротимая Печь да двое детей, рывок приятной энергии уже позади, вновь голодно, убредают в зеленую черноту дерев... Куда пойдут они, где укроют ночи? Детская недалёковидность... и гражданский парадокс этого их Маленького Государства, коего основания – в той же Печи, что неизбежно его уничтожит...

Но всякий истинный бог должен быть как строителем, так и разрушителем. Он, взращенный в христианской среде, затруднялся это понять, пока не совершил путешествия на Зюдвест, – до своего африканского завоевания. Среди наждачных костров Калахари, под широкими листьями прибрежного неба, огня и воды – он учился. Мальчик гереро, давно истерзанный миссионерами до ужаса пред христианскими грехами, шакальими призраками, могучими европейскими полосатыми гиенами, что преследуют его, стремясь отпировать его душой, этим драгоценным червяком, что жил в его позвоночнике, ныне пытался заловить своих старых богов в клетку, в силки слов, выдать их – диких, парализованных – этому ученому белому, который, похоже, так влюблен в язык. Таскает с собой в вещмешке «Дуинские элегии», только что отпечатанные, когда отправился на Зюдвест, материн подарок у трапа, запах свежей типографской краски пьянил его ночи, пока старый сухогруз вспарывал тропик за тропиком... пока созвездия – новые звезды страны Страдания – не стали уж совсем незнакомыми, а земные времена года не перевернулись вверх тормашками... и он не высадился на берег из высоконосой деревянной лодки, что 20 годами ранее доставляла синештанные войска с железного рейда на подавление великого Восстания Гереро. Дабы найти в глубине суши, среди расколотых гор между Намибом и Калахари своего верного аборигена, свой ночной цветок.

Непроходимые пустоши скал, опаляемые солнцем... многие мили каньонов, вьющихся в никуда, на дне занесены белым песком, что с удлиненьем дня обращается в холодную королевскую голубизну... *Мы теперь сделаем Нджамби Карунга, отиһона...*<sup>45</sup> – шепот из-за горящих веток терновника, где немец тонкой своей книжицей разгоняет энергии, скопившиеся за кругом огня от костра. Он тревожно поднимает голову. Мальчику охота ебаться, но он называет герерское имя бога. Необычайная дрожь охватывает белого человека. Он, подобно Рейнскому миссионерскому обществу, что развратило этого мальчика, верит в святотатство. Особенно здесь, в пустыне, где опасности, кои он не может заставить себя поименовать даже в городах, даже при свете дня, собираются вокруг, сложив крылья, ягодицами касаясь холодного песка, ждут... Сегодня вечером он чувствует мощь каждого слова: слова – лишь в одном взмахе ресниц от ими обозначаемого. Опасность отпидарасить мальчика в отзвуках святого Имени наполняет его похотью безумно, похотью пред ликом – маской – мгновенного талиона из-за круга костра... но для мальчика Нджамби Карунга – то, что бывает, когда они совокупаются, только и всего: бог – создатель и разрушитель, солнце и тьма, все пары противоположностей, сведенных воедино, включая черное и белое, мужское и женское... и он в невинности своей становится чадом Нджамби Карунги (как и все в его недошедшем клане, неумолимо, за пределами их истории) здесь, под европейским пбтом, ребрами, нутряными мускулами, хуем (а у мальчика мускулы остаются яростно тугими, как будто по многу часов, точно он нацелен убивать, но – ни слова, лишь долгие, клонические, толстые ломти ночи, что проходят над их телами).

Что я вывел из него? Капитан Бликеро знает, что африканец сейчас где-то посреди Германи, в глубине Гарца, и что, случись Печи этой зимой за ним захлопнуться, они уже сказали *auf Wiedersehen*<sup>46</sup> в последний раз. Он сидит, в желудке – мурашки, железы нафаршированы недомогоаньем, склонился над пультом в забрызганном камуфляжной краской автомобиле

<sup>45</sup> Хозяин, повелитель (*гереро*).

<sup>46</sup> До свидания (*нем.*).

управления пуском. Сержанты с панелей двигателя и рулевого управления вышли перекурить – он в ПУПе<sup>47</sup> один. В грязном перископе заскорузлый туман снаружи отрывается клочьями от яркой зоны изморози, что бандажом опоясывает вздыбленную и призрачную ракету там, где перезаряжается бак с жидким кислородом. Теснятся деревья – пятачка неба над головой едва хватит для взлета ракеты. *Bodenplatte*<sup>48</sup> – бетонная плита, уложенная на стальные полосы, – располагается на участке, обозначенном тремя деревьями, и триангулирована так, чтобы давать точный пеленг, 260°, на Лондон. При разметке используется символ – грубая мандала, красный круг с жирным черным крестом внутри – в нем узнается древний коловорот, из которого, как утверждает традиция, первохристиане выломали свастику, дабы замаскировать свой незаконный символ. В дерево, в центр креста вогнаны два гвоздя. Рядом с одним знаком разметки, нарисованным краской, тем, что западнее прочих, кто-то на коре выцарапал острием штыка слова *IN HOC SIGNO VINCES*<sup>49</sup>. Никто на батарее в содеянном не признаётся. Возможно, дело рук Подполья. Но убрать надпись никто не приказывал. Вокруг *Bodenplatte* подмигивают бледно-желтые верхушки пней, свежая щепа и опилки мешаются с палыми листьями постарше. Запах – детский, глубокий – перебивается вонью топлива и спирта. Собирается дождь, а то и снег сегодня грозит. Расчеты нервно мельтешат серо-зеленым. Блестящие черные кабели из каучука уползают в лес, подсоединяя наземное оборудование к голландской энергосети на 380 вольт. *Erwartung...*<sup>50</sup>

Почему-то в эти дни ему труднее вспоминать. Нечто мутное от грязи, в оправе призм, ритуал, каждодневный повтор на этих только что расчищенных треугольниках в лесах, преодолело то, что раньше было бесцельной прогулкой памяти, ее невинным сбором образов. Времени, проводимого им не здесь, с Катье и Готтфридом, становится тем меньше и оно тем драгоценнее, чем энергичнее темп пусков. Хотя мальчик служит в подразделении Бликеро, капитан почти не видит его на службе – вспышку золота, которая помогает маркшейдерам отмерить километры до передающей станции, угасающая яркость его волос на ветру исчезает в чаще... Сколь странная противоположность африканцу – цветной негатив, желтый и голубой. Капитан в некоем сентиментальном избытке чувств, в некоем предзнании дал своему африканскому мальчику имя «Энциан» – в честь горной горечавки нордической расцветки у Рильке, принесенной в долину чистым словом:

Bringt doch der Wanderer auch vom Hange des Bergrands  
nicht eine Hand voll Erde ins Tal, die Allen unsägliche, sondern  
ein erworbenes Wort, reines, den gelben und blaun  
Enzian<sup>51</sup>.

– Омухона... Посмотри на меня. Я красный и бурый... *черный*, омухона...

– *Liebchen*<sup>52</sup>, это другая половина земли. В Германии ты был бы желтым и голубым.

Зеркальная метафизика. Зачаровал себя тем, что воображал элегантностью, своими книжными симметриями... И все же к чему так бесцельно говорить с иссохшими горами, с жаром дня, с дикарским цветком, из коего он пил – столь нескончаемо... к чему терять *эти* слова в мираже, в желтом солнце и ледящих голубых тенях ложбин, если это не пророчество – за всем предбедственным синдромом, за ужасом созерцания его подступающей старо-

<sup>47</sup> Пункт управления пуском.

<sup>48</sup> Зд.: опорная плита (нем.).

<sup>49</sup> Сим победиши (лат.).

<sup>50</sup> Ожидание (нем.).

<sup>51</sup> Странник в долину со склона горы не приносит Горстку земли, для всех несказанную. Странник Обретенное слово приносит, желтую и голубую Горечавку (нем.). (Перев. В. Микушевича.)

<sup>52</sup> Любимый (нем.).

сти, хоть и сколь угодно мимолетного, сколь ни иллюзорен шанс какого бы то ни было «обеспечения», – *за* этим нечто вздымается, шевелится, навечно ниже, навечно прежде его слов, нечто, стало быть, способное разглядеть подступающее ужасное время, *по меньшей мере* столь же ужасное, как эта зима и тот облик, что приняла ныне Война, форму, что неизбежно задает очертания последнего куска головоломки: этой игры в Печь с желтоволосым и голубоглазым юношей и безмолвным дубльгангером Катье (кто был *ее* противной стороной на Зюдвесте? какая черная девушка, им так и не увиденная, вечно таилась под ослепляющим солнцем, в сиплом грохоте извергающих золу поездов по ночам, в темных созвездиях, коим никто, никакой анти-Рильке не дал имен...) – но в 1944-м уже было слишком поздно, уже не важно. Все эти симметрии – предвоенная роскошь. Нечего ему уже пророчить.

И менее всего – ее внезапный выход из игры. Единственную вариацию, которой он не учел, быть может, и впрямь из-за того, что так и не увидел черную девушку. Быть может, черная девушка – гений метарешений: опрокинуть шахматную доску, пристрелить арбитра. Но после ранения, поломки – что станется с маленьким государством Печи? Нельзя ли его починить? Быть может, новая форма, более подобающая... лучник и его сын, и выстрел в яблочко... да, и сама Война – как король-тиран... игру еще можно спасти, правда? подлатать, переназначить роли, не нужно спешить наружу, где...

Готтфрид из своей клетки смотрит, как она выскользывает из пут и уходит. Белокурый и стройный, волосы у него на ногах видны только при солнечном свете, да и то лишь тонкой невесомой сетью золота, веки уже собираются причудливыми юно/старыми отметами морщинок, росчерками, глаза редкой голубизны, что в определенные дни, в пандан погоде – чересчур для этого миндального окоема и переполняется, сочится, вытекает, освещая все лицо мальчика девственной синевой, синевой утопленника, той синевой, что так ненасытимо впитывается в известковые стены средиземноморских улочек, по которым мы спокойно крутили педали полуднями старого мира... Он не может ее остановить. Если капитан спросит, Готтфрид расскажет, что видел. Он уже замечал, как она ускользала наружу, и ходят слухи, что она с Подпольем, что у них любовь с пилотом «штуки», которого она встретила в Схевенингене... Но наверняка она и капитана Бликеро любит. Готтфрид именуется себя пассивным наблюдателем. Он дождался, пока его нагонят нынешний возраст и призывная повестка, с бесстыдным ужасом, будто наблюдал за стремительным налетом поворота, в который намерен впервые вписаться контролируемым юзом, *бери меня*, наращивая скорость до наипоследнейшего возможного мгновенья, *бери меня* – вот его единственная молитва на добрую ночь. Та опасность, что ему, полагает он, потребна, для него все еще вымышлена: из того, с чем он флиртует и дразнится, смерть – не реальный выход, герой всегда шагнет из эпицентра взрыва, с копотью на лице, но и с ухмылкой: бабах – это просто шум и превращенье, пригнись, чтоб не задело. Готтфрид еще не видел жмурика – близко, во всяком случае. Из дому время от времени пишут, что погибли его друзья, он наблюдал, как вдали в ядовитую серость грузовиков забрасывают длинные вялые брезентовые мешки и фары прорезают дымку... но когда ракеты подводят и пытаются завалиться на тебя, кто их пускал, и дюжина вас вжимается, тела сбиты вместе в щели, ждут, сплошь провонявшая потом шерсть, и ты напряжен от сдерживаемого смеха, думаешь только: вот расскажу в столовой, вот напишу *Mutti*...<sup>53</sup> Эти ракеты – его домашние зверюшки, едва прирученные, часто с ними хлопотно, всё в лес смотрят. Он любит их, как любил бы лошадей или «тигры», выпадает ему служить где-нибудь еще.

Здесь он чувствует себя *взятым*, поистине в своей тарелке. На что бы он надеялся без Войны? Но участвовать в *такой* аванюре... «Если не можешь петь Зигфрида, уж копые таскать ты способен». На каком горном склоне, от чьего продубленного и обожаемого лица он это слышал? Он помнит лишь белый подъем, стеганные луга, где толпятся облака... Нынче он

<sup>53</sup> Мама (нем.).

постигает ремесло, ухаживает за ракетами, а когда Война окончится, пойдет учиться на инженера. Он понимает, что Бликеро погибнет или уедет, а он сам выйдет из клетки. Но Готтфрид связывает это с концом Войны, не с Печью. Он, как и все, знает, что пойманных детей всегда освобождают в миг наивысшей опасности. Ебля, соленая длина капитанского усталого и часто бессильного пениса, что вталкивается ему в покорный рот, жгучие порки, отражение его лица при целовании капитанских сапог, чей блеск крапчат, разъеден тавотом от подшипников, смазкой, спиртом, пролитым при заправке, темнит его лицо до неузнаваемости, – все это необходимо, из-за этого его плен особ, а иначе едва ли отличался бы от армейского удушья, армейского подавления. Ему стыдно, что все это ему так нравится: от слова *бикса*, произнесенного особым тоном, у него эрекция, которую не подавить силой воли, – он боится, что, даже если на самом деле его не осудят и не проклянут, он уже спятил. Вся батарея знает об их уговоре: хоть они капитану и повинуются, это видно по лицам, чувствуется в дрожи натянутых стальных рулеток, выплескивается ему на поднос в столовой, локтем толкается ему в правый рукав на каждом построении взвода. В эти дни ему часто снится очень бледная женщина, которая хочет его, которая никогда ничего не говорит, – но абсолютная уверенность в ее глазах... его жуткая убежденность, что она, знаменитость, которую все узнают с первого взгляда, его знает и ей вовсе не нужно с ним заговаривать, хватит и лицом подманить, по ночам подбрасывает его, дрожащего, на койке, а изможденное лицо капитана лишь в нескольких дюймах мятого серебряного шелка, подслеповатые глаза распахнуты, как и у него, щетина, о которую ему вдруг нужно потереться щекой, всхлипывая, пытаясь рассказать, какая она была, как она *смотрела на него*...

Капитан, конечно, видел ее. Да и кто ее не видел? Его представление об утешении – сказать ребенку:

– Она реальная. С этим ничего не поделаешь. Пойми, она хочет тебя занять. Без толку просыпаться с воплями и будить тем самым меня.

– Но если она *вернется*...

– Сдайся, Готтфрид. *Уступи во всем*. Посмотри, куда она тебя заведет. Вспомни первый раз, когда я тебя ебал. Какой ты был тугой. Пока не понял, что я намерен кончить внутрь. Твой маленький розовый бутон расцвел. Тебе нечего было терять, к тому времени – даже невинности губ...

Но мальчик все плачет. Ему не поможет Катье. Наверное, она спит. С ней никогда не поймешь. Он хочет быть ей другом, но они почти не разговаривают. Она холодна, таинственна, он ее иногда ревнует, а иногда – обычно если ему хочется ее выебать, а из-за какой-нибудь хитроумной уловки капитана нельзя, – вот тогда ему чудится, будто он любит ее до отчаяния. В отличие от капитана, он не видит в ней верную сестру, которая освободит его из клетки. Он грезит о *таком* освобождении – но это темный внешний Процесс, какой случится, чего бы кто бы из них ни хотел. Уйдет она или останется. Поэтому, когда Катье навсегда бросает игру, он молчит.

Бликеро ее проклинаят. Швыряет сапожную колодку в драгоценного Терборха. Бомбы падают к западу, в *Haagsche Bosch*<sup>54</sup>. Дует ветер, пуская рябь по декоративным прудам. Рычат штабные машины, отъезжая по длинной дорожке, обсаженной буками. Лунный серп сияет в дымчатых облаках, его темная половина – цвета заветренного мяса. Бликеро приказывает всем спуститься в укрытие – подвал с джином в бурых глиняных бутылках, с решетчатыми ящиками, где луковицы анемонов. Шлюха подвела батарею под перекрестье британского прицела, налет может начаться в любую минуту! Все сидят и пьют *oude genever*<sup>55</sup>, счищают шкурки с сыров. Травят байки, по большей части – смешные, довоенные. К рассвету все уже напились и спят.

<sup>54</sup> Гагский лес (*нидерл.*).

<sup>55</sup> Старый голландский джин (*нидерл.*).

Потеки воска набросаны на пол, как палая листва. «Спитфайры» не прилетели. Но ближе к полудню *Schußstelle 3* передислоцируют и реквизированный домик бросают. А ее нет. Перешла на английские позиции, на том выступе, где великая воздушно-десантная авантюра завязла на всю зиму, в сапогах Готтфрида и старом платье, черный муар, ниже колена, на размер больше, убогонькое. Ее последний маскарад. Отныне она будет Катье. Остался лишь долг капитану Апереткину. Все прочие – Пит, Вим, Барабанщик, Индеец – ее покинули. Бросили подышать. Или же это ее предостережение о...

– Прости, но нет – пуля нам нужна, – лицо Вима в тени, которой не возместить ее взгляду, с горечью шепчет под пирсом Схевенингена, драная поступь толпы по доскам над головой, – каждая, блядь, пуля, до единой. Нам нужна тишина. И мы не можем никого отрядить, чтоб избавился от тела. Я и так потратил на тебя пять минут... – поэтому он заполнит их последнюю встречу техническими делами, в которых она уже не сможет участвовать. Когда она озирается, его нет, исчез партизански бесшумно, и ей никак не удастся примирить это с тем, каково ему некоторое время было в прошлом году под прохладной синелью, в те дни, когда у него еще не было столько мускулов, шрамов на плече и бедре, – поздний цветик, неприсоединившийся, которого вынудили в конце концов зайти за предел, но она его любила и раньше... наверняка...

Теперь она для них ничего не стоит. Им нужна была *Schußstelle 3*. Все остальное она им дала, вот только все время находила причины не указывать точно капитанскую ракетную установку, а теперь слишком уж велики сомненья, хороши ли те причины были. Это правда – установка часто перемещалась. Но еще ближе к принятию решений ее разместить все равно бы не удалось: это ее бесстрастное лицо служанки нависало над их шнапсами и сигарами, картами в кофейных кругах на низких столиках, кремовыми бумагами, проштампованными фиолетом, точно синяки на теле. Вим и прочие вложили время и жизни – три еврейские семьи высланы на Восток, – но погоди, она ведь это больше чем уравнивала, правда же, за те месяцы в Схевенингене? Они были детками, невротиками, одинокими, и летчики, и наземные бригады, все любили поговорить, и она переправила через Северное море кто знает сколько пачек Совершенно Секретных копирок, правда же, номера эскадрилий, пункты дозаправок, противошторные методики и радиусы поворота, установки мощности двигателя, радиоканалы, секторы, схемы движения – правда? Чего еще им надо? Она серьезно спрашивает, будто между информацией и жизнями существует реальный коэффициент пересчета. Так вот, как ни странно, он есть. Записан в Руководстве, хранится в Военном министерстве. Не забывай, подлинный смысл Войны – купля-продажа. Убийство и насилие – саморегуляция, их можно доверить и непрофессионалам. Массовая природа смерти в военное время полезна по-всякому. Служит зрелищем, отвлекает от подлинных движений Войны. Предоставляет сырье для записи в Анналы, дабы можно было учить детей Истории как секвенциям насилия, одна битва за другой, – так они успешнее подготовятся к взрослой жизни. Лучше всего: массовая смерть – стимул для обычного народа, для людишек, брать-хватать кусок этого Пирога, пока еще живы и могут его слопать. Истинная война – триумф рынков. Повсюду всплывают натуральные рынки, тщательно выделанные профессионалами под «черные». Оккупационные деньги, стерлинги, рейхсмарки продолжают обращаться – строгие, как классический балет, – внутри своих стерильных мраморных хором. А тут, снаружи, внизу, в народе к жизни вызываются валюты поистиннее. Ну вот – евреи оборотны. Оборотны, как сигареты, пизда или батончики «Херши». Кроме того, евреи несут в себе элемент вины, будущего шантажа, который работает, ессесно, в пользу профессионалов. И вот Катье вопит во всю глотку в безмолвие, в Северное море надежд, а Пират Апереткин, знакомый с нею по торопливым встречам – на городских площадях, что умудряются глядеть казармами и душить клаустрофобией, под сенью темных хвойных запахов лестничных пролетов, крутых, как стремянки, на кэте у замасленной набережной, и сверху тарашатся кошачьи янтарные глаза, в старом жилом квартале, где дождь на дворе и по пыльной комнате разбросан громоздкий древний «шварцлозе», разобранный до коленно-рычаж-

ного механизма и масляного насоса, – он видел ее всякий раз как лицо, место коему среди тех, кого он знает лучше, на кромке всякого предприятия, теперь же, лицом к этому лицу вне контекста, неохватное небо, все в морских облаках, что движутся походным маршем, высокие и пышные, за ее спиной, подмечает опасность в ее одиночестве, осознает, что никогда не слышал ее имени – до самой встречи у мельницы, известной под названием «Ангел»...

Она ему рассказывает, почему одна – более-менее, – почему не может теперь вернуться, и лицо ее где-то не здесь, выписано по холсту, вывешено вместе с другими выжившими там, в домике возле Дёйндигта, лишь свидетельствует игре в Печь – века минуют облагреными облаками, затемняя неощутимо тонкий слой лака меж нею и Пиратом, даруя ей щит той безмятежности, какая ей нужна, классической неуместности...

– Но куда же вы пойдете? – У обоих руки в карманах, оба туго обмотаны шарфами, камни, что оставила за собой вода, черно блестят, будто надпись во сне, которая вот-вот – и станет разборчива, отпечатанная вдоль этого берега, всякий ее фрагмент пока столь поразительно ясен...

– Не знаю. А вы куда посоветуете?

– В «Белое явление»? – предложил Пират.

– «Белое явление» – это хорошо, – сказала она и шагнула в пустоту...

– Осби, я ненормальный?

Снежной ночью, пять ракетных бомб с полудня, дрожа на кухне, поздней и под свечой, Осби Щипчон, недоумочный гений этого дома, настолько углубился в свое вечернее свидание с мускатным орехом, что вопрос звучит вполне уместно, в тусклом углу бледная бетонная Юнгфрау присела враскоряку, флегматичная и, судя по всему, раздраженная.

– Конечно, конечно, – грит Осби, текуче дрыгнув пальцами и запястьем по мотивам того, как Бела Лугоши вручал некий бокал вина с «малинкой» какому-то дурню, молоденькому герою в «Белом зомби» – первом фильме, увиденном Осби в жизни и, в некотором смысле, последнем, что представлен в его Списке Всех Времен наряду с «Сыном Франкенштейна», «Уродцами», «Полетели в Рио» и, быть может, «Дамбо», который он ходил смотреть на Оксфорд-стрит вчера вечером, но на середине заметил: толстеньким хоботом глазастого слоненка обернуто вовсе не волшебное перышко, а кислая пурпурно-зеленая физиономия мистера Эрнеста Бевина, – и решил, что благоразумнее отбыть из зала. – Нет, – поскольку Пират тем временем неверно истолковал слова Осби, каковы бы те ни были, – не «конечно, ты ненормальный, Апереткин», отнюдь не это...

– Тогда что, – спрашивает Пират, когда молчание Осби переваливает за минутную отметку.

– А? – грит Осби.

Пират в раздумьях и сомненьях, вот что. Все припоминает, что Катье теперь избегает любых упоминаний о домике в лесу. Она в него заглянула – и выглянула, но хрустальные стекла истины преломляли все ее слышные слова – часто до слез, – и он не вполне разбирает, что говорится, и уж совсем не допетривает до самого лучистого хрусталя. И впрямь, зачем она покинула *Schußstelle 3*? Этому нам так и не сообщают. Но время от времени игрокам – в затишье игры либо в кризисе – напомним, каково оно все-таки, играть по-настоящему – и они после этого уже не смогут продолжать в том же духе... Тут ведь не надо ничего внезапного, эффектного – можно и мягко, – и вне зависимости от счета, числа зрителей, их совокупного желанья, штрафных, назначенных ими либо их Лигами, игрок, осознанно проснувшись, быть может, с жестким, как у юного изолята, пожатем плеч самой Катье и ее резким шагом, скажет «нахуй» и выйдет из игры, в глухую завязку...

– Ладно, – продолжает он в одиночку, Осби, провалившись в улыбку мечтательного грибника, прокладывает трассу по зрело-женской снежной коже Горной Вершины в углу, только он да ледяной пик в вышине, да синяя ночь... – стало быть, это недостаток характера, причудь.

Как таскать с собой эту чертову «мендосу». – В Фирме все, знаете ли, носят «стены». «Мендоса» в три раза тяжелее, никто в последнее время даже *близко* не видал 7-миллиметровых пуль к мексиканскому «маузеру», даже на Портобелло-роуд: ей недостает роскошной Гаражной Простоты или скорострельности, но Пират все равно ее любит (да, в наши дни это преимущественно по любви), – видишь ли, тут все дело в обмене, рази нет, – ностальгия по прямому действию в духе «льюиса», возможность сменить ствол за секунду (когда-нибудь пробовали снять ствол со «стена»?) и наличие обоюдоострого бойка на случай если поломается... – Неужели меня остановит лишний вес? Это моя *причуда*, я к тяжести безразличен, или я б не вытащил сюда девчонку, правда?

– Я вам не подответственна. – Статуя в винного цвета бархате *façonné*<sup>56</sup> от шеи до запястий и лодыжек, и как давно, господа, наблюдает она из теней?

– Ой, – Пират робеет, – вообще-то подответственны, знаете.

– Счастливая парочка! – вдруг ревет Осби, беря новую щепоть того, что похоже на мускатный орех, глаза его закатываются до белков, до цвета миниатюрной горы. Чихает громко на всю кухню, и ему поразительно, что эти двое у него в одном поле зрения. Лицо Пирата темнеет от смущения, у Катъе не меняется, наполовину выбито светом из соседней комнаты, наполовину в сланцевых тенях.

– Так, значит, надо было вас оставить? – И когда она лишь нетерпеливо сжимает рот: – Или вы думаете, тут кто-то был обязан вас вытаскивать?

– *Нет.*

Вот теперь дошло. Пират спросил только потому, что начал подозревать – мрачно – сколько угодно Кого-То Тут. Но для Катъе долг – лишь то, что надо стереть. Ее застарелый неподатливый порок – она хочет переплывать моря, связывать страны, между которыми невозможен никакой обменный курс. Предки ее на средне-нидерландском пели:

ic heb u liever dan ên everswîn,  
al waert van finen goude ghewracht<sup>57</sup>, —

о любви, несоизмеримой с золотом, золотым тельцом и даже, как в этом случае, с золотой свиньей. Но к середине XVII века золотых хряков уже не осталось, только из смертной плоти, как у Франса ван дер Нареза, еще одного предка, который отправился на Маврикий с целым трюмом таких живых хряков и потерял тринадцать лет, таская по эбеновым лесам свою *haakbus*<sup>58</sup>, бродя по болотам и языкам лавы, методично истребляя местных додо, а зачем – он бы и сам не сумел объяснить. Голландские свиньи разбирались с яйцами и птенцами. Франс тщательно целился в родителей с 10 или 20 метров, ствол уперт крючком в сошку, медленно тянет спуск, глаз сосредоточен на линияющем уродстве, а ближе, в фитильном замке, пропитанное вином, зажатое челюстями серпентина нисходит красное цветенье, и жар его у него на щеке – «как мое собственное маленькое светило, – писал он домой старшему брату Хендрику, – повелитель моего Знака...», являя затравочный порох, который он прикрывал другой рукой, – вдруг вспышка на полке, сквозь запальное отверстие, и гром выстрела отзывает от крутых скал, отдача бьет прикладом вдоль плеча (кожа сначала содрана, волдырь, а затем роговеет – после первого лета). И глупая неловкая птица, ничем не приспособленная ни летать, ни хоть сколько-то быстро бегать – да к чему они *вообще* нужны такие? – неспособная даже засечь своего убийцу, разорвана, плещет кровью, сипло издыхает...

<sup>56</sup> Рельефный (*фр.*).

<sup>57</sup> Ты мне дороже веприцы, Из чистого золота выкованной (*ср. – нидерл.*).

<sup>58</sup> Аркебуза (*нидерл.*).

Дома брат просмотрел письма – какие ломкие, какие в пятнах морской соли или выцветшие – за много лет, доставленные все сразу, мало что понял, хотелось только провести день, как обычно, в саду и теплице с тюльпанами (верховное безумье того времени), особенно с одной новой разновидностью, названной в честь нынешней его возлюбленной: кроваво-красными, тонко татуированными фиолетом... «У всех новоприбывших тут новый *snaphaan*...<sup>59</sup> но я держусь за свой неуклюжий старый фитильный... ведь я заслуживаю неуклюжего оружия для такой неуклюжей дичи, правда?» Однако Франс ни словом не обмолвился, что держало его среди зимних циклонов, заставляя совать пыжи из ветхих мундиров вслед свинцовым пулям, его, обожженного солнцем, бородатого и грязного, – если не шел дождь или он не оказывался в нагорьях, где кратеры старых вулканов собирали в чаши осадки, голубые, как небеса, и вздымали их приношением.

Он оставлял додо гнить – не мог помыслить питаться их мясом. Обычно охотился один. Но частенько после многих месяцев уединение начинало менять его, менять само его восприятие – зубчатые горы при полном свете дня вспыхивали у него прямо на глазах чудным шафраном, текучим индиго, небо становилось ему стеклянной оранжереей, весь остров – тюльпаноманией. Голоса – он бессонен, южные звезды, слишком густые для созвездий, изобилуют лицами и баснословными созданными, еще менее вероятными, нежели додо, – рекли слова спящих, поодиночке, дуэтами, хором. Темпы и тембры – голландские, однако наяву в них никакого смысла. Только вот он полагал, что они его предостерегают... бранят, сердятся, что не способен понять. Однажды весь день просидел, уставясь на одинокое белое яйцо додо в травяной кочке. Слишком далеко, ни одна свинья на фуражировке не нашла б. Он ждал царапанья, первой трещинки, что потянет за собой сетку по известковой поверхности, – ждал явления. Пенька зажата в зубах стальной змейки, готова зажечься, готова снизойти солнцем в море черного пороха и уничтожить младенца, яйцо света превратить в яйцо тьмы в первый же миг птенцова изумленного видения, влажного пуха, взерошенного прохладой этих юго-восточных пассатов... Каждый час поправлял прицел, глядя вдоль ствола. Вот тогда-то он, наверное, и увидел – если увидел вообще, – что оружие творит ось, мощную, как земная, между ним и этой жертвой, еще целой, в этом яйце, с родовой цепью, которую нельзя порвать долее, чем на эту ее вспышку мирового света. Так они и сидели – безмолвное яйцо и спятивший голландец, да еще аркебуза, что навеки соединила их звеном, в раме, блистательно недвижимые, ни дать ни взять Вермеер. Двигалось только солнце: от зенита вниз и наконец за кривоzubые горы к Индийскому океану, к дегтю ночи. Яйцо не дрогнуло, по-прежнему не взламывалось. Надо было разнести его на месте – он понимал, что птенец вылупится до рассвета. Но колесо сделало оборот. Он поднялся на ноги – суставы коленей и бедер выли от боли, голова звенела гонгом от распоряжений сновещателей: те бубнили, накладывались друг на друга, все неотложные, – и лишь захромал прочь, четко вскинув оружие на правое плечо.

Когда одиночество загоняло его в такие вот ситуации, он частенько возвращался в поселение и вливался в охоту. Их всех охватывала пьяная истерика студиозусов, в ночных буйствах принимались они палить во что ни попадя – в верхушки деревьев, облака, кожистых летучих демонов, вопивших недоступно человеческому слуху. Пассаты задували в гору, остужая их ночной пот, небо наполовину залито кармазином от вулкана, под ногами ворчит столь же неслышимо низко, сколь неслышимо высоки голоса летучих мышей, и все эти люди бьются в спектре посередке, в ловушке частот своих голосов и слов.

Сие неистовое воинство – сплошь неудачники, изображали Богоизбранное племя. Колония, затея – умирала, как те эбеновые деревья, от коих они очищали остров, как те бедные биологические виды, кои они стирали с лица земли. К 1681 году *Didus ineptus*<sup>60</sup> исчезнет совсем, к

<sup>59</sup> Мушкет (*нидерл.*). Зд.: кремневый замок.

<sup>60</sup> Букв.: «дронт глупый» (*лат.*).

1710-му то же произойдет и с последним переселенцем на Маврикий. Здешнему предприятию суждено было протянуть примерно одну человеческую жизнь.

Кое-кто полагал, будто в этом есть смысл. Они видели спотыкающихся птиц, созданных до того дурно, что в сем виделось вмешательство Сатаны, настолько уродливых, что они могли воплощать собою довод против Божьего творенья. Был ли Маврикий неким первым ручейком яда, просочившимся сквозь защиту дамб земных? Христианам должно тут его и заткнуть – либо сгинуть во втором Потопе, спущенном на сей раз не Богом, но Врагом рода человеческого. Само забиенье зарядов в мушкеты было для сих людей актом благочестия, символизм коего они понимали.

Но если они были избраны прийти на Маврикий, почему же тогда избраны были и потерпеть неудачу, и уйти? Выбор ли это – или недогляд? Избранники они – или же Недоходяги, обреченные, как додо?

Франс не мог знать, что, за исключением нескольких особей на острове Реюньон, то были единственные додо в Мироздании и он помогал истреблять целое племя. Но по временам размах и неистовство охоты добивали до него и тревожили ему сердце. «Если б вид сей не был таким извращеньем, – писал он, – его можно было бы с выгодой разводить ради кормления нашего потомства. Я далек от яростной ненависти, питаемой к ним здесь некоторыми. Но что нынче умерит сию бойню? Слишком поздно... Быть может, приятный глазу клюв, полное оперенье, способность к полету, хоть и недолгому... частности Замысла Творца. Или же, найди мы на сем острове дикарей, птица сия казалась бы нам не диковиннее североамериканской дикой индейки. Увы, трагедия их в том, что они – господствующая форма Жизни на Маврикии, но не способная к речи».

Вот оно, перед носом. Без языка – значит ни шанса на кооптацию в то, что их круглые и льняновласые захватчики называли Спасением. Однако же Франс, в протяженьи утренних расветов одинокий, как мало кто, поневоле засвидетельствовал наконец чудо: Дар Речи... Обращение Додо. Выстроившись тьмами на берегу, сияющий профиль рифа на воде за ними, и рев его – единственный голос утра, вулканы отдыхают, ветер притих, осенний восход рассеивает на них свет стеклянисто и глубоко... они сошли с гнезд и насестов, пришли от ручьев, что рвутся из пастей лавовых тоннелей, от мелких островков, что прибиты к северному побережью, как плавник, от внезапных водопадов и истощенных джунглей, где ржавеют лезвия топоров и гниют, скрипя на ветру, грубо сработанные водоточные желобы, от своих влажных утр под сенью горных пней, вперевалку приковыляли они неуклюжим паломничеством на сию ассамблею – под благословенье, дабы их не обошли... «Ибо поелику суть они созданы Божии, и владеют даром разумного рассуждения, признавая, что лишь Его Словом вечная жизнь обрящется...» И в глазах додо стоят слезы счастья. Все они теперь братья – они и люди, кои раньше охотились на них, братие во Христе, во младенце, и додо грезят о том, чтобы сидеть подле него, гнездиться в его яслях, упокоив перышки, присматривать за ним и милым его личиком всю ночь напролет...

Такова чистейшая разновидность европейской авантюры. Зачем все это было – убийственные моря, гангренозные зимы и голодные вёсны, наш косный гон неверных, полуночи борений со Зверем, наш пот, что становится льдом, и наши слезы, что обращаются в бледные снежинки, – если не ради таких вот мгновений: маленькие прозелиты вытекают из глазного поля, столь кроткие, столь доверчивые – как может зоб схватиться в страхе, как вероотступнический вопль способен прозвучать пред клинком нашим, нашим необходимым клинком? Благословенные, теперь они станут нас питать, благословенный их прах и отходы станут удобрять наши нивы. Мы сказали им о «Спасении»? Мы имели в виду поселенье навсегда во Граде? Жизнь вечную? Восстановленный рай земной – что их остров, каким был он, будет им возвращен? Ну, возможно. Все время в думах о братьях наших меньших, перечисленных в собственных наших благословеньях. И впрямь, ежели они спасают нас на сем свете от голода, на том,

в царстве Христовом, спасенье наше тоже должно быть связано неразрывно. Иначе додо окажутся лишь тем, чем видятся в иллюзорном свете сего мира, – просто-напросто нашей добычей. Господь не может быть так жесток.

Франс способен обе версии – чудо и охоту, длившуюся столько, что уже и не упомянуть, – считать реальными равными возможностями. При обеих род додо в конечном итоге угасает. Но вот вера... он способен верить лишь в одну стальную реальность оружия, которое носит с собой.

– Он знал, что *snaphaan* весил бы меньше, его курок, кремь и сталь давали бы меньше осечек, – но *haakbus* будила в нем ностальгию... ладно там лишний вес, то была *его* причудь...

Пират и Осби Щипчон опираются на парапет своей крыши, роскошный закат за извилистой рекой и по ней, величественной змее, – толпы фабрик, квартир, парков, дымные шпили и щипцы, накаленное небо раскатывает решительно по милям впалых улиц и крыш вниз, по суматошной и волнистой Темзе мазок жженого оранжа, дабы напомнить гостю о его смертной здесь преходящести, запечатать либо опустошить все двери и окна в виду для взора его, взыскующего лишь маненько общества, словца-другого на улице перед тем, как подняться в мыльно-тяжкую вонь съемной комнатки, к квадратам кораллового заката на половицах, – антикварный свет, самопоглощенный, топливо, потребленное в отмеренном зимнем всессожжении, более отдаленные формы среди дымных нитей или полотен – ныне совершенные пепельные руины самих себя, ближние окна, на миг выбитые солнцем, вовсе не отражают, но содержат в себе тот же опустошительный свет, это напряженное угасанье, что вовсе не обещает возврата, свет, от которого ржавеют государственные машины на обочинах, покрываются лаком последние лица, спешащие мимо магазинов по холоду, будто наконец провыла безбрежная сирена, свет, который выстуживает нехоженые каналы многих улиц, наполнен скворцами Лондона – те сбиваются миллионами к помутневшим каменным пьедесталам, к пустеющим площадям, к громадному общему сну. Они летают кругами, концентрическими кругами по экранам радаров. Радиометристы зовут их «ангелами».

– Он тебя преследует, – Осби, затягиваясь мухоморовой сигаретой.

– Да, – Пират замеряя дистанцию до краев садика на крыше, на закате раздражен, – но верить в это мне хочется в последнюю очередь. Другое тоже не фонтан...

– Ну и что ты о ней тогда думаешь.

– Думаю, она кому-нибудь пригодится, – решив это вчера на вокзале Черинг-Кросс, когда она уезжала в «Белое явление». – Кому-то обломился непредвиденный дивиденд.

– Ты знаешь, что они там задумали?

Известно только, что они варганят нечто с участием гигантского осьминога. Но здесь, в Лондоне, никто ничего не знает точно. Даже в «Белом явлении» вдруг поднялась дикая беготня туда-сюда и топкая неизвестность касаясь что и как. Отмечается, что Мирон Ворчен бросает отнюдь не товарищеские взгляды на Роджера Мехико. Зуав вернулся к себе в часть, в Северную Африку, вновь под лотарингский крест, все, что немцы могут счесть зловещим в его черной черноте, записано на пленку, выманено либо выжато из него не кем иным, как Герхардтом фон Гёллем, некогда близким другом Ланга, Пабста, Любича, да и ныне им ровней, а совсем недавно фон Гёлль впутался в дела энного количества правительств в изгнании, колебанья валют, формирование и расформирование поразительной сети рыночных операций, что подмигивает, появляясь и исчезая по всему континенту под ружьем, даже когда от пожарных свистков вдоль и поперек ожесточаются целые улицы, а огненные бури сжирают в небесной вышине весь кислород, и клиенты падают штабелями, удушенные, как тараканы от «Флита»... но коммерция не отняла у фон Гёлля Касанье: ныне оно чутче обычного. В этих его первых отснятых эпизодах черный расхаживает в мундире СС меж макетов ракеты и *Meillerwagen*<sup>61</sup> из

<sup>61</sup> Транспортно-пусковая установка (нем.).

дранки и холста (их всегда снимают сквозь сосны, снег, с дальних ракурсов, чтоб не выдать английской натуры), остальные с правдоподобно наваксенными лицами, завербованы на день, вся команда собралась шутки ради, г-да Стрелман, Мехико, Эдвин Паток и Ролло Грошнот, нейрохирург-резидент ГАВ Аарон Шелкстер – все играют черных ракетчиков вымышленного «Шварцкоммандо», даже Мирон Ворчен в роли без слов, мазок массовки, как и все прочие. Хронометраж фильма три минуты 25 секунд, в нем двенадцать планов. Пленку состарят, пересадят на нее чуток грибка и отглянцуют, перевезут в Голландию, чтоб она влилась в «остатки» подложной стартовой ракетной площадки в *Rijkswijksche Bosch*. Голландское сопротивление затем совершит «налет» на площадку, подымет много шума, наделает фальшивых следов подъезда и мусором обозначит поспешную ретираду. Внутренности армейского грузовика окажутся выпотрошены «коктейлями Молотова»: в пепле, среди обугленного обмундирования, закопченных и слегка поплавленных бутылок джина отыщутся фрагменты тщательно подделанных документов «Шварцкоммандо» и яуф с пленкой, на которой смотрибельными будут всего три минуты и 25 секунд. Фон Гёлль, глазом не моргнув, объявляет это своим величайшим шедевром.

«И действительно, судя по развитию дальнейших событий, – пишет видный кинокритик Митчелл Прелебаналь, – невозможно слишком уж оспорить эту оценку, хоть и по кардинально иным причинам, нежели мог предложить – или даже со своих причудливых позиций предвидеть – сам фон Гёлль».

Из-за перебоев с финансированием в «Белом явлении» всего один кинопроектор. Каждый день около полудня, после того как персонал операции «Черное крыло» полюбовался на свои липовые африканские ракетные войска, приходит Уэбли Зильбернагель и опять уносит проектор по обшарпанным промозглым коридорам в крыло ГАВ, в заднюю комнату, где в своем резервуаре хмуро сочится осьминог Григорий. В других помещениях подвывают собаки, визгливо лают от боли, скулят, выпрашивая раздражитель, что так и не поступает и не поступит никогда, а снег все вихрится, невидимые иглы татуируют оконное стекло, не прошитое нервами, за зелеными жалюзи. Вставляется пленка, гасится свет, внимание Григория направляется на экран, по которому уже ходит образ. Камера следит, как она движется подчеркнуто никуда по комнатам, длинноногая, плечи юношески широки и ссутулены, волосы вовсе не резко голландские, а модно забраны вверх под старую корону тусклого серебра...

\* \* \*

Утром, спозаранку. В одиночестве он вывалился на улицу мокрого кирпича. Аэростаты заграждения к югу, серферы на утренних гребнях, розовым жемчугом блистали на заре.

Ленитропа снова отпустили, он вновь на улице, ч-черт, последний был шанс приплести 8-й Параграф – и профукал...

Что ж они его не продержали в психушке, сколько обещали, – несколько недель вроде, нет? Без объяснений – просто «Ну пока-пока!» – и бумажная шелушинка отправляет его назад в этот АХТУНГ. Малыш Кеноша, и Злюкфилд этот, Пионер с Фронтира, и его корефан Шмякко – вот и весь Ленитропов мир в последние дни... еще кой-какие задачи не решены, и приключения не закончились, и еще потребно кое-где надавить и весь язык себе отговорить, чтоб старухина комбинация удалась и свинья перепрыгнула забор и пошла домой. А тут как будто раз по башке – и опять Лондон.

Но что-то теперь иначе... что-то... *переменилось*... не хочу бухтеть, ребятки, но – вот, скажем, он почти готов был поклясться, что за ним следят – ну, или наблюдают. Одни «хвосты» довольно ловки, но других-то он вполне способен засечь. Вчера затоваривался к Рождеству в «Вулвортсе» и поймал некую пару глаз-бусин в отделе игрушек, за грудой истребителей из бальзы и детских «энфилдов». Эдакий как бы намек на постоянство того, что фигурирует в

зеркальце заднего вида его «хамбера», – ни цвета, ни модели он точно не сообщит, но *что-то* в крошечной рамке все время есть, и Ленитроп, отправляясь на работу по утрам, стал осматривать прочие машины. Хлам на его столе в АХТУНГе, кажется, лежит не там, где лежал. Девчонки изобретают предлоги, чтоб не являться на свиданки. Он чувствует, как его мягко отстраняют от той жизни, что была до Святой Вероники. Даже в кино вечно кто-нибудь позади – старается не болтать, не шуршать газетой, чересчур громко не смеяться: Ленитроп в стольких киношках перебивал, что подобные аномалии вычисляет на раз.

Клетушка подле Гроувнор-сквер все больше напоминает капкан. Ленитроп убивает время – порой целые дни, – мотаясь по Ист-Энду, вдыхая темзовую вонь, ища местá, куда соглядатаи не поглядят.

Как-то раз он сворачивает на узкую улочку, где только старые кирпичные стены да уличные торговцы выстроились, слышит свое имя и – ух-ты-ух-ты, это еще что, а вот и она, светлые волосы развеваются флюгерами, белые танкетки стучат по брусчатке, очаровательный помидорчик в медсестринской форме, а зовут-то ее, э, ну... о, точно: Дарлина. Бат-тюшки, это ж Дарлина. Трудится в госпитале Святой Вероники, живет поблизости у некоей миссис Квандал: дама эта давным-давно овдовела и с тех пор мучима уймой старомодных недугов – бледной немочью, паршой, натоптышами, пурпурой, абсцессом и ушным тонзиллитом, а с недавних пор еще и слегка цингой. Короче, вышла поискать лаймов своей домовладелице, фрукты выпрыгивают и сыплются из соломенной корзинки, желто-зелено катятся прочь по улице, юная Дарлина мчится в своей медсестринской шапочке, груди – мягкие буфера сей встречи в сером городском море.

– Ты вернулся! Ах, Эния, ты *вернулся*, – слеза-другая, оба подбирают цитрусы, накрахмаленное платье-хаки грохочет, и не чуждый сентиментальности Ленитропов нос даже шмыгает пару раз.

– Я и есть, милая...

Колеи в грязи подернулись жемчугом, нежным жемчугом. Чайки неспешно курсируют вдоль высоких и слепых кирпичных стен квартала.

Миссис Квандал – тремя темными пролетами выше, купол далекого Св. Павла виден из кухонного окна в дыму не всякого предвечерья, а сама дама – крошечная в розовом плюшевом кресле гостиной, подле радиоприемника, слушает «Аккордеонный оркестр Примо Скалы». На вид вполне здорова. Однако на столе валяется мягкий шифоновый платок: перистые кровавые кляксы выглядывают из-под сгибов и прячутся, будто схема цветочного узора.

– Вы тут были, когда на меня малярийная лихорадка напала, – припоминает она Ленитропа, – мы еще тогда заваривали полынный чай, – и точно, самый вкус забирает его, проникая сквозь подошвы.

Вновь складываются... видимо, вне его памяти... прохладная чистая обстановка, девушка и женщина, независимо от его звездной скорописи... столько девушек, меркнущих лицами, столько ветреных набережных канала, жилых комнат, прощаний на остановках – ну как ему все упомянуть? Но эта комната все проясняется: тот, кем он был внутри, отчасти задержался, спасибо ему, все эти месяцы безмолвно хранился вне его головы, разбросанный по зернистым теням, мутно-засаленным банкам с травами, конфетами, приправами, по всем романам Комптона Маккензи на полке, по стеклянистым амбротипам ее покойного супруга Остина – напыленной ночи в позолоченных рамках на каминной полке, где в прошлый раз на Михайлов день махали головами и суетились итальянские астры в севрской вазочке, которую они с Остином вместе нашли однажды в субботу, давным-давно, в лавке на Уорддор-стрит...

– Он был моим здоровьем, – часто говорит она. – С тех пор, как ушел от нас, я разве что записной ведьмой не сделалась – из чистой самозащиты.

Из кухни пахнет свеженарезанными и свежавыжатыми лаймами. Дарлина входит, выходит, ищет все новую ботанику, спрашивает, куда подевалась марля.

– Эния, помоги мне достать... нет-нет, рядом, высокая банка, спасибо, милый, – и снова в кухню, крахмально поскрипывая, мелькнув розовым.

– Я тут одна-единственная памяти не лишилась, – вздыхает миссис Квандал. – Мы друг дружке пособляем, ну да. – Из-за кретоновой маскировки она извлекает большую вазу с конфетами. – Вот, – просяив Ленитропу. – Глядите: винные желейные. Еще довоенные.

– Вот теперь я вас помню – у вас же блат в Министерстве снабжения! – но с прошлого раза он знает, что никакая галантность его теперь не спасет.

После того визита он написал домой Наллине: «Англичане, мамуля, – они довольно странные насчет вкусов. Другие, не как мы. Наверно, климат. Они любят такое, что нам и во сне не привидится. Иногда аж наизнанку выворачивает, ну правда. Я тут на днях попробовал одну штуку – называется „винные желейные“. Они думают, это *конфеты*, мамуль! Если сообразить, как скормить эту дрянь Гитлеру, – сто к одному, что войне кранты *завтра же!*» И вот опять он пробует эти клятые желатиновые фиговины, кивая – он надеется, любезно – миссис Квандал. На конфетах выпукло значатся названия разных вин.

– И совсем капелька ментола, – миссис Квандал, забрасывая конфету в рот. – Объединение. Ленитроп наконец выбирает ту, что обозначена «Лафитт-Ротшильд», и пихает в пасть.

– О-о. Ага. М-м. Отлично.

– Если *правда* хотите своеобразного, попробуйте «Доктор из Бернкастеля». Кстати! А это не вы мне приносили чудесные такие американские конфетки, склизкий вяз, кленовые, с привкусом сассафраса...

– «Скользкий вяз». Черти червивые, простите, у меня вчера закончились.

Входит Дарлина с дымящимся чайником и тремя чашками на подносе.

– Это что? – Ленитроп, весьма поспешно.

– Вообще-то, Эния, тебе лучше не знать.

– Это точно, – после первого глотка, жалея, что Дарлина не добавила побольше лаймового сока или хоть чего, чтоб забить основной вкус, каковой отвратительно горек. Эти люди поистине рехнутые. Никакого, ессесно, сахара.

Он лезет в вазу с конфетами, извлекает черную, ребристую лакричную карамельку. На вид безвредна. Но едва он надкусывает, Дарлина смотрит на него и на карамельку странновато – молодчина, девка, отлично выбрала момент, – и грит:

– Ой, а я думала, от этих, – веселое «эт-тих», вылитая Гилберт-и-Салливанова инженеру, – мы избавились *сто лет назад*, – и тут Ленитроп натывается на ползучую жидкую начинку, по вкусу – как апельсиновые корки под майонезом.

– Вы съели мой последний «Мармеладный Сюрприз»! – кричит миссис Квандал, с быстротою фокусника явив взорам яйцевидную пастельно-зеленую сладь, сплошь утыканную сиреневой непарелью. – За это я не дам вам ни крошки «ревеня со сливками» – а он восхитителен. – И сладь отправляется ей в рот целиком.

– Так мне и надо. – Ленитроп, размышляя, что вообще хотел этим сказать, прихлебывает травяной чай, дабы избавиться от вкуса майонезной конфеты, – ой, только это ошибка, ага, рот его снова наполняется кошмарным алкалоидным опустошеньем, до самого мягкого нёба, где этот вкус и пускает корни. Дарлина, милосердная, как сама Найтингейл, сует ему твердую красную конфету, вылепленную в виде малины... мм, как ни странно, даже на вкус малина, хотя горечь и близко не растворяется. Он вгрызается с нетерпением и, еще не сомкнув зубов, знает – идиот, блядь, – что его опять поймали: на язык извергается наиужаснейшая кристаллическая концентрация, ёк-сель, да это ж чистая азотная кислота. – Спаси и помилуй, вот это *кислятина*, – едва способен выдавить слова, так его сморщило, вот в точности такие фокусы выкидывал Скок Хэрриган, чтоб заставить Трудягу Танка бросить эту его окарину, и так-то гнусный трюк, но предосудителен вдвойне, если его подстраивает пожилая дама, которая вроде из наших Союзников, твою ять, он даже не *видит* ничего, эта дрянь забралась в нос и, да что ж

это такое, что-то там растворяться не хочет, разъедает съезжившийся язык и толченым стеклом хрустит на зубах. Миссис Квандал тем временем занята: утонченно покусывая, смакует вишнево-хининный птифур. Улыбается молодежи из-за вазы с конфетами. Ленитроп, забывшись, снова тянется к чашке. Красиво уже не выпутаться. Дарлина стащила с полки пару-тройку новых банок с конфетами, и Ленитроп ныряет – словно путешествие к центру враждебной планетки, – в гигантский бонбон *хрум* сквозь шоколадную мантию к мощно-эвкалиптовой помадке и наконец к ядру из очень жесткого виноградного гуммиарабика. Он выщарапывает осколок этой фигни из зубов и некоторое время разглядывает. Осколок фиолетовый.

– Вот теперь вы понимаете! – Миссис Квандал машет ему крапчатой массой из имбирного корня, баттерскотча и анисового семени. – Видите, этим надо еще и *любоваться*. Отчего американцы такие порывистые?

– Ну, – бормочет, – обычно мы ничего сложнее «Херши» не едим...

– Ой, попробуй *эту*, – вопит Дарлина, хватаясь за горло и подталкивая Ленитропа всем телом.

– Ну надо же, это, небось, ничё так себе, – опасливо взяв жуткую с виду буроватую диковину, точную копию миллзовской лимонки в четверть величины, предохранительный рычаг, чека, всё на месте – одна из патриотических конфет, что выпускались до того, как сахар стал в дефиците, а еще, замечает Ленитроп, заглянув в банку, есть патрон от «уэбли».455 из розово-зеленого полосатого ириса, шеститонная сейсмическая бомба из какого-то сбрызнутого серебром голубого желатина и лакричная базака.

– Ну же, – Дарлина прямо хватается его руку с конфетой и пытается втиснуть ему в рот.

– Я просто, ну, любовался, как миссис Квандал велела.

– А лапать конфеты нечестно, Эния.

Под тамариндовой глазурью гранаты обнаруживается приторная пепсиновая нуга, под завязку набитая пронзительно засахаренными ягодами кубебы и с вязкой камфарной сердцевинной. Мерзость несказанная. От камфарных паров у Ленитропа кружится голова, из глаз течет, на языке – всеильное всеожжение. Кубеба? Он эту дрянью *курил*.

– Отравили, – находит в себе силы прохрипеть он.

– Тверже духом, – советует миссис Квандал.

– Да уж, – Дарлина, сквозь размятый языком слой карамели, – война идет – ты что, не в курсе? Ну же, милый, открой ротик.

Сквозь слезы видно ему неважно, однако слышно, как миссис Квандал напротив говорит:

– Ням, ням, ням, – а Дарлина хихикает.

Оно огромное и мягкое, как маршмеллоу, но почему-то – если, конечно, он всерьез не попердился мозгами – на вкус как джин.

– Эт' шт? – выдавливает он из себя.

– Маршмеллоу с джином, – грит миссис Квандал.

– Ой-й...

– Да ерунда, ты вот *это* попробуй... – в некоем извращенном рефлексе зубы его грызут твердую и кислую крыжовенную оболочку и находят влажный фонтанчик гадости – он надеется, это тапиока, – какие-то клейкие кусочки, насыщенные гвоздичной пудрой.

– Еще чаю? – предлагает Дарлина.

Ленитроп неудержимо кашляет, вдохнув гвоздичную начинку.

– Ужасно вы кашляете, – миссис Квандал протягивает жестянку «Меггезона», этих самых невероятных из всех английских пастилок от кашля. – Дарлина, чай восхитительный, я прямо чувствую, как у меня проходит цинга, честное слово.

«Меггезон» – это как будто тебя отлупили по башке швейцарскими Альпами. Из верхнего нёба мигом прорастают ментоловые сосульки. Белые медведи нащупывают, куда бы поставить заднюю лапу, взбираясь по мороженным виноградным кистям альвеол в легких. Зубам так

больно, что не вздохнуть, даже носом, даже ослабив галстук и укутав ноздри воротом тускло-оливковой футболки. Бензойные пары пропитывают мозг. Голова плывет в ледяном нимбе.

Даже час спустя «Меггезон» мятным призраком парит в воздухе. Ленитроп лежит с Дарлиной, Отвратительные Английские Конфетные Учения позади, он тычется лобком в Дарлинин теплый зад. Единственная конфета, которой Ленитропу не довелось попробовать, – ее миссис Квандал припрятала – «Райский огонь», знаменитая сладость, дорогая и многообразная: кому «соленую сливу», кому «искусственную вишню»... «засахаренные фиалки»... «вустерширский соус»... «пряная патока»... бесконечное множество сходных описаний, точных, кратких – всегда не больше двух слов, – напоминают описания ядов и смертоносных ОВ<sup>62</sup> в учебных пособиях, «кисло-сладкий баклажан» – на сегодняшний день, пожалуй, самое длинное. Ныне «Райский огонь» в оперативном смысле вымер, а в 1945-м его еле отыщешь: уж точно не среди солнечных лавок и отдраенных витрин Бонд-стрит и не в опустошенной Белгрейвии. Но временами эти конфеты всплывают там, где вообще-то сладостями не торгуют: прохлаждаются в больших стеклянных банках, затуманенных временем, вместе с себе подобными, порой одна конфетка на банку, почти сокрытая среди турмалина в немецком золоте, резных напальчников черного дерева из прошлого столетия, штифтов, деталей клапанов, нарезных составляющих загадочных музыкальных инструментов, электронных запчастей из меди и камеди, кои Война, прожорливая и грызущая в своем всепоглощении, пока не нашла и не слизала прочь в темень... Там, куда авто никогда не подъезжают близко и посему громко не рычат, а снаружи вдоль улицы растут деревья. Комнаты глубже и лица старше, меняются в свете, что падает сквозь застекленную крышу, желтее, ближе к концу года...

В гоне за нуль меж бодрствованием и сном его полуобвисший член по-прежнему внутри нее, их бессильные ноги согнуты одинаково... Спальня погружается в воду и прохладу. Где-то садится солнце. Света как раз хватает, чтоб разглядеть у нее на спине те веснушки, что потемнее. В гостиной миссис Квандал грежится, будто она вновь в садах Борнмута, среди рододендронов, и вдруг дождь, Остин кричит: *Коснитесь ее горла, Величество. Коснитесь!* – и Ёрю – претендент, однако истинный король, ибо крайне сомнительная ветвь семьи узурпировала трон в 1878-м, в интригах вокруг Бессарабии, – Ёрю в старомодном фраке с золотыми галунами, что блестят на рукавах, склоняется к ней под дождем, дабы навеки исцелить от царственной золотухи, и выглядит он в точности как на ротогравюре, его прелестная Хрисула на пару шагов позади, любезно, серьезно ждет, вокруг них грохочет ливень, королевская белая рука без перчатки изгибается бабочкой, дабы коснуться впадинки на горле миссис Квандал, чудесное касание, нежно... касается...

*Молния...*

И Ленитроп зевает:

– Который час? – и Дарлина всплывает из сна.

И тут, без предупреждения, комната полнится полуднем, ослепительно белым, всякий волосок вздыбливается у Дарлины на загривке ясно как божий день, удар налетает на них, сотрясает дом до последней бедной косточки, колотит в жалюзи, обернувшиеся черно-белой решеткой похоронок. Над головой, догоняя, нарастает рывок ракеты, воздушный экспресс вниз, прочь в звенящую тишину. Снаружи бьется стекло – долгие немелодичные кимвалы дальше по улице. Пол содрогается, будто ковер встряхнули, а вместе с полом и кровать. Ленитропов пенис вспрыгнул, ноет. Дарлине – внезапно очнулась, сердце отчаянно колотится, ладони и пальцы свело страхом, – представляется, что стояк этот в известной степени вписан в белый свет, оглушительный грохот. К тому времени, когда взрыв умирает до ярко-красного мерцания на жалюзи, Дарлина уже недоумевает... отчего совместились то и другое... но теперь

<sup>62</sup> Отравляющие вещества.

они ебутся, да и какая разница, но господи-боже отчего б этому придурочному Блицу хоть какую пользу не принести?

А это еще кто – сквозь щелочку в оранжевых жалюзи дышит опасно? Наблюдает? И как думаете, хранители карт, мастера слежки, – где упадет следующая?

\* \* \*

Самое первое касание: он говорил какую-то гадость с налетом обычного Мехикова самоубийства: ах ты меня совсем не знаешь я на самом деле такая сволочь, вроде того, но:

– Нет, – она приложила пальцы к его губам, – не говори так... – И когда она к нему потянулась, он перехватил ее запястье, оттолкнул ее руку, чистая самозащита, однако все держал – за это запястье. Глаза в глаза, и никто не желал отводить взгляд. Роджер поднес ее руку к губам, после чего поцеловал, не отпуская ее взгляда. Пауза, его сердце резко тычется в грудную клетку... – Ох-х... – выдохом из нее, и она приникла, обняв его, совсем расслабилась, открылась, дрожа, пока они друг друга не отпустили. Потом она призналась ему, что когда он тем вечером взял ее за руку, она кончила. И когда он впервые коснулся ее пизды, сжал мягкую пизду Джессики сквозь штанишки, высоко в бедрах ее снова зародилась дрожь – росла, захватывала ее. Она кончила дважды, не успел еще хуй официально разместиться внутри, и это важно им обоим, хоть оба так и не догнали, почему же.

Но когда такое бывает, свет в глазах у них неизменно краснеет.

Однажды они встретились в чайной: на Джессике был красный свитер с короткими рукавами, и руки ее рдели у боков. Никакой косметики, Роджер ее впервые такой видел. По пути к машине Джессика берет его за руку и на миг легонько сует ее меж своих движущихся ног. Сердце Роджера делает стояк – и кончает. Вот так оно обычно ощущается. Резко вверх до уровня кожи, буквой V вокруг его осевой линии, омывает соски... это любовь, это поразительно. Даже если Джессики рядом нет, после сновиденья, при виде лица на улице, которое может вопреки вероятности оказаться ее лицом, Роджер никогда не может удержать это под контролем, хватка не разжимается.

О Бобре – сиречь Джереми, как тот известен своей матушке, – Роджер старается думать лишь по необходимости. Вопросы технические ему, само собой, мучительны. Быть не может, чтоб она – или может? – Делала То Же Самое с Джереми. Целует ли ей Джереми пизду, к примеру? Неужто этот *обсос* по правде... дотягивается ли она, когда они ебутся, и-и вставляет ли шаловливый пальчик, это его-то английская розочка, в задницу *Джереме*? Хватит, хватит об этом (но сосет ли она ему хуй? Совался ли он когда-нибудь своей привычно наглой рожей меж ее прелестных ягодиц?) без толку, у нас пора незрелости, и сиди уж лучше в «Тиволи», смотри Марию Монтез и Джона Холла или ходи ищи леопардов и пекари в зоосаде Риджентс-парка, думай, не пойдет ли дождь до 4:30.

Все время, что Роджер и Джессика провели вместе, если суммировать, все равно исчисляться будет часами. А все, что они сказали вслух, – не больше, чем написано в среднем меморандуме ВЕГСЭВ. И никак, впервые за всю его карьеру, никак статистику не придать этим цифрам хоть какой-нибудь смысл.

Вместе они – один долгий рубеж кожи, текучий пот, стиснуты, как только можно прижаться друг к дружке мышцам и костям, едва ли словом больше ее имени – или его.

Порознь же – это для легкомысленных разговоров из кино, для сценариев, какие они сочиняют, чтобы наедине ставить для себя ночами, когда «бофоры» ломаются в двери ее небес, а его ветер воет в кольцах колючей проволоки вдоль берега. Отель «Мейфэр».

– Мы и *впрямь* такие реактивные, да? Всего на полчаса опоздали.

– Ну, – искоса поглядывают на них «ЖаВОронки» и девушки из Военторга, молодые вдовицы в побрякушках, – *ты-то* уж наверняка времени даром не тратил.

– А время есть для тысяч тайных встреч, – отвечает он, усердно глядя на часы, которые по моде Второй мировой носит на внутренней стороне запястья, – а *теперь*, я бы сказал, и для одной-двух подтвержденных беременностей, если уже не...

– Ах, – живо прыгает она (но вверх, не на него), – кстати *о*...

– Йяаххх!

Роджер отшатывается к кадке с какой-то зеленью под пружинистые саксофоны «Роланда Пичи и его Оркестра», которые играют «Вот, я сказал это вновь», и съеживается.

– Так *вот* что у тебя на уме. Если здесь уместно слово «ум».

Они всех сбивают с панталыку. На вид такие невинные. Людям мигом хочется взять их под крылышко: воздерживаются от разговоров о смерти, делах, двуличии, когда Роджер и Джессика рядом. Сплошь дефицит, кино, песенки, мальчики и блузки...

Когда Джессика подбирает волосы над ушами, а плавный подбородок – в профиль, она выглядит лет на 9-10, одна у окон, щурится на солнце, поворачивает голову на легком покрывале, слезы подступают, детское личико краснеет и морщится – вот-вот расплачется: *уу, уу*...

Однажды ночью в темном одеяльно-холодном убежище постели, сам то и дело задремывая, он языком убаюкал Джессику. Почуввав, как его первые теплые вздохи касаются ее больших губ, она задрожала и вскричала кошкой. Две-три ноты, будто слившиеся, хриплые, призрачные, сдуло вместе со снежинками, что помнились еще с сумерек. Деревья снаружи просеивали ветер, не видимые ей грузовики вечно неслись по улицам и дорогам, за домами, через каналы или реку, за простенький парк. Ох, и собаки с кошками, что давай гоняться друг за другом по маленькому снегу...

– ...картинки – ну, сцены все *время* мигают перед глазами, Роджер. Сами по себе, то есть я их не *сочиняю*...

Проносится их яркий рой – под тусклым изотонным мерцанием потолка. Он и она лежат и дышат ртами вверх. Его обмякший хуй слюнявит ему бедро – то, что под горку, ближе к Джессике. Ночная комната тяжело вздыхает, да, Тяжко и Вздыхает – старомодная потешная комната, ох да что с меня взять, дурака могила исправит, кокетничает себе сквозь раму зеркала в чем-то зеленом в полосочку, в панталонах с оборками – однако ж *вот* в чем странность-то: сегодня комнаты по большей части, знаете ли, гудят, а кроме того известно, что «дышат», да, и даже *расчетливо ожидают*, вот какая тут, пожалуй, довольно зловещая традиция, высокие стройные создания, густой аромат духов и накидки в покоях, осажденных полуночью, пронзенных винтовыми лестницами, перголы синих лепестков, среда, где никто, как его ни провоцируй, сколь невменяем бы ни был, дорогая моя барышня, никогда Тяжко не Вздыхает. Так не делается.

Но тут. Ох, *эта* барышня. Клетчатый гинем. Косматые брови, совсем разрослись. Красный бархат. Однажды на слабб она сняла блузку – они как раз гнали по магистрали у Нижнего Бидинга.

– Боже мой, она обезумела, что же это *такое*, чего они все на *меня*?

– Ну так ха-ха, – Джессика покручивает галстук от форменной блузки, как стриптизерша, – ты же, э, сказал, что я забуюсь. Сказал, а? И обзывался «боякой, бякой-боякой» или еще как-то, насколько мне помнится... – Само собой, никакого бюстгальтера, она их вообще не носит.

– Слушай сюда, – бешено косится, – а ты знаешь, что тебя могут арестовать? Ладно, чего там *тебя*, – вдруг приходит ему в голову, – *меня* арестуют!

– И на тебя все свалят, ля-ля. – Нижние зубки обнажаются в улыбочке гадкой девчонки. – Я просто невинная овечка, а этот... – выбросив вперед изящную руку, высеки свет из светлых волосков на предплечье, маленькие груди свободно подпрыгивают, – этот распутник Роджер! вот этот, этот ужасный скот! принуждает меня, эти унижительные...

Тем временем грузовик, громаднее которого Роджер в *жизни* не видал, сотрясаясь сталью, подрулил ближе, и теперь не только водитель, но и несколько – ох, кажется, жутких... *карликов* в странных опереточных костюмчиках, вроде какое-то эмигрантское правительство из Центральной Европы, целиком утрамбованное в высокопоставленную кабину, и все пялятся сверху, толкаются, как поросята у матки, чтоб лучше видеть, глаза на лоб лезут, смуглые, слюни текут – впитывают зрелище: его Джессика Одетт скандально гологруда, а сам он отчаянно пытается притормозить и отстать от грузовика – вот только сейчас за Роджером, прямо у него на жопе, с той же скоростью, что грузовик, сидит, ох бля и *впрямь* патруль военной полиции. Он уже не может сбросить ход, а если станет разгоняться, *тут-то* они и заподозрят...

– Э-э, Джесси, оденься, пожалуйста, эм-м, будь добра? – Он напоказ ищет расческу, которая, как обычно, куда-то делась, подозреваемый – печально известный ктенофил...

Водитель громадного громкого грузовика теперь пытается обратить внимание Роджера на себя, прочие карлики припали к окнам, орут:

– Эй! Эй! – и масляно, утробно хохочут. Вожак их по-английски говорит с каким-то текучим, невыразимо мерзопакостным европейским акцентом. Теперь там, наверху, разгулялись – подмигивают, пихают друг друга локтями: – Миистир! Ай, ви! Мину-тачку, а? – И снова ржут.

В заднее зеркальце Роджер видит английские по-лица, аж розовые от добродетельности, красные погоны друг к дружке, подскакивают, совещаются, то и дело резко взглядывают вперед, на пару в «ягуаре», которая ведет себя так...

– Что они *делают*, Нудзбери, тебе видно?

– Кажись, там мужчина и женщина, сэр.

– Осел. – И хватать черный бинокль.

Сквозь дождь... затем сквозь сонное стекло, от вечера зеленое. И сама в кресле, в старомодной шляпке, смотрит на запад, озирает палубу Земли, преисподне красную по краям, а дальше в бурых и золотых облаках...

Как вдруг следом – ночь: пустое кресло-качалка ярко освещено мелово-голубым – луною или это какой-то иной свет небесный? просто жесткое кресло, ныне пустое, посреди очень ясной ночи, да этот холодный свет сверху...

Картинки сменяются, распускаясь, к нему и от него, одни красивенькие, другие просто жуткие... но она тут свернулась калачиком со своим ягненочком, своим Роджером, и как же любит она весь этот очерк его шеи, вот так – *вот* же он, бугристый его затылок, как у десятилетнего мальчугана. Она его целует по всему кисло-соленому раздолью кожи, что так захватило ее, застало в ночном свете вдоль по напряженным сухожилиям, целует его, как истекает дыханьем, – и не перестает.

Однажды утром – не видел ее недели две – он проснулся в своей келье отшельника в «Белом явлении» со стояком, веки чешутся, а во рту запутался длинный русский волос. Не его. Никого с такими волосами он вспомнить не смог, кроме Джессики. Но этого не может быть – он же ее не видел. Он пару раз шмыгнул носом, потом чихнул. Утро проявило оконный проем. Правый клык ныл. Роджер распутал длинный волос, весь в бусинках слюны, зубном налете, утренних отложениях, какие бывают у всех, кто дышит ртом, и вытарашился. Как он сюда попал? Кукан, братан. Нормальный такой шмат *je ne sais quoi de sinistre*<sup>63</sup>. Надо отлить. Зашаркал к уборной, посерелая казенная фланель вяло заткнута за поясок пижамы – и тут дошло: а если это какая-то розовато-лиловая сказка рубежа веков о возмездии призрака, и вот этот волос – некий Первый Шаг... Ой, паранойя? Видели б вы, как он перебирал все комбинации, шевелясь по своим уборным надобностям среди спотыкающихся, пердящих, шоркающих

<sup>63</sup> Зд.: фиг поймешь чего зловещего (*фр.*).

бритвами, надсадно кашляющих, чихающих заключенных Отдела Пси, всех в козьявках. Только после он вообще помыслил о Джессике – о ее безопасности. Заботливый Роджер. Что, если... если она умерла посреди ночи, случайно грохнули артиллерийские погреба... а этот волос – единственное прощанье, какое ее призрачная любовь сумела пропихнуть на эту сторону ему, единственному, кто для нее хоть что-то значил... Вот тебе и паук-статистик: глаза его поистине переполнились слезами, и тут же Следующая Мысль – *ой. Ойёй*. Закрути кран, баклан, и не щелкай *ключом*. Он стоял, ссутулясь над раковиной умывальника, парализованный, поставив свою тревогу за Джессику чутка на Паузу, и ему не терпелось обернуться через плечо и даже посмотреть в – в это старое зеркало, понимаете, глянуть, что они там задумали, но примерз к месту, даже на такой риск пойти не мог... *ну же...* ох да, в мозг ему упали семена великолепнейшей возможности, и вот пожалста. Что, если все они, все эти уроды из Отдела Пси, втайне против него сговорились? Нормально? Да; предположим, они и впрямь *могут* читать мысли! Да и-и как насчет – если это *гипноз*? А? Господи; тогда сколько угодно *других* оккультных штук: астральные проекции, контроль мозга (*тут-то* ничего оккультного), тайные заклятья на импотенцию, чирьи, безумие, йяхххх – *зелья!* (он наконец выпрямляется и внутренним взором своим проникает обратно к себе в кабинет – взглядывает, *очень* робко, на кофейную пакость, ох *господи...*), экстрасенсорное-единство-с-Агентством-по-Контролю – такое, чтобы Роджер был им, а он Роджером, да да сколько-то подобных представлений блуждают у него в голове, и ни одного приятного – особенно в этом сортире для персонала, где рожа Гэвина Трелиста нынче утром ярко-пурпурная, цветочек клевера мигает на ветру, Роналд Вишнекок отхаркивает в раковину мраморно-мелкозернистую янтарную мокроту – что все это такое, *кто все эти люди...* Уроды! *Урррооодыыыы!* Его окружили! они круглые сутки, всю войну прослушивают его мозги, телепаты, чернокнижники, сатанинские агенты всех разновидностей подключаются ко *всему* – даже когда они с Джессикой в постели *ебутся...*

Попробуй это поприжать, старик, паникуй, конечно, если без этого никак, но не сейчас – и не здесь... Слабые лампочки умывальной углубляют тысячи пятен от воды и мыла, сбившиеся в кучи на зеркалах, до сплетенья облачных перьев, кожи и дыма, когда он мотает у зеркала головой, лимонные и бежевые, здесь туча масляного чада, а тут бурые сумерки, и крошится очень крупно, такая вот текстура...

Утро – прелесть, мир – война. На передке сознания удержать удается одно: слова *Я хочу перевестись*, они как бы немзыкально мурлычутся зеркалу, так точно сэр рапорт подам тут же. Попрошусь добровольцем в Германию, вот что. Дам-де-дам, де-дам. Вот именно, только в среду была объява на рекламной странице «Нацистов в новостях» – засунули между Мерсисайдским отделением лейбористской партии, которое ищет себе пресс-агента, и лондонским рекламным агентством, где есть, как они заявляют, вакансии сразу после дембеля. А эту объяву посерединке разместила какая-то служба будущей «G-5», что пытается собрать несколько спецов по «перевоспитанию». Жизненно, жизненно необходимо. Растолковать Германскому Зверю про Великую хартию вольностей, спортивный дух – такое вот, а? Там, в механизме каких-нибудь баварских часов с невротичной кукушкой, а не деревеньке, куда по ночам из лесов прибегают эльфы-оборотни и суют под окна и двери подрывные листовки...

– Что угодно! – Роджер на ощупь пробирается в свое узкое жильё. – Что угодно лучше этого...

Вот как фигово пришлось. Он знал, что в безумной Германии, с Врагом будет больше в своей тарелке, чем здесь, в Отделе Пси. А от времени года еще хуже. Рождество. Вляаааггг-гххх, хватается за живот. По-человечески или хоть как-то выносимо становилось только от Джессики. Джессика...

Тут-то его и накрыло – на полминуты, пока зевал и дрожал в длинном исподнем, мягонького, еле видимого в тепляке декабрьской зари, среди стольких острых краев книг, пачек и бумаженций, графиков и карт (и главная из них, с красными оспинами на чистой белой коже

леди Лондон, надзирает за всеми... *стоп*... кожная болезнь... *неужто* смертельную заразу носит она в себе? и точки ударов предопределены, а полет ракеты происходит из рокового нарыва, *дремлющего в самом городе*... но этого ему не осмыслить, как не понять одержимости Стрелмана инверсией звукового раздражителя, и пожалуйста, прошу вас, нельзя ли на секундочку эту тему бросить...), явилось, и он не знал, пока не прошло, сколь ясно видел ту честную половину своей жизни, коей теперь была Джессика, сколь фанатично Война, мать его, должна порицать ее красоту, ее нахальное безразличие к тем учреждениям смерти, в какие он еще недавно сам верил, – ее невозмутимую надежду (пусть и ненавидела она строить планы), ее изгнание из детства (пусть и неизменно отказывалась она держаться за воспоминанья)...

Его жизнь была привязана к прошлому. Себя он видел некоей точкой наступающего волнового фронта, что распространяется по стерильной истории: известное прошлое, проецируемое будущее. А Джессика – разлом волны. Вдруг возникает пляж, непредсказуемое... новая жизнь. Прошлое и будущее на берегу остановились: вот как он бы это изложил. Но и верить ему хотелось – так же, как любил ее, мимо всех слов, – верить, что сколь ни плохи времена, ничто не закреплено, все можно поменять и она всегда сумеет отвергнуть темное море у него за спиной, отлюбить его прочь. И (эгоистично) что от мрачного юноши, плотно укоренившегося в Смерти – решившего со Смертью прокатиться, – с Джессикой он сможет отыскать путь к жизни и к радости. Он ей никогда не говорил, старался не говорить и себе, но такова была мера его веры, когда седьмое Рождество Войны – раз-цвай-драй – накатило еще одной атакой на его костлявый дрожащий фланг...

Она суетливо спотыкается по всей общаге, сшибает у других девчонок покурки затхлой «Жимолости», наборы для пайки нейлоновых чулок, военные шуточки, что сойдут за сочувствие, – веселенькие, как у лондонских живчиков. Сегодня вечером она будет с Джереми, со своим лейтенантом, но хочет быть с Роджером. Вот только на самом деле – не хочет. Правда? Она уж и не помнит, когда в последний раз – цвай-драй – была в таком смятении. Когда она с Роджером, у них сплошь любовь, но если вдалеке – на *любом* расстоянии, парень, – она ловит себя на том, что он ее угнетает и даже пугает. Почему? На нем в дикие ночи, скача вверх-вниз его хуй ее ось, сама пытаясь не размякнуть, чтобы не стечь сливочным свечным воском и не отпасть, тая, на покрывало, кончая, место есть только для *Роджер, Роджер, ох любимый* до скончанья выдоха. А вне постели, блуждая-болтая, его горечь, его смурь уходят вглубь дальше Войны, зимы; он так ненавидит Англию, ненавидит «Систему», бесконечно ворчит, говорит, что эмигрирует, когда Война закончится, не кажет носа из своей пещеры бумажного циника, ненавидит себя... и хочется ли ей вообще-то вытаскивать его? Не надежней ли с Джереми? Она пытается не допускать этого вопроса слишком часто, но он есть. Три года с Джереми. Как будто женаты. Должны же три года что-то значить. Каждодневно мелкие стежки и припуски. Она носила старые халаты Бобра, заваривала ему чай и кофе, искала его глазами на стоянках грузовиков, в комнатах отдыха и на раскисших полях под дождем, когда все мерзкие, тягостные потери дня можно спасти одним взглядом – знакомым, доверчивым, в то время года, когда слово заговаривается изящества ради либо чтоб маленько посмеяться. И все это выдрать? три года? ради ветреного, самовлюбленного... да просто *мальчишки*. Ёлки, ему уже за тридцать должно быть, он намного ее старше. Наверняка же должен был *чему-то* научиться? Матерый мужчина?

Хуже всего, что ей не с кем поговорить. Вся политика этой смешанной батареи, профессиональный инцест, нездоровая одержимость тем, кто что кому сказал весной 1942, господи боже, года под Графти-Грин, Кент, или еще где, и кто что кому должен был ответить, но не ответил и сказал что-то кому-то еще, тем самым разжегши ненависть, которая чудесно доцвела до сегодняшнего дня, – после шести лет клеветы, честолюбия и истерии поверяться здесь кому угодно в чем угодно – акт чистейшего мазохизма.

– У девушки стресс, Джесс? – Мэгги Дюнкерк уже в дверях, поправляет перчатки с крагами. По «Танною» свинг-оркестр Би-би-си ревет жарко синкопированную рождественскую музыку.

– Есть сигаретка, детка? – это уже почти на автомате выходит, как на развес, Джесс?

Ну...

– Думала, тут у нас Гарбо в дурацком кино, а не обычное никотиновое голодание, прости опять ошиблась, па-ка...

Ох да иди уже.

– Думаю вот себе про закупки к Рождеству.

– И что Бобру тогда подаришь.

Сосредоточившись на пристегивании нейлонок к подвязкам, пары постарше, кверху-внутри-кпереди-книзу-внутри-назад мнемонически шевелится складками в пальцах, прачечно-белая приспособленная эластика растягивается уже прекрасно и касательно к мягкому переднему изгибу ее бедра, зажимы пажей поблескивают серебром под или за ее лакированными красными ногтями, проскальзывают далекими фонтанами за красными фигурными деревьями, Джессика отвечает:

– А. М-м. Трубку, пожалуй...

Однажды ночью около ее батареи, проезжая Где-То в Кенте, Роджер и Джессика наткнулись на церковь, кочку на темной возвышенности, лампадносветлую, растущую из земли. Воскресенье к концу, скоро вечерня. Мужчины в шинелях, клеенчатых дождевиках, в темных беретах, которые они стаскивали на входе, американские летчики в коже, отороченной овчиной, несколько женщин в звонких сапогах и широкоплечих свободных пальто, но без детей, ни единого ребенка не видать, только взрослые, трюхают со своих бомбардировочных полей, стоянок аэростатов, дотов на берегу – и сквозь норманнскую арку, косматую от морозостойких лиан. Джессика сказала:

– Ой, я помню... – но не закончила. Она вспоминала другие Рождественские посты, изгороди за окном, заснеженные, как овцы, и Звезду, какую скоро можно вновь приклеить к небесам.

Роджер съехал на обочину, и они стали смотреть, как потертые мышастые военные шаркают к вечерне. Ветер пах свежим снегом.

– Домой пора, – сказала она немного погодя, – уже поздно.

– Может, заскочим сюда ненадолго?

Ого, вот *это* ей уже удивительно, ну ей-бо – столько недель ехидничал, и тут на тебе? Его досада неверующего на остальных в Отделе Пси, которые, по его мнению, и без того намеревались сдвинуть его по фазе, и его скруженность, возраставшая по мере того, как дней на рождественские покупки оставалось все меньше...

– Ты же вроде не из этих, – сказала ему она.

Но ей хотелось войти, в сегодняшнем снежном небе густа ностальгия, голос Джессики готов уже предать ее и сбежать к рождественским певцам, чьи гимны мы так склонны слышать нынче вдаль, эти дни Рождественского поста один за другим отпадают, голоса пищат по-над замерзшими холмами, где высеянные мины обильны, аки в пудинге изюм... частенько поверх таянья снегов ветра, кои должны дуть не сквозь рождественский воздух, но через густоту самого времени, доносили к ней те детские голоса, что поют за шесть пенсов, и если сердце ее не готово было вместить все напряжения ее смертности, а также их смертности, по крайней мере, оставался страх, что она вот-вот – и потеряет их: однажды зимой выскочит посмотреть, поискать, добежит до калитки, до самых деревьев, но тщетно, голоса их уже угаснут...

Они прошли по следам всех остальных в снегу, она – степенно повиснув на его локте, ветер порывами путал ей волосы, каблучки один раз на льду поскользнулись.

– Послушать музыку, – объяснил он.

Сегодняшний сборный хор весь мужской, в широких горловинах белых одежд видны погоны на плечах, и многие лица почти так же белы, измождены мокрыми и раскисшими полями, ночными караулами, тросами, гудящими от нервных аэростатов, что ловят рыбу-солнце в облаках, палатками, где внутренние лампы ядерно сияют в сумерках, словно души, сквозь сетчатые стены, превращая брезент в тонкую марлю, а ветер туда барабанит. Однако было и одно черное лицо – контратенор, капрал с Ямайки, перемещенный со своего теплого острова сюда – от пения все детство по ромово-дымным салунам Хай-Холборн-стрит, где моряки швыряли гигантские красные фейерверки – четверть палки динамита, кореш, – в распашные двери и перебежали, давясь от хохота, через дорогу, либо выгуливали девчонок в коротеньких юбках, с острова девчонок, китайнок и француженок... лимонные корки, раздавленные в уличных канавах, ароматизировали ранние утра там, где он пел раньше: О вы не видели моей Лолы с фигуркой, как бутылка кока-колы, – а моряки бегали взад-вперед в бурых тенях переулков, трепеща шейными платками и штанинами, и девчонки перешептывались и смеялись... всякое утро он выгребал полкармана мелочи всех стран. Из пальмового Кингстона прихотливые нужды Англо-американской империи (1939–1945) привели его в эту холодную церковь полевых мышей, откуда почти слышно северное море, которое на переходе он едва заметил, к последней службе, сегодняшняя вечерняя программа – простой распев по-английски, то и дело уходит в полифонию – Томас Таллис, Генри Пёрселл, даже немецкая макароника пятнадцатого века, что приписывается Генриху Сузо:

*In dulci jubilo*  
 Nun singet und seid froh!  
 Unsers Herzens Wonne  
 Leit in *praesipio*,  
 Leuchtet vor die Sonne  
*Matris in gremio*.  
*Alpha et es O*<sup>64</sup>.

С высоким голосом черного, несшимся над остальными, – тут он не головной фальцет, но полный голос, из честной груди, – баритон, доведенный до этого диапазона годами тайных репетиций... от него смуглые девчонки завиляют задом среди этих нервных протестантов по древним тропам, проложенным музыкой, Аниты Большая и Маленькая, Шпилька Мэй, Плонжетка, которой нравится, когда между сиськами, и если так, то пойдет с тобой забесплатно, – не говоря уж про латынь, про *немецкий*? в английской-то церкви? Это не столько ереси, сколько имперские, неизбежные, как присутствие черного, последствия актов мелкого сюрреализма – кои, взятые в массе своей, суть акт самоубийства, но в патологии своей, в негрязящей версии реальности Империя совершает их каждый день тысячами, совершенно не соображая, что делает... Поэтому чистый контратенор взлетал и парил, отыскивая способ поплавам вытолкнуть на поверхность сердце Джессики и даже Роджера, догадывалась она, рискуя глянуть ему в лицо искоса и снизу сквозь русые призраки своих волос на речитативах и затуханиях. Похоже, никакого нигилизма, даже дешевого. Он...

Нет, Джессика никогда не видела у него такого лица – при свете висящих масляных лампад, чьи огоньки неугасимы и очень желты, у ближайшей два долгих отпечатка пальцев служителя тонкой пыльцой «V-это-победа» на пузатом стекле, кожа Роджера больше детски-розовая, глаза ярче пылают – такое не спишешь на один только лампадный свет, не правда ль?

<sup>64</sup> В сладком ликовании Давайте воспоем его — Радость сердца нашего, Он лежит в яслях И сияет солнцем у Мадонны на руках, Начало и конец всего (лат., нем.).

или ей хочется, чтобы так было? В церкви холодно, как в ночи снаружи. Пахнет влажной шерстью, горьким пивом дышат эти профессионалы, свечным дымом и тающим воском пахнет, подавляемым пердежом, средством для укрепления волос, собственно горящим маслом, что охватывает по-матерински все прочие ароматы, теснее льнет к Земле, к глубоким слоям, иным временам, и послушай... послушай: это вечерня Войны, канонические часы войны, а ночь подлинна. Черные шинели сбиваются вместе, в пустых башлыках полно плотных, внутрицерковных теней. Где-то на побережье допоздна работают «ЖаВОронки» – в холодных и выпотрошенных раковинах, их голубые факелы – новорожденные звезды в приливном вечере. В небе огромными железными листьями раскачивается корпусная сталь – на тросах, что поскрипывают щепками звука. По стойке вольно, в боевой готовности язычки факельного пламени, смягчившись, абрикосовым светом заливают круглое стекло часовых ликов. В сараях водопроводчиков обросли сосульками, дребезжат, когда в Проливе шквалы, – вот вам тысячи старых использованных тюбиков от зубной пасты, часто навалены аж до потолка, тысячи хмурых человеко-утр – уже сносные, преобразовавшиеся в мятные пары и гнетущую песенку, что оставила белые крапинки по ртутным зеркалам от Харроу до Грейвсенда, тысячи детишек, которые толкли пену в мягких ступках ртов, с легкостью теряли в меловых пузырьках в тысячу раз больше слов – жалоб на то, что пора спать, робких признаний в любви, известий о жирных или полупрозрачных, пушистых или ласковых существах из страны под покрывалом, – бессчетные мыльно-лакричные мгновенья выплюнуты и смыты в канализацию, в медленно покрывающуюся пеной серое устье, утренние рты зарастают дневным табаком и рыбным мехом, сушатся страхом, пачкаются бездельем, затопляются при мысли о невозможных трапезах, вместо коих удовлетворяются недельной требухой в пирогах, «Молоком хозяйственным», ломаными галетами за половину ненормированных талонов, и какое же изумительное изобретение ментол, по утрам как раз снимает всю эту мерзость сколько надо, она смыта и становится пыльными ненормально огромными пузырями, что мозаикой прочно и застоино расходятся между гудронными берегами, в причудливых чертежах сливов, размножаются до самого моря, а эти старые тюбики один за другим опустошаются и возвращаются Войне, кучи смутно ароматного металла, фантомы перечной мяты в зимних сараях, и каждый тюбик сморщен или вылеплен бессознательными руками Лондона, записан поверх интерферограммами, рука против руки, они уже ждут – вот подлинная дорога назад, – когда их распустят на припой, на пластины, сплавят в литье, в подшипники, в сальники, в сокрытые дымовизжающие тормозные накладки, коих дети того, другого, домашнего воплощения никогда не увидят. Однако преемственность – от плоти к родственным металлам, от дома к безоградному морю – выстояла. Не смерть разъединяет эти воплощенья, но бумага: особенности бумаги, поведение бумаги. Война, Империя возведут такие барьеры меж нашими жизнями. Войне нужно этак делить, а затем подразделять еще, хотя ее пропаганда всегда будет упираться на единство, альянс, дружную работу. Война, похоже, не хочет народного сознания – даже такого, что сконструировали немцы, *ein Volk ein Führer*<sup>65</sup>, – ей подавай машину из множества отдельных частей, не единость, а сложноставность... Но кто тут осмелится предположить, *чего* хочет Война, так она огромна и равнодушна... так *отсутствующая*. Быть может, Война – даже не осознание, да и вообще не жизнь. Возможно лишь грубое, случайное подобие жизни. В «Белом явлении» есть, знаете ли, один давний шиз, который считает, будто *он-то* и есть Вторая мировая война. Не выписывает газет, отказывается слушать радио, но все равно – в тот день, когда началась высадка в Нормандии, температура у него отчего-то подскочила до 104°<sup>66</sup>. Теперь же, когда клещи с востока и запада продолжают медленно рефлекторно сжиматься, он говорит, что в разум его вторгается тьма,

<sup>65</sup> Один народ, один вождь (*нем.*).

<sup>66</sup> 40 °С.

об истощении «я» говорит... Правда, наступление Рундштедта его несколько взбудрило, эдак вдохновило...

– Прекрасный рождественский подарок, – признался он ординатору своей палаты, – время рожденья, время новых начал.

Когда б ни падали ракеты – те, что слышны, – он улыбается, отправляется мерить шагами палату, слезы вот-вот брызнут из уголков веселых глаз, он захвачен чертовски высоким тоном, который не может не подбадривать собратьев-пациентов. Дни его сочтены. Ему суждено умереть в День победы в Европе. Если на самом деле он и не Война, то ее суррогатное дитя, некоторое время живет на широкую ногу, но ритуальный день настанет – и тогда берегись. Истинный царь умирает лишь мнимой смертью. Помните. Сколько б юношей ни было избрано умереть вместо него, настоящий царь, старый гадский лис, пыхтит себе дальше. Явится ли он под Звездой, лукаво преклонив колена с другими царями, когда на носу у нас это зимнее солнцестояние? Принесет ли в караван-сарай дары вольфрама, кордита, высокооктанового бензина? И тогда оставит ли дитя взор со своей подстилки из золотой соломы, воззрится ль в глаза старому царю, что гнется долго, развертываясь, над головой, клонится вручить свой дар, встретятся ль их глаза, и что за сообщение, что за возможное приветствие либо соглашение проистечет меж царем и царственным младенцем? Улыбается ли дитя, или это просто газы? А вам как угодно?

Рождественский пост надувает от моря, что сегодня на закате сияло зелено и гладко, как железистое стекло; надувает его нам ежедневно, все небо сверху чреватое стройными трубами вестников и святыми. Еще год свадебных нарядов, позаброшенных в сердцевине зимы, так и не пригодившихся, висят ныне тихими атласными рядами, бело-мятые вуали начали желтеть, колышутся слегка, лишь когда ты проходишь мимо, зритель... гость города во всех тупиках... Разок-другой углядел в платьях свое отраженье, на полпути от тени, лишь смазанные телесные оттенки по *peau de soie*<sup>67</sup>, толкает тебя туда, где унюхаешь первое кошмарное касанье плесени, что и было задумано – благовоспитанными пудрой и мылом замести все следы ее собственного запаха, потеющей будущей невесты из среднего сословия. Но она девственница в душе, в надеждах своих. Никакого тебе тут ярко-швейцарского, никакого хрустально-прозрачного времени года – угрюмо вздымается тучами днем, а снег падает мантиями на окрестности, платьями зимы падает, по ночам нежный, едва ль не безветренное дыхание вокруг тебя. По городским вокзалам пленные вернулись из Индокитая, скитают свои бедные зримые косточки, легкие, как сновидцы или люди на луне, среди хромо-пружинных колясок из черной шкуры, звучной, как кожа на барабане, среди высоких детских стульчиков светлого дерева, розовых и голубых, с заляпанной кашей и соскобленными цветочными переводилками, среди складных кроваток и медвежат с красными фетровыми язычками, детских одеялок, от которых в паровой и угольной вони, в металлических зазорах – ярко-пастельные облака, среди тех, кто в очередях, кого несет теченьем, кто сторожко дремлет, приехав сотнями на праздники, несмотря на предупреждения, на суровость мистера Моррисона, на то, что подземку в трубе под рекой вот сейчас может пробить германская ракета – даже сейчас, когда запечатлеваются эти слова, – на те пустоты, какие, быть может, их ждут, на те городские адреса, каких наверняка больше нет. Глаза из Бирмы, из Тонкина наблюдают за этими женщинами в их сотне страстотерпий – плятятся из посинелых орбит, сквозь головные боли, которых не утишить никаким аласилом. Итальянские В/П<sup>68</sup> матерятся под мешками с почтой, что пыхтят, отзвывают теперь уже каждый час в сезонном наплыве, забивают заснеженные составы, подобно грибам, словно поезда всю ночь провели под землей, где шли странною мертвых. Если итальяшки эти нынче и поют, то можно

---

<sup>67</sup> Шелковая шкурка (*фр.*).

<sup>68</sup> Военнопленные.

спорить: не «Giovinezza»<sup>69</sup>, а что-нибудь, вероятно, из «Риголетто» или «Богемы», – вообще-то Министерство почт рассматривает выпуск списка Неприемлемых Песен с аккордами для укулеле, чтобы легче было распознавать. Бодрость их и мелодичность, этой шайки-лейки, до некоторой степени непритворны – но копятя дни, эта оргия рождественских поздравлений каждоденно превышает все полезные для здоровья пределы, и ничто, судя по всему, не сдержит ее до самого Дня подарков, а потому они сами начинают довольствоваться более профессиональной итальянскостью, временами давят косяка на эвакуированных дамочек, изобретают способы удерживать мешок одной рукой, пока другая прикидывается «мертвой» – *cioè*<sup>70</sup> условно живой, – там, где толпы сгущаются женщинами, бесцельно... ну, в общем, где больше светит. Жизнь должна продолжаться. Это признают оба вида военнопленных, только для англичан, вернувшихся с КБИ<sup>71</sup>, нет никакой *mano morta*<sup>72</sup>, нет скачка от мертвого к живому просто от дозволенности подвернувшейся ляжки или ягодицы – никаких, ради всего святого, *игрушек* с жизнью-и-смертью! Никаких больше приключений им не надо – лишь бы старуха шурудила у старой печки да грела старую постель, да крикетисты зимой собирались, им подавай дремоту палой листвы в иссохшем садике по воскресеньям с соседями за стенкой. Коли случится и дивный новый мир – как-то с неба свалится, – ну так и к нему наверняка достанет времени приспособиться... А на этой неделе им хочется почти что послевоенной роскоши – купить электрическую железную дорогу для пацана и тем попробовать каждому зажечь свою гирлянду блестящих личиков, откалибровать свою странность, всё известно по фотографиям, теперь ожившим, охи и ахи, но еще не теперь, не на вокзале, никаких насыщенных телодвижений: Война перевела их на запасные пути, заземлила эти безмысленные смертоносные сигнальные системы любви. Дети развернули прошлогодние игрушки и обнаружили перерожденные банки из-под «Спама», они врубаются, что это может оказаться обратной и, кто знает, неизбежной стороной рождественской игры. В прошедшие месяцы – сельские весны и лета – они играли с настоящими банками «Спама»: танками, самоходками, дотами, дредноутами, – развешивали мясное, розовое, желтое и голубое на пыльных полах чуланов и кладовок, под койками или кушетками своего изгнания. Ныне время настало вновь. Гипсовый пупсик, рогатый скот, припорошенный сусальным золотом, и овцы с человеческими глазами вновь обернутся настоящими, краска оживает плотью. Верой они не платят – та происходит сама собой. Он – Новый Младенец. В волшебный вечер накануне звери заговорят, а небо станет молоком. Бабушки-дедушки, что раньше каждую неделю ждали, когда Радио-Доктор спросит: Что Такое Геморрой? Что Такое Эмфизема? Что Такое Сердечный Приступ? – теперь засидятся и за бессонницу, вновь наблюдая, как не случится ежегодно-невозможное, однако гадкий осадочек останется: *вот* же склон холма, небо же *способно* явить нам свет, – как нервный трепет, как оттяг, которого слишком хотелось, не вполне проигрыш, но все равно до чуда сильно недотягивает... стоят свои ночные службы в свитерах и теплых платках, нарочито огорченные, но осадочек внутри каждый год претерпевает новую зимнюю ферментацию, всякий раз – чуть меньше, однако хватает на возрождение в это время года... Теперь все чуть ли не голышом, блестящие костюмы и вечерние платья из лучших времен шатанья по пабам давно подраны на лоскуты для теплоизоляции труб с горячей водой и хозяйских нагревателей, для чужих людей, для того, чтобы личности домов выстояли против зимы. Войне подавай уголь. Они уже приняли едва ли не последние меры, Радио-Доктор раздал свидетельства того, что им известно про собственные тела, и к Рождеству они уже голые, как ощипанные гуси, под этими толстыми, мрачными, дешевыми свивальниками старичья. Их электрические часы спешат, даже Большой Бен теперь будет спешить, пока

<sup>69</sup> «Юность» (*ит.*).

<sup>70</sup> То есть (*ит.*).

<sup>71</sup> Театр военных действий Китай-Бирма-Индия.

<sup>72</sup> Мертвая рука (*ит.*).

не вбежит новая весна, все торопится, и, видимо, никому больше этого не понять, да и заботы нет. Войне подавай электричество. Это энергичная игра, «Электрическая монополия» – в нее играют производители электричества, Центральное электроэнергетическое управление и прочие военные ведомства, дабы Время Энергетической Системы не рассинхронизировалось с Гринвичским Средним. По ночам, в глубочайших бетонных колодцах ночи динамо-машины, чье местоположение засекречено, вращаются быстрее – как и, стало быть, на них откликаясь, часовые стрелки подле старых бессонных глаз, набирая минуты, воют, забирая все выше, к головокружению сирены. Это Ночь Безумного Карнавала. Под сенью минутных стрелок – веселье. В бледных ликах меж цифр – истерия. Производители энергии говорят о нагрузках, военных оттоках столь огромных, что часы вновь замедлятся, если не красть этот ночной маршбросок, однако ежедневно ожидаемых нагрузок не происходит, и Энергосистема потихоньку разгоняется, а стариковские лица обращаются к часовым лицам, думая: *заговор*, – и числа вихрем несутся к Рождеству, к насилию, к новой звезде сердца, какая обратит всех нас, навеки нас преобразует в сами забытые корни того, кто мы есть. Однако сегодня над морем туман – по-прежнему тихая жемчужина меж створками гребешка. А в городе потрескивают дуговые лампы, в ярости, придушенным сияньем вдоль уличных осевых линий, такие ледяные, что и не свечи, такие остужено-запотевшие, что и не холокост... высокие красные автобусы покачивает, все фары их, по новым правилам не затемненные, скрещиваются, парируют, тычут и слепят, мимо сдувает огромные, пятерней выдранные ключья влаги, заброшенные, как под перламутровым туманом пляжи, чья колючая проволока, что никогда не ведала внутреннего жала тока и лишь пассивно лежала, окисляясь в ночи, теперь вьется подводной травой, кольцами, ожесточенно холодная, острая, точно скорпион, все бесследные мили песков мимо былых яхт, оставленных в последних мирных годах, какие некогда прожигали в отпусках весь старый свет, винные, и оливково-рощевые, дымотрубочные вечера прожигали, по другую сторону Войны, а ныне ободраны до ржавых осей и скоб и внутри смердят тем же рассолом, что и этот пляж, по которому теперь не пройдешь, потому что Война. А перевалишь холмы, за прожектора – по осени из ночи в ночь всякий луч забивали перелетные птицы, налипали смертельно, пока не падали, изможденные, с небес градом мертвых птиц, – сидят в нетопленной церкви на последней службе прихожане, дрожат, безголосые, когда хор спрашивает их: где радости? Где ж еще, как не там, где Ангелы поют новые песни и колокола звонят при дворе Царя. *Eia* – странный тысячелетний вздох – *eia, wärm wir da!* кабы нам туда... Усталые люди и черный их вожак с бубенчиком тянутся, как только можно, как можно дальше от овечьих шкур, на сколько год позволит им отбиться от стада. Ну пойдем, что ли. Оставь пока эту свою войну, бумажную или железную, войну топливную или плотскую, входи со своей любовью, со страхом проиграть, с усталостью своею. Весь день на тебя наскакивало, вынуждало, приставало, требовало твоей веры во столько всяких неправд. И впрямь ты ли это, смутно преступное одномерное лицо на удостоверении личности, чью душу умыкнула казенная фотокамера, когда упала гильотина затвора, – или же душа осталась вместе с сердцем твоим в Столовке «Служебный вход», где считают ночной улов девушки из Военторга, девушки по имени Эйлин, тщательно сортируя по охлаждаемым ячейкам на ощупь вроде как резиновые буро-малиновые органы с их желтыми рюшами жира – ой, Линда, поди-к суда, пощупай, сунь пальчик в желудочек, аж голова кругом, еще *бьется*... Тут замешаны все, кого бы ни за что не заподозрил, все, кроме тебя: капеллан, врач, твоя мамочка, коя надеется повесить эту «Золотую звезду», пресное сопрано вчера вечером в программе «Внутреннего вещания», и не забудем мистера Ноэла Кауарда, такого стильненького, хорошенького, когда речь идет о смерти и жизни после нее, на него в «Герцогиню» народ валом валит четвертый год подряд, парни из Голливуда нам поют, как у нас тут все роскошно, как весело, Уолт Дисней заставляет слоненка Дамбо цепляться за перышко – подобно скольким трупам сегодня вечером под снегом среди выкрашенных белым танков, по сколько рук каждый отморозил, хватаясь за Чудотворную Медаль – талисман из стертой кости

на счастье, полдоллара с ухмыльчивым солнышком, проглядывающим из-под дымчатой мантии Свободы, – бездумно цепляясь, когда прилетел 88-й: ты что думаешь, это детская сказочка? Нет таких. Все детки где-то видят сны, только в Империи нет места грезам, сегодня вечером тут Только Для Взрослых, в этом убежище, где догорают лампы, в докембрийском испарении, аппетитном, как еда на плите, густом, как копоть. А в 60 милях выше ракеты зависают на неизмеримый миг над черным Северным морем перед паденьем, все быстрее, к оранжевому жару, Рождественская звезда в беспомощном нырке к Земле. Ниже на небеси летучие бомбы тоже взошли, ревут, что Враг Рода Человеческого, ища, кого бы пожрать. Домой идти сегодня вечером долгонько будет. Послушай, как поет этот липовый ангел, причастишься хоть, послушав, пусть даже они и не выражают в точности твои надежды, в точности твой мрачайший ужас, все равно послушай. Вечерня тут наверняка была и задолго до вестей о Христе. Уж точно столько, сколько было таких же паршивых ночей, – то, от чего возникает вероятие другой ночи, что поистине сможет любовью и криком петуха осветить тропу к дому, изгнать Врага, уничтожить границы меж нашими землями, нашими телами, нашими историями, где всё – ложь про то, кто мы есть; сколько длилась единственная ночь, от которой остаются лишь чистый путь домой да память о том младенце, которого видел, таком хрупоньком, что дальше некуда, на этих улицах говна чересчур много, снаружи тяжко ворочаются верблюды и прочая скотина, любое копыто – возможность прикончить младенца, превратить в еще одного Мессию, не более того, и наверняка уже кто-нибудь тут принимает на это ставки, а в самом городке тем временем еврейские коллаборационисты всю продают полезные слухи Имперской Разведке, и местные шлюхи счастливят необрезанных пришлецов, беря с них сколько можно, лишь бы только не перебить торговлю, как и трактирщики, которые, само собой, в восторге от всей этой придумки с регистрацией, а в столице ума не приложат, может, ну как-то, *номера* всем присвоить, ага, чего-нибудь такое, чтоб Канцелярии *SPQR*<sup>73</sup> было полегче... и Ирод или Гитлер, мужики (а капелланы на Выступе – мужественные, изнуренные, матерые пьянчуги), но что это за мир такой («Забыли Рузвельта, падре», – доносятся голоса из задних рядов, добрый пастырь никогда не может их разглядеть, они его травят, эти искусители, даже во сне: «Уэнделл Уиллки!» «Может, Черчилль?» «Арри Поллитт!») для младенца, который налегает на эти «Толедо» своими 7 фунтами 8 унциями, полагая, что сумеет мир сей искупить, да ему голову лечить надо...

Однако сегодня по дороге домой жалеешь, что не приглубил его, не потетешкал чуточку. Подержал бы просто близко к сердцу, чтобы щекой тебе в выемку ключицы, весь сонный. Словно б ты сам мог его как-то спасти. Всего миг не заботясь, в каком качестве зарегистрирован. Хотя бы на миг – не тот, кем тебя объявили Цезари.

*O Jesu parvule,  
Nach dir ist mir so weh...*<sup>74</sup>

И вот вся эта съемная компания, изгнанники эти и ебливые пацаны, угрюмые гражданские, призванные под старость, мужики, жиреющие, несмотря на голодуху, из-за нее же страдающие газами, предъязвенники, осипшие, сопливые, красноглазые, с больным горлом и раздутым мочевым пузырем люди, у которых очень ломит поясницу и бодуны на весь день, люди, желающие смерти воистину ненавистным офицерам, люди, виденные в городах в пешем строю и без улыбок, но забытые и тебя не помнящие, знают, что лучше бы поспать капельку, а не выделяться тут перед чужими, но дарят тебе эту вечерню; вот они доходят до высшей точки с ее парящим фрагментом некоей древней гаммы, голоса перекрываются по три, по четыре, выше, эхом, наполняя всю полость церкви, – никаких липовых младенцев, никаких провозгла-

<sup>73</sup> Офиц. сокр. от *Senatus populusque Romanus* – сенат и народ римский (*лат.*).

<sup>74</sup> О крошка Иисус, Я за тебя боюсь... (*лат., нем.*).

шений Царства, даже попыток согреть или разжечь эту кошмарную ночь нет, только, черт бы нас побрал, этот наш тихонький и неряшливый обязательный вопль, наш предельный порыв наружу – *благословен Господь!* – и ты унесешь его с собой по адресу полевой почты, для своей военной личины, поперек следов ног и шин в снегу наконец-то к той тропе, что должен проторить сам, один и в темноте. Хочешь ты этого или нет, какие бы моря ни переплыл – по пути домой...

\* \* \*

Парадоксальная фаза: раздражитель слабый, а реакции сильные... Когда случилось? Некая ранняя стадия сна: не слышал сегодня ни «москито», ни «ланкастеров», что направлялись в Германию, раздирая небо на куски, добрый час сотрясали его и колошматили, редкие клубы зимнего облака дрейфовали под заклепанным сталью исподом ночи – вибрация непреклонности, ужас многих, многих бомбардировщиков, устремляющихся вовне. Твоя же тушка недвижна, дышит ртом, одинока, навзничь на узкой койке у стены – ни картин, ни графиков, ни карт: так *привычно пусто*... Ступни указывали на высокую щель окна в дальней стене. Звездный свет, ровный рев отбытия бомбардировщиков, внутрь сочился ледяной воздух. Стол завален книгами, сломанными в корешках, нацарапанными таблицами, озаглавленными «Время / Раздражитель / Секретия (30 сек) / Примечания», чайными чашками, блюдцами, карандашами, ручками. Спал – грезил: в тысячах футов над твоей физией волна за волной летели стальные бомбардировщики. В помещении, в каком-то громадном зале собраний. Куча людей. В последние дни, в определенные часы круглый белый свет, довольно яркий, по прямой скользил в воздухе. И тут вдруг он появляется вновь, как обычно – линейным курсом, справа налево. Но на сей раз не постоянен – нет, он ослепительно вспыхивает краткими взрывами или же всплесками. На сей раз это явление собравшиеся полагают предостереженьем – что-то не то в сегодняшнем дне, радикально не то... Никто не знал, что означает круглый свет. Назначили комиссию, ведется расследование, ответ дразняще близок – но теперь поведение света переменялось... Объявлен перерыв. Видя, что свет вот так сбоит, начинаешь ждать какой-то жути – не совсем воздушного налета, но близко к тому. Бросаешь взгляд на часы. Ровно шесть, стрелки вытянулись идеально вверх и вниз, и ты понимаешь, что шесть – час, когда появляется свет. Выходишь наружу в вечер. Видишь улицу перед домом, где жил в детстве: каменистую, колеистую, растрескавшуюся, в лужах сияет вода. Идешь налево. (Обычно в этих снах о доме предпочитаешь окрестности справа – широкие ночные лужайки у подножья древних орохов, холм, деревянный забор, в поле кони с ввалившимися глазами, кладбище... Часто задача твоя в этих грезах – пройти – под деревьями, в тених, – пока что-нибудь не случилось. Часто идешь на пар прямо за кладбищем, там полно осенней ежевики и кроликов, там цыгане живут. Иногда летаешь. Но выше определенной высоты никак не подняться. Бывает, чувствуешь, как тебя замедляет, неумолимо тормозит: не острый ужас падения, лишь неотменимая препона... окрестности уже тускнеют... а ты *знаешь... что...*) Но сегодня вечером, в эти шесть часов круглого света, ты сворачиваешь влево. С тобой девчонка, обозначена как твоя жена, хотя ты никогда не был женат, никогда в жизни ее не видал, однако знаком с ней много лет. Она не раскрывает рта. Только что прошел дождь. Все мерцает, контуры предельно ясные, освещение приглушено и очень чисто. Куда ни глянь, торчат маленькие грозди белых цветов. Всё в цвету. Опять замечаешь круглый свет, что катится себе под уклон, кратко мигает – вкл-выкл. Вроде бы свежесть, недавно был дождь, цветочная жизнь, но от окружающего тебе тревожно. Пытаешься различить свежий аромат, согласующийся с картиной, – не выходит. Ни звуков, ни запахов. Раз свет так себя ведет, значит, что-то случится, и остается только ждать. Окрестности сияют. На тротуаре влага. Расправляя теплый такой башлык на загривке и плечах, уже хочешь заметить жене: «Это самый зловещий, самый синистральный вечерний час». Но нет,

другое слово, не «синистральный». Подбираешь слово. Чье-то имя. Оно ждет за сумерками, за ясностью, за белыми цветами. Вот свет стучится в дверь.

Ты рывком сел в постели, сердце колотилось от страха. Ждал повторенья – и тут заметил, что в небе стая бомбардировщиков. Опять стучат. Пришел Томас Гвенхидви, прибыл аж из Лондона с вестью о бедняге Спектро. Ты проспал оглушительные эскадрильи, что ревели без остановки, но тихонький, нерешительный стук Гвенхидви тебя разбудил. У Собаки в коре головного мозга что-то подобное творится в «парадоксальной» фазе.

А под свесами карнизов толпятся призраки. Растянулись среди снежных закопченных дымоходов, громыхают в вентиляционных шахтах, такие слабые, что самим не пошуметь, ныне сухие навеки в этих мокрых порывах, растягиваются и не лопаются, исхлестаны в стеклянистых лекалах стыков на крышах, вдоль серебристых холмов, скользят там, где в берег вмерзают морские гребни. Они собираются, день ото дня плотнее, английские призраки, сколько же их толчется ночами, воспоминанья выпущены в зиму, семена, что никогда не примутся, такие потерянные, нынче разве что словечко время от времени, подсказка живым:

– Лисы, – окликает Спектро<sup>э</sup> через астральные пространства, слово предназначено мистеру Стрелману, каковой отсутствует, каковому не сообщат, ибо те немногие из Отдела Пси, что сидят здесь и слышат, одеяемы таинственным мусором на всяком сеансе – если и запишут, слово осядет у Милтона Мракинга в проекте подсчета слов... – Лисы, – после полудня гудящее эхо, Кэрролл Эвентир, медиум, состоящий при «Белом явлении», кудряшки на голове густы и туги, произносит слово «Лисы» очень красными тонкими губами... спозаранку полгоспиталя Святой Вероники размазано и обескрышено, как Аббатство Фуй-Регис, размолото в снежную кашу, и бедный Спектро словил, его освещенная норка и темное отделение уравнились во взрыве, а он и не услышал, как она приближается, звук припоздал после взрыва, призрак ракеты зовет призраков, кои она только что сотворила. Потом тишина. Еще один «факт» Роджеру Мехико, круглоголовая булавка воткнется в его карту, квадрат ранжируется от двух до трех ударов, как раз подкрепит прогноз о трех, в последнее время что-то он запаздывает...

Булавка? и не булавка даже, а булавочный укол в бумаге, которую однажды сдерут – когда ракеты перестанут падать или молодой статистик решит бросить счет, – бумага, которую уборщицы уволочут, порвут, сожгут... Стрелман один, беспомощно чихает в своем гаснущем отделе, лай на псарне уже безжизнен и прибит холодом, трясет головою – *нет*... во мне, в моих воспоминаниях... не просто «факт»... общая наша смертность... эти трагические дни... Но теперь его колотит дрожь, он позволяет себе через весь кабинет взглянуть на Книгу, припомнить, что из первоначальных семи осталось лишь двое владельцев, он да Томас Гвенхидви, кто выхаживает своих бедняков аж за Степни. Пять призраков выстраиваются в явную эскалацию: Пумм – на джипе, авария, Остерлинга рано забрал налет люфтваффе, Дромона – германская артиллерия на Обстрельном углу, Фонарера – «жужелица», а теперь Кевин Спектро... авто, бомба, пушка, V-1, а теперь V-2, и Стрелман ничего не чувствует, кроме ужаса, кожа ноет везде, ибо изошренность нарастает, ибо тут, видимо, подразумевается диалектика...

– Ага, ну да. Проклятие мумии, идиот. Господи, господи, да мне уже в Крыло Д пора.

Ну вот, а Крыло Д – это крыша «Белого явления», там до сих пор содержатся пара-тройка настоящих пациентов. Мало кто из ПИСКУС к нему приближается. Костяку нормального больницы персонала полагается своя столовка, сортиры, квартиры, кабинеты – работают, как при старом мире, терпят промеж себя Этих Других. А ПИСКУС, со своей стороны, терпит садик или мирное безумие Крыла Д, лишь изредка находя возможность обменяться данными о лечении или симптомах. Ну да, вроде как ожидаешь связей потеснее. Истерия – это же, в конце концов, – не так, что ли? – истерия. Ан нет, выясняется, что не так. Как убеждать себя подолгу, что превращение это легитимно и естественно? От таких мелких, таких домашних

заговоров, от змеи, свернувшейся в чайной чашке, от обездвиженной руки или взгляда, отведенного при словах, *словах*, которые настолько пугают, – к тому, что Спектро каждодневно видел в своем отделении, ныне уничтоженном... к тому, что Стрелман видит в Собаках Петре, Наташе, Николае, Сергее, Катеньке – или в Павле Сергеевиче, Варваре Николаевне, и их детях, и... Когда оно так ясно читается в лицах врачей... Гвенхидви в своей пушистой бороде не бывает равнодушен, как ему бы хотелось, Спектро сбивается с ног, несет шприц для Лиса, но на самом деле ничто не прекратит Абреакцию Повелителя Ночи, пока не прекратят Блиц, не демонтируют ракеты, все кино не прокрутят назад: выбеленная кожа – обратно в листовую сталь, в чугунные чушки, в белое каление, в руду, в Землю. Однако реальность необратима. Всякое соцветье огня, за коим следует взрыв, а затем рев прибытия, – насмешка (и разве может быть, что нечаянная?) над обратимым процессом: всякий раз Повелитель узаконивает свое Государство, и мы, кто не в силах его найти, даже увидеть, уже думаем о смерти не чаще, если честно, нежели раньше... и, без предупреждения об их прибытии, не в состоянии их сбить, притворяемся, будто живем, как в безблицые времена. Когда оно происходит, нам довольно обозвать это «случайностью». Или же нам внушили. Да, есть уровни, где случайность вообще едва признаётся. Но для какого-нибудь Роджера Мехико это – музыка, не лишенная величия, этот степенной ряд,

$$Ne^{-m} \left( 1 + m + \frac{m^2}{2!} + \frac{m^3}{3!} + \dots + \frac{m^{n-1}}{(n-1)!} \right)$$

элементы нумерованы в соответствии с падениями ракет на квадрат, Пуассоново распределение правит не только этими уничтожениями, которых никому не избежать, но равно несчастными случаями в кавалерии, анализами крови, радиоактивным распадом, числом войн в год...

Стрелман замер у окна, его смутно отраженное лицо продуваемо снегом, гонимым снарядом в темнеющем дне. Далеко за холмами плачет паровозный свисток, шершавый, как поздний туман: петушиная зорька — — —, долгий свисток, опять крик, огонь у путей, ракета, еще ракета, в лесах иль долинах...

Ну, в общем... Отчего б тогда *не* отречься от Книги, Нед, плюнуть и все, устаревшие данные, редкие поэтические мгновенья Учителя, это же бумага, делов-то, на кой тебе и Книга, и ее страшное проклятие... пока не поздно... Да, откажись, попресмыкайся – ой, великолепно – только вот перед кем? Кто слушает? Однако он снова подходит к столу и прямо-таки возлагает на нее руки...

– Болван. Суеверный *болван*.

Бродит, пустоголовый... такие эпизоды теперь наваливаются чаще. Его закат подкрадывается, как простуда. Пумм, Остерлинг, Дромон, Фонарер, Спектро... вот что надо было сделать, сходить в Отдел Пси, попросить Эвентира учинить сеанс, хоть до кого-то попробовать достучаться... может быть... да... Что его удерживает?

– Неужто я, – снова шепчет он в стекло, с придыханием, последние взрывные согласные затуманивают холодное окно веерами дыхания, теплого, безутешного дыхания, – так горд?

Никак невозможно, *ему* невозможно пройти по этому вот коридору, и намекнуть невозможно, даже Мехико, как ему их не хватает... хотя он был едва знаком с Дромоном или Остерлингом... но... не хватает Аллена Фонарера, который, знаете, готов был биться об заклад о чем угодно, о собаках, грозах, трамвайных номерах, о ветре на углу и какая, скорее всего, будет

юбка, и как далеко пролетит эта, скажем, «жужелица», пожалуй... о господи... даже эта, которая на него упала... Пуммов кабинетный рояль и пьяный баритон, интрижки с медсестрами... Спектро... Отчего ж *невозможно* попросить? Когда есть сотня способов сказать...

Надо бы... надо было... В его истории так много неслучившихся ходов, так много «надо было» – надо было на ней жениться, чтоб ее отец им руководил, надо было остаться на Харли-стрит, быть добрее, чаще улыбаться чужим людям, даже днем сегодня улыбнуться Модии Чилкс... чего ж он не смог? Дурацкая, черт возьми, улыбочка, почему нет, что подавляет, какая путаница в мозаике? За этими казенными очками – красивые янтарные глаза... Женщины его избегают. В общем и целом он знает, в чем дело: он жуткий. Обычно он даже сознает те минуты, *когда* жутко, – некое напряжение лицевых мускулов, склонность потеть... но он, пожалуй, не в силах ничего с этим *сделать*, не в силах даже сосредоточиться надолго, чтобы хватило, они его так отвлекают – и опа, он опять излучает эту свою жуть... а их реакция предсказуема, они бегут, исторгая вопли, слышные только им – и ему. Ох, но как хочется однажды дать им *повод завопить по правде*...

А вот и стояк копошится, нынче Стрелман опять убаюкает себя дробочкой. Безрадостная константа, атрибут его бытия. Но раззадоривая его, перед самым ослепительным пиком – какие примчатся картины? Ну как же: башенки и голубая вода, паруса и церковные маковки Стокгольма – желтая телеграмма, лицо высокой, компетентной и прекрасной женщины, обернувшись, следит, как он проезжает мимо в церемониальном лимузине, – женщины, которая позже и вряд ли нечаянно посетит его в номере «Гранд-отеля»... не *всё* же, понимаете ли, рубиновые соски и черные кружавчики граций. Приглушенные вступления в комнаты, пахнущие бумагой, сопутствующее голосование в таком или сяком Комитете, Кафедры, Премии... что может сравниться! *Вот подрастешь – тогда узнаешь*, говорили ему. Да, и оно давит, каждый военный год равен дюжине мирных, ох батюшки, как они были правы.

А его везенье давно известно, его подкорковое, скотское везенье, дар выживания, а прочих, лучших, тем временем крадут в Смерть, и вот она, дверца – дверца, которую он так часто воображал в одиноких Тесеевых шатаньях лощеными коридорами лет: выход из ортодоксально-павловского, что являет ему виды Норрмальма, Сёдермальма, Оленьего парка и Старого города...

Вокруг Стрелмана их выдергивают одного за другим: в его узком кружке коллег соотношение постепенно скособочивается, больше призраков, с каждой зимой больше, и меньше живых... и всякий раз ему чудится, будто схема пунктов на его мозговой коре темнеет, впадая в вечный сон, части того, кто уж он теперь есть, начисто лишаются определения, погружаясь в тупую химию...

Кевин Спектро, в отличие от Стрелмана, не так резко дифференцировал Снаружи и Внутри. Кора виделась ему органом на рубеже, посредником меж этими двумя, однако *частью того и другого*. «Если приглядеться к тому, каково оно на самом деле, – сказал он однажды, – как можем мы, любой из нас, быть отдельны?» Он мой Пьер Жанэ, думал Стрелман...

Вскоре, подсказывает диалектика Книги, Стрелман останется один в черном поле, увязнет в изотропии, в нуле; будет ждать, когда уйдет последним... Хватит ли времени? Ему *придется* выжить... чтобы добиться Премии, не прославиться, нет – но сдержать слово, ради человеческого поля семи, коим он когда-то был, ради тех, кто не дожил... Тут у нас средний план: подсветка сзади, он стоит один у высокого окна в «Гранд-отеле», стаканом виски салютует ярким субарктическим небесам, и *ну, за вас, ребята, завтра на сцене мы будем вместе, просто так вышло, что Нед Стрелман выжил, вот и все*... «На Стокгольм» – вот знамя его и клич, а после Стокгольма – размыто, долгие золотые сумерки...

Ах да, прежде, знаете ли, он и впрямь верил, будто ждет его Минотавр: грезил, как врывается в последнюю камеру, блистающий меч наготове, орет, как десантник, все выпускает наконец – некий подлинный, изумительный взлет жизни внутри, в первый и последний раз,

и морда оборачивалась к нему, древняя, изнуренная, вовсе не видя Стрелмановой человечности, готовая лишь заявить на него права очередным давно вызубренным тычком рога, пинком копыта (однако на сей раз предстоит борьба, кровь Минотавра сучьей твари, крики из самой глубины Стрелмана, коих мужественность и ярость его самого застают врасплох)... Вот такой был сон. Обстановка, морда менялись, мало что, помимо структуры, выживало после первой чашки кофе и плоской бежевой таблетки бензедрина. Бывала, к примеру, громадная стоянка грузовиков на самой заре, тротуар только что окачен из шланга, окроплен солидольно-бурым, стоят крытые оливковые грузовики, у всякого свой секрет, всякий ждет... но Стрелман-то знает, что в одном из них... и наконец, прочесав их все, находит его, идентификационный код, какой и не выговорить, забирается в кузов, под брезент, ждет в пыли и буром свете, пока в дымчатом прямоугольном окошке кабины морда, *знакомая* морда не начинает поворачиваться... но основная структура – поворот морды, встреча взглядов... охотится за *Reichssieger von Thanatz Alpdriicken*<sup>75</sup>, самой неуловимой нацистской гончей, веймаранером-чемпионом 1941-го, в ухе татуирован племенной номер 416832, по Германии, которая олондонилась, печеночно-серый силуэт удаляется, скачет по мерклым набережным каналов, что усеяны мусором войны, ракетные удары промахиваются по ним раз за разом, оберегают их погоню, награвированные вспышки пламени, карта жертвенного города, коры головного мозга, человеческой и псовой, кожа собачьего уха слегка покачивается, темя ярко отражает зимние тучи, – и в убежище, лежащем бронированно в милях под городом, в оперу с балканской интригой, и в герметической защищенности, среди груд печальных неравномерно отчеркнутых диссонансов он не может спастись до конца, потому что *Reichssieger* всегда так упорствует, ведет, невозмутимый, неотменимый, и посему Стрелман возвращается к буквальному его преследованию, должен возвращаться снова и снова в горячем рондо, пока они в итоге не оказываются на исходе целого дня депеш Армагеддона на каком-то склоне, среди алых гряд бугенвиллий, золотых тропинок, где вздымается пыль, вдалеке столбы дыма над паучьим городом, который они миновали, голоса в воздухе сообщают, что Южная Америка сожжена дотла, небо над Нью-Йорком светится пурпуром от властительного луча смерти, и тут наконец серая псина может обернуться, и янтарные глаза вперяются в гляделки Неда Стрелмана...

Всякий раз, на всяком повороте кровь его и сердце поглаживаемы, лупцуемы, торжествующе воздеваемы и подталкиваемы к ледяному ночесвету, к высверкам и плавке термитной смеси, и Стрелман начинает расширяться безудержным светом, а стены камеры исходят кровавым свеченьем, оранжевым, затем белым, потом соскальзывают, текут воском, и все, что осталось от лабиринта, кольцами рушится наружу, воин и вой ужаса, строитель и Ариадна пожраны, расплавились в его свете, в лютом его взрыве...

Много лет назад. Полузабытые грезы. Посредники давным-давно встали меж ним и его окончательным зверем. Они откажут ему даже в крошечном извращении – в любви к своей смерти...

Но теперь, когда появился Ленитроп – внезапный ангел, термодинамический сюрприз, кто он ни есть... теперь все изменится? Неужто Стрелману все же дозволена попытка укокошить Минотавра?

Ленитроп сейчас небось уже на Ривьере, согретый, сытый, хорошо выебанный. Но снаружи в поздней английской зиме брошенные собаки по-прежнему скитаются по проулкам и бывшим конюшням, обнюхивают мусорные баки, скользят по снежным коврам, дерутся, спасаются, дрожат во влажных лужах берлинской лазури... стараются избегать всего, что не понюхаешь и не увидишь, что заявляет о себе ревом хищника столь абсолютного, что они тонут в снегу, скуля, и перекатываются на спину, подставляя Ему голые мягкие животы...

<sup>75</sup> Зд.: Рейхсчемпион Смертельного Кошмара (нем.).

И что, Стрелман отрекся от них ради одного нетронутого подопытного человека? Не подумайте, будто он не сомневался в убедительности этой Аферы – мягко говоря. Пускай викарий де ла Ньюи дергается из-за ее «правильности» – он же у нас штатный капеллан. Но... как же собачки? Стрелман их знает. Искусно отмыкает замки их сознания. У них нет тайн. Он умеет свести их с ума и подходящими дозами бромидов привести назад. Однако Ленитроп...

И павловец мотается по своему кабинету, беспокойный, постаревший. Надо бы поспать, да не выходит. Наверняка тогда, в стародавние времена, у младенца не просто выработывали условный рефлекс. Как мог он сам столько пробыть доктором и не развить рефлекс на определенные условия? Ему-то понятно: не только в этом дело, ясно же. Спектро мертв, а Ленитроп (*sentiments d'emprise*, старина, полегче тут) был со своей Дарлиной, всего в нескольких кварталах от Св. Вероники, за два дня до.

Когда одно происходит вслед за другим с такой кошмарной регулярностью, само собой, не заключаешь автоматически, что тут у нас причина-и-следствие. Но ведь ищешь какой-то механизм, пытаешься раскумекать. Нащупываешь, набрасываешь скромненький эксперимент... Уж этим-то он Спектро обязан. Даже если американец юридически не убийца, он болен. Нужно проследить этиологию, выработать лечение.

Предприятие это, знает Стрелман, чревато соблазном. Из-за симметрии... Симметрия, извольте ли видеть, и раньше вводила его обманной тропой: в кое-каких результатах анализов... допускал, что механизм непременно подразумевает зеркальный свой образ – «иррадиирование», к примеру, и «взаимную индукцию»... а кто вообще сказал, что и то и другое обязательно существует? Может, и в этот раз так сложится. Но сейчас это мучает его – симметрия двух секретных оружий, Снаружи, в Блище, рев V-1 и V-2, один – реверс другого... Павлов демонстрировал, как можно перепутать зеркальные образы Внутри. Понятия противоположения. Но что за новая патология кроется ныне Снаружи? Что за недуг у событий – у самой Истории – может создать симметрические противоположения, подобные этому автоматическому оружию?

Знак и симптомы. Может, Спектро был прав? Снаружи и Внутри – части одного поля; возможно ли? Если по-честному... по-честному... Стрелману надлежит искать ответ на рубеже... правда ведь... в коре головного мозга лейтенанта Ленитропа. Мужик пострадает – возможно, в некоем клиническом смысле, будет уничтожен, – но сколько народу сегодня страдают за него? Да я вас умоляю, каждый *день* в Уайтхолле взвешивают и берут на себя риски, по сравнению с какими этот кажется почти обыденным. Почти. Что-то в этом есть, слишком прозрачное и юркое, не ухватить – Отдел Пси упомянул бы эктоплазму, – но Стрелман знает, что удачнее мгновенья еще не выпадало, а конкретный подопытный *взаправду* в его руках. Надо сцапать сейчас или обречь себя на те же каменные коридоры, коих исход ему известен. Однако нужно сохранять открытость – даже иметь в виду, что ребята из Пси могут оказаться правы. «Возможно, мы все правы, – записывает он сегодня в дневнике, – и, возможно, истинно все, что мы предполагаем, – или более того. Что б мы ни обнаружили, не приходится сомневаться: физиологически, исторически он – чудовище. *Нам ни за что нельзя утратить контроль.* Мысль о том, что он затеряется в мире людей после войны, наполняет меня глубочайшим ужасом, который я не в силах угасить...»

\* \* \*

Все больше и больше в эти дни ангельского явления и коммюнике Кэрролл Эвентир ощущает себя жертвой своего нелепого таланта. Своей «великолепной слабости», как некогда выразилась Нора Додсон-Груз. Проявилась эта слабость поздно: ему было 35, когда из другого мира однажды утром на Набережной, между штрихами двух постелей уличного художника – лососины, темнеющей до оленины, – и десятком дряблых человеческих фигур, тряпично-жал-

ких вдалеке, сплетающихся с железными конструкциями и речным дымком, ни с того ни с сего через Эвентира кто-то заговорил – так тихо, что Нора едва ли хоть слово уловила, не поняла даже, что за душа обуяла его и им воспользовалась. Тогда не вышло. Часть была по-немецки, некоторые слова она припомнила. Хотела спросить у мужа, с которым должна была встретиться днем в Саррее, – но приехала поздно, все тени – мужчин и женщин, собак, дымовых труб – очень длинные и черные по огромной лужайке, а она, вся в охряной пудре, едва заметной в позднем солнце, что у края ее вуали творит очертания веера: эту пастель она и выхватила из деревянного ящика набережного живописца и быстро, гладко крутнувшись, земли касаясь лишь носком туфли и сливочным брусом желтого, что крошился на плоскости, не отрывая руки, нарисовала на мостовой большую пятиконечную звезду – чуть выше по течению от недружелюбного подобия Ллойда Джорджа в гелиотропе и морской волне; и втащила Эвентира за руку в центральный пятиугольник, над головами – чайки вопящей диадемой, после чего встала в пятиугольник сама – инстинктивно, по-матерински, как обычно у нее бывало со всеми, кого любила. Пентаграмму она рисовала, ничуть не шутя. Перебдеть тут невозможно, зло всегда неподалеку...

Чувствовал ли он уже тогда, как она начинает отступать... призвал ли из-за Стены хозяина, чтобы как-то удержать? Она уходит вглубь от его пробуждения, его светский глаз – как свет на кромке вечера, когда в опасные, ну, может, десять минут не помогает ничего: надень очки и зажги лампы, сядь у западного окна – и все равно ускользает, свет утекает от тебя и вдруг на сей раз навсегда... в такое время дня хорошо учиться капитуляции, учиться убывать, как свет – или иная музыка. Сия капитуляция – его единственный дар. После он ничего не помнит. Иногда – редко – случаются дразнящие... нет, не слова, но ореолы смысла вокруг слов, очевидно, произнесенных его устами, и они задерживаются – если задерживаются – лишь на миг, как сны, их нельзя ни удержать, ни проявить, и вот уж они пропадают. С приезда в «Белое явление» он побывал под ЭЭГ Ролло Грошнота бесчисленные разы, и там все как у нормального взрослого, только, может, раз-другой заблудший всплеск в 50 милливольт от височной доли, то от левой, то от правой, схемы не нарисуешь – все эти годы среди различных наблюдателей прямо дебаты шли, точно о каналах на Марсе: Аарон Шелкстер клянется, что видел очертания медленных дельта-волн из левой лобной доли и подозревает опухоль, прошлым летом Эдвин Паток отметил «чередование всплесков-волн, свойственных подавленной малой эпилепсии, – что любопытно, они гораздо медленнее обычных трех в секунду», – хотя, надо сказать, Паток всю ночь перед этим провел в Лондоне, кутил с Алленом Фонарером и его компанией игроков. А не прошло и недели, как «жужелицы» дали Фонареру шанс: отыскать Эвентира с другой стороны и убедиться, что все разговоры о нем – правда, что Эвентир – рубеж между мирами, экстрасенс. Фонарер предлагал делать ставки 5 к 2. Только пока молчит: на гибких ацетатно/металлических дисках с перепечатанными стенограммами нет такого, чего не могла сообщить любая из десятка других душ...

В свое время понаехали аж из института в Бристоле – пялиться на уродцев из Отдела Пси, замерять их и систематически в них сомневаться. Вот Роналд Вишнекок, видный психометрист, зрачки слегка трепещут, руки в неизменном дюйме обрамляют обернутую грубой бумагой коробку, в которой надежно запрятаны некие сувениры начала Войны, темно-свекольный галстук, сломанная авторучка «Шеффер», потускневшее пенсне из белого золота, все – полковника авиации «Убивца» Сен-Власа, расквартированного далеко к северу от Лондона... и вот Вишнекок, нормальный с виду парнишка, разве что, может, чуть полноват, принимается с этим своим жужжащим, как токарный станок, центральным выговором излагать подробное личное резюме полковника авиации, про полковничьи тревоги насчет выпадения волос, про его любовь к мультикам с Утенком Доналдом, про инцидент при налете на Любек, свидетелями коему были только он и его ведомый, ныне покойный, и они договорились в рапорте об этом не упоминать – нарушения безопасности-то не было; впоследствии сам Сен-Влас фактически

все подтвердил, улыбаясь несколько огорошенно – дескать, вот ведь подшутили-то надо мной, а теперь скажите, как вам это удалось? И впрямь, как Вишнекоксу это удастся? Как удастся им всем? Как Маргарет Четвертон за много миль вызывает на дисках и проволочных магнитофонах голоса, ничего сама не говоря и физически не касаясь техники? И что за говоруны теперь собираются? Откуда возникают эти пятизначные числа, которые преподобный д-р Флёр де ла Ньюи, капеллан и штатный автоматист, записывает уже далеко не первую неделю, – их, как ни тягостно это подозревать, никто в Лондоне расшифровать не способен? Что означают недавние сны Эдвина Патока о полетах – особенно если сопоставить по времени со снами Норы Додсон-Груз о паденьях? Что вокруг них всех сгущается такое, о чем каждый по-своему, по-уродски способен свидетельствовать – только не на языке, даже не на конторском лингва франка? Турбулентности эфира, сомнения навеяло ветрами кармы. Души по ту сторону рубежа, кого мы зовем мертвецами, все больше психуют и ускользают. Даже хозяин Кэрролла Эвентира, привычно невозмутимый и саркастичный Петер Сакса – который нашел его в тот давний день на Набережной и находил впоследствии всякий раз, когда нужно было передать послания, – даже Сакса уже нервничает...

В последнее же время, словно все настроились на одну эфирную X-ю Программу, в «Белом явлении» возникают новые разновидности уродства – в любое время дня и ночи, безмолвные, лупают глазами, рассчитывают, что сейчас ими займутся, с собой носят машинки из черного металла и пряничного стекла, впадают в раздраженные трансы, гиперкинетически ждут лишь нужного вопроса-триггера, чтобы затараторить по 200 слов в минуту насчет своих особых ужасных способностей. Осадили. Как нам понимать Гэвина Трелиста, чьему дару еще и названья-то нет? (Ролло Грошнот желает звать это *автохроматизмом*.) Гэвин тут самый юный, всего 17, он как-то умеет произвольно усваивать одну из своих аминокислот – тирозин. От этого вырабатывается меланин – буро-черный кожный пигмент. Кроме того, Гэвин способен подавлять это усвоение варьированием – судя по всему – уровня фенилаланина в крови. Так ему удается перекрашиваться из самого мертвенно-альбиносного плавным спектром в очень глубокий багрово-черный. Если он сосредоточится, любой оттенок не сходит неделями. Впрочем, обычно он отвлекается или забывает и постепенно сползает к своему состоянию покоя – веснушчатой бледности рыжего. Но можете себе представить, как он пригодился Герхардту фон Гёллю при съемках материала о «Шварцкоммандо»: благодаря Гэвину сэкономили буквально часы гримирования и освещения – он играл роль переменного отражателя. Лучшая теория пока принадлежит Ролло, но в ней слишком много белых пятен: нам доподлинно известно только, что кожные клетки, вырабатывающие меланин, – меланоциты, – некогда в каждом из нас на ранней стадии эмбрионального роста относились к центральной нервной системе. Но зародыш растет, ткань дифференцируется все больше, и некоторые такие клетки отходят от будущей ЦНС, мигрируют к коже и становятся меланоцитами. Сохраняют первоначальные свои древесные очертания – аксон и дендриты типичной нервной клетки. Но теперь дендриты передают не электрические импульсы, а кожный пигмент. Ролло Грошнот верит в существование некоего звена, пока еще не открытого, – некоей сохранившейся клеточной памяти, которая будет по-прежнему, ретроколониально, откликаться на послания из мозговой метрополии. Послания, которых юный Трелист может и не осознавать. «Это часть, – пишет Ролло домой в Ланкашир доктору Грошноту-старшему: такова изошренная месть Ролло за детские байки о Зеленозубой Дженни, что поджидает его на болотах, дабы утопить, – часть древней и потаенной драмы, для коей тело человеческое служит лишь весьма иносказательной, часто загадочной театральной программкой, словно туловище, поддающееся нашим замам, – лишь клочок программки, какая валяется на улице у великолепного каменного театра, куда нам нет хода. Нам отказано в языковых хитросплетеньях! в великой Сцене, которая еще темнее привычного мрака мистера Тайрона Гатри... Позолота и зеркала, красный бархат, ложи ярус за ярусом –

все тоже в тени, а где-то в глубоком просцениуме, глубже изведанных нами геометрий, голоса излагают тайны, коих нам никогда не расскажут...»

– Видите ли, нам тут приходится архивировать все, что поступает от ЦНС. Через некоторое время осточертевает. По большей части – совершеннейшая белиберда. Но толком не знаешь, когда им что понадобится. Посреди ночи или в самый разгар ультрафиолетовой бомбардировки, знаете, им же там без разницы.

– А вообще вам часто удается выбраться... ну, на Внешний Уровень? (Долгая пауза, оперативница постарше воззрилась вполне открыто, несколько раз меняясь в лице – веселье, жалость, участие, – пока юноша снова не открывает рот.) П-простите, я не хотел...

– (Отрывисто.) Я должна сообщить вам рано или поздно – в рамках брифинга.

– Что сообщить?

– Ровно так же, как некогда сообщили мне. Мы передаем это – от одного поколения к другому. (Не подворачивается правдоподобного срочного дела, в котором она могла бы найти прибежище. Мы ощущаем, что у нее эти беседы еще не вошли в привычку. Из соображений порядочности она пытается говорить тише, если и не мягко.) Мы все выходим на Внешний Уровень, молодой человек. Кто-то сразу же, кто-то со временем. Но рано или поздно все вынуждены выходить в Эпидермис. Без исключений.

– Вынуждены...

– Простите.

– Но ведь... Я думал, это просто... ну, *уровень*. Который посещаешь. Это не?..

– Диковинный пейзаж – о да, я тоже думала... необычные образования, одним глазком глянуть на Внешнее Сияние. Но это всё *мы*, понимаете. Миллионы *нас*, преобразованные в рубеж, ороговевшие, переставшие чувствовать, а дальше – тишина.

– О господи. (Пауза, он пытается осознать – затем в панике отвергает:) Нет – как вы можете так говорить – не чувствуешь *память*? тягу... мы в изгнании, у нас есть родина! (Тишина ему навстречу.) Там, глубже! Не сверху на рубеже. В глубине, в ЦНС!

– (Тихо.) Таково господствующее представление. Падшие искры. Осколки сосудов, разбившихся при Творении. И настанет день пред самым концом, когда все как-то вернутся на родину. В последнее мгновенье прибудет посланец Царства. Но я вам говорю: нет такого послания, нет такой родины – лишь миллионы последних мгновений... и только. Наша история – совокупность последних мгновений.

Она идет по запутанной комнате, густой от мягких кож, тика, натертого лимоном, восходящих завитков благовоний, яркой оптической машинерии, выцветших ало-золотых ковров из Центральной Азии, висячих кованых конструкций ребрами наружу, долго, долго пересекает авансцену, ест апельсин, одну кислотную дольку за другой, на ходу, одежды из фая красиво развеваются, причудливые рукава платья ниспадают от сильно подложенных плеч, пока не собираются туго в длинные манжеты, наглухо застегнутые пуговками, и все это какого-то безмянного земляного оттенка – изгородно-зеленого, глинисто-бурого, с мазком окисления, с дуновением осени, – свет уличных фонарей просачивается меж стеблей филодендронов и пальчатые листья, остановленные в хватке последних потуг заката, падает безмятежно желтым на резные стальные пряжки у нее на подъемах ступней и дальше растекается полосками по бокам и вниз по каблукам ее лаковых туфель, таких отполированных, что у них будто и вовсе нет цвета – лишь этот мягкий цитрусовый свет там, где он их касается, а они его отвергают, словно поцелуй мазохиста. За шагами ее ковер потягивается к потолку, очертанья подошв и каблуков исчезают с шерстяного ворса с приметной медлительностью. Через весь город бұхает одинокий ракетный взрыв, с далекого востока, с востока через юго-восток. Свет по ее туфлям течет и притормаживает, как дневной поток машин. Она медлит, что-то припомнив: военное платье трепещет, шелковые нити в пряже дрожат тысячными толпами, когда с них то и

дело соскальзывает зябкий свет и снова трогает их беззащитные спинки. В комнате сгущаются запахи горящего мускуса и сандала, кожи и пролитого виски.

А он – пассивный, как сам транс, позволяет ее красоте: проникать в него или избегать его, чего бы она ни пожелала. Как быть ему чем-то иным помимо кроткого приемника, наполнителя молчаний? Все радиусы комнаты – ее: водянисто-целлофановые, потрескивающе-тангенциальные, когда она разворачивается на оси каблука, копьем бросаясь по собственным следам. Ужель и впрямь он любит ее почти десятилетие? Невероятно. Эту ценительницу «великолепных слабостей», коей движет никакая не похоть, даже не вожделье, но – вакуум: отсутствие людской надежды. От нее мурашки по спине. Кто-то назвал ее эротической нигилисткой... каждый из них, Вишнекокк, Флёр де ла Ньюи, даже, подозревает он, юный Трелист, даже – как он слышал – Маргарет Четвертон, каждый *используется* во имя идеологии Нуля... дабы великий отказ Норы внушал еще больше священного трепета. Ибо... если она и впрямь его любит: если все ее слова, это десятилетие комнат и разговоров что-то значили... если она его любит и все равно откажет ему, презрит расклад пари 5 к 2 и откажет ему в даре, откажет в том, что разбросано в каждой его клетке... то...

Если она его любит. Он чересчур пассивен, ему не хватает отваги сунуться внутрь, как попытался Вишнекокк... Вишнекокк, разумеется, урод. Слишком часто смеется. Но и не бесцельно – *над* тем, что, как он полагает, все остальные тоже видят. Все смотрим какую-то кривую кинохронику, луч проектора падает молочного-белого, густеет от дыма вересковых трубок и дешевых сигар, «Абдулл» и «Жимолостей»... края облаков – освещенные профили военнослужащих и молоденьких дамочек: мужественный креп пилотки ножом вспарывает затемненный кинотеатр, сияющая округлость шелковой ноги пальчиками внутрь лениво брошена между сиденьями в переднем ряду, а ниже – резкие тени бархатных тюрбанов и под ними – перистых ресниц. Среди тусклых и похотливых парочек этих ночей смеется Роналд Вишнекокк и влачит свое одиночество – хрупкий, очень неуравновешенный, сочится жвачкой из щелей, в странном макинтоше из весьма нестойкого пластика... Из всех ее великолепных слабаков именно он предпринимает самые опасные вояжи в ее пустоту – в поисках сердца, чье биенье задавать будет *он*. Должно быть, ей это поразительно – такой-бессердечной-Норе: Вишнекокк на коленях, колышет ее шелка, древняя история меж его руками вихрится водоворотами – протекают шарфы цвета лайма, морской волны, лаванды, шпильки, броши, переливчато-опаловые скорпионы (знак ее рождения) в золотых оправках трискелионом, пряжки на туфлях, сломанные перламутровые веера и театральные программки, петли подвязок, темные, вялые чулки из доаскезных времен... на своих непривычных коленях, руки плывут, поворачиваются, выискивают ее прошлое в молекулярных следах, столь ненадежных в потоке предметов, руками на ощупь, она счастлива отказать, прикрывает его попадания (почти, а то и в самое яблочко) умело, словно это салонная комедь...

Опасную игру затеял Вишнекокк. Частенько полагает он, что сам объем информации, втекающий меж его пальцев, насытит его, выжжет дотла... она, похоже, исполнена решимости ошеломить его своей историей и болью оной, и кромка истории этой, неизменно резкая после оселка, вспарывает его надежды – все их надежды. Нет, он ее уважает: он знает, что на самом деле здесь очень мало женской наигранности. Она и *впрямь* не раз обращала лицо к Внешнему Сиянию – и просто-напросто ничего не видела. И тем всякий раз впитывала в себя еще чуточку Нуля. Все сводится к отваге, в худшем случае – к самообману, какового исчезающе мало: Вишнекокк вынужден им восхищаться, хоть и не может принять ее остекленевшие пустоши, ее стремление ко дню отнюдь не гнева, но – предельного безразличия... Как и она не может принять правду, которую он знает про себя. Он улавливает излучения, впечатления... крик в камне... экскрементные поцелуи, тянущиеся незримыми стежками поперек ярма старой сорочки... изменщик, стукач, чья вина однажды заболит раком горла, звоня колоколами дневного света сквозь стрелки и клинышки драной итальянской перчатки... Ангел Убивца

Сен-Власа, на мили превыше своего имени, воспарил над Любеком в то Вербное воскресенье, а под стопами его – ядовито-зеленые купола, навязчивый поперечный поток красной черепицы устремлялся вверх-вниз по тысячам островерхих крыш, бомбардировщики же заходили на виражи и ныряли, Балтика уже затерялась позади в саване зажигательного дыма – и вот он, Ангел: кристаллики льда со свистом сносит с черных кромок опасно глубоких крыльев, что распаиваются, переносясь в новую белую бездну... На полминуты раскололось радиомолчание. Переговоры таковы:

*Сен-Влас:* Парад Уродов Два, ты это видел, прием.

*Ведомый:* Парад Уродов Два – подтверждаю.

*Сен-Влас:* Хорошо.

Видимо, никто больше не переговаривался по радио на задании. После налета Сен-Влас проверил всю технику вернувшихся на базу и никаких неполадок не обнаружил: все кристаллические детекторы на частоте, в источниках питания никаких колебаний напряжения, как и полагается, – но кое-кто припоминал, как на те несколько мгновений, что длилось явление, из наушников пропала даже статика. Некоторые слышали высокое пение – словно ветер в мачтах, в вантах, в кроватных пружинах или тарелках параболических антенн флотов, зимующих в доках... но лишь Убивец и его ведомый видели его, пока гудели себе мимо яростных лиг этого лица, мимо глаз, высившихся на много миль и следивших за их пролетом, и радужки, красные, как угли, через желтый яснили к белому, пока Убивец с ведомым скидывали бомбы безо всякой конкретной схемы, капризный прицел Нордена, в воздухе вокруг его вращающегося окуляра сплошь капли пота, ошарашен их необъявленной потребностью набрать высоту, отказаться от удара по земле ради удара по небесам...

Полковник авиации Сен-Влас при разборе полетов не стал упоминать этого ангела: дама из ЖВСС<sup>76</sup>, которая его опрашивала, всей базе была известна как дракониха-буквалистка наихудшего пошиба (она подала рапорт психиатрам на Продуитта за его радужную валькирию над Пенемюнде и на Жутэма за ярко-синих гремлинов, что пауками разбегались с крыльев его «тайфуна» и мягко планировали в леса Гааги на парашютиках того же цвета). Но черт возьми – то было не облако. Неофициально за две недели с любекского «огненного шторма» до приказа Гитлера начать «вселяющие ужас акты возмездия» – имелось в виду оружие V – слухи об Ангеле расползлись. Хотя полковнику авиации этого вроде бы и не хотелось, Роналду Вишнекоксу разрешили пощупать кое-какие предметы, побывавшие в том полете. Так и открылось про Ангела.

Затем Кэрролл Эвентир попробовал достучаться до ведомого Сен-Власа – Теренса Ханадетки. На хвост ему сел целый небосвод «мессеров», деваться было некуда. Входные данные морочат голову. Петер Сакса намекнул, что вообще-то здесь может иметь место множество проявлений Ангела. У Ханадетки оно не такое доступное, как у некоторых других. Незадачи с уровнями, с Правосудием – в смысле таро... Это от той бури, что ныне разметывает всех по обе стороны Смерти. Приятного мало. На своей стороне Эвентир считает, что он скорее жертва, даже несколько обижается. Петер Сакса на своей поразительным образом выпадает из роли и впадает в ностальгию по жизни, по старому миру, по Веймарскому декадансу, который его кормил и двигал. В 1930-м насильно перекинутый на другую сторону ударом шуцманской дубинки в уличных беспорядках в Нойкёльне, теперь он сентиментально припоминает вечера натертого темного дерева, сигарного дыма, дам в граненом нефрите, панбархате, масле дамасских роз, на стенах – новейшие угловатые пастели, во многочисленных ящичках столов – новейшие наркотики. Больше, нежели просто «Kreis»<sup>77</sup> – обыкновенно вечерами расцветали целые мандалы: все круги общества, все кварталы столицы, ладонями вниз на эту зна-

<sup>76</sup> Женская вспомогательная служба сухопутных войск.

<sup>77</sup> Круг (нем.).

менитую кровавую полировку, соприкасаясь лишь мизинцами. Стол Саксы был что глубокий пруд в лесу. Под гладью что-то ворочалось, ускользало, начинало всплывать... Вальтеру Ашу («Тельцу») однажды вечером явилось нечто столь необычное, что вернули его лишь три иеропона (250 мг), но даже после них он ложиться спать как бы не очень стремился. Все они стояли и на него смотрели – драными рядами, похожими на построение атлетов: Вимпе, человек «ИГ», которому выпало держать иеропон, сверлил взглядом Заргнера – гражданского, приданного Генеральному штабу, сбоку лейтенант Вайссманн, недавно вернувшийся из Юго-Западной Африки, и тот адъютант-гереро, кого лейтенант привез с собой, пялился, пялился на всех, на всё... а за спинами дамы шевелились шипящим плетеньем, вспыхивали блески и высокоальбедные чулки, черно-белый грим в изысканно гнусавой тревоге, глаза распахнуты *ах...* Всякое лицо, что наблюдало за Вальтером Ашем, – сцена райка; всякое – само себе номер.

...видно хорошие руки да никнут и запястья до самого мышечный релаксанта угнетение дыхания...

...то же... то же... мое лицо белое в зеркале три тридцать четыре марш Часов тикают часы нет не могу войти нет не хватает света не хватает нет *аааахххх...*

...театр ничто но Вальтер в самом деле поглядеть только на голову нарочитый угол хочет поймать свет хороший заполняющий свет надо желтый фильтр...

(Пневматическая игрушечная лягушка вспрыгивает на лист кувшинки, тот трепещет: под гладью таится ужас... поздний плен... но вот он проплывает над головой того, что возвратит его... по глазам у него нельзя прочесть...)

...*mba rara m'eroto ondyoze... mbe mi munine m'oruroto ayo u n'omuinyo...*<sup>78</sup> (далее, позади – витье пряжи или снастей, гигантская паутина, вывертыванье шкуры, мышц в жесткой хватке того, что приходит обороть, когда ночь глубока... и ощущение, к тому же, явления мертвых, а потом – тошнотворное чувство, будто они не так дружелюбны, как казались... он пробудился, поплакал, потребовал объяснения, но никто никогда не говорил ему такого, чему возможно поверить. Мертвые беседовали с ним, приходили и садились, пили его молоко, травили байки о предках или духах из других краев вельда – ибо время и пространство на их стороне не имеют смысла, там всё вместе.)

– Есть социологии, – Эдвин Паток, волосы дыбом, пытается раскурить трубку с жалкими остатками – палой листвой, огрызками бечевки, бычками, – в которые мы даже близко не заглядывали. К примеру, социология нашей компашки. Отдел Пси, ОПИ, старухи из Олтринэма, что пытаются вызвать Дьявола, – понимаете, все мы, кто на этой стороне, – все равно лишь половина истории.

– Поосторожней с этим «мы», – сегодня Роджера Мехико бесит много чего, хи-квадраты не желают подгоняться, учебники теряются, Джессики нет...

– Если не брать в расчет и тех, кто перешел на другую сторону, толку не будет. Мы же с ними общаемся? Через таких специалистов, как Эвентир, и их тамошних хозяев. Но все вместе мы образуем единую субкультуру, психическую общность, если угодно.

– Не угодно, – сухо отвечает Мехико, – но да, наверное, кто-то должен с этим разбираться.

– Есть люди – вот эти гереро, к примеру, – которые каждый день ведут дела с предками. Мертвые реальны, как живые. Как их понять, не подходя к обеим сторонам стены смерти одинаково по-научному?

Однако для Эвентира все это не светское общение, на которое надеется Паток. Памяти нет на его стороне – никаких личных записей. Приходится читать в чужих заметках, слушать диски. А значит – доверять другим. Вот *это* – сложный социальный расклад. В жизни он по большей части вынужден опираться на честность людей, кому в обязанности вменено быть рубежом между ним самим и тем, кем ему полагается быть. Эвентир знает, как близок он к

<sup>78</sup> Мне приснился кошмар... во сне я увидел его как живого... (*гереро*).

Саксе на другой стороне, но не *помнит*, и воспитали его христианином, западноевропейцем, который верит в примат «сознательного» «я» и его воспоминаний, а остальное почитает аномалией или мелочами, и вот поэтому он озабочен, глубоко озабочен...

Стенограммы – документ равно о душах, которые Петер Сакса вводит в контакт, и о самом Петере Саксе. В них довольно подробно говорится о его навязчивой любви к Лени Пёклер, жене молодого инженера-химика, к тому же – активистке *K. P. D.*<sup>79</sup>, которая моталась между 12-м районом и сеансами Саксы. Каждый вечер, когда она приходила, ему хотелось плакать от того, в каком она плену. В смазанных глазах ее стояла чистая ненависть к той жизни, которую она не желала оставлять: к мужу – его она не любила, к ребенку – ее она любила недостаточно и мучиться из-за этого так и не перестала.

У мужа Франца водились связи – слишком смутные, чтоб Сакса умел такое донести, – с Армейским управлением вооружений, отсюда еще и идеологические барьеры, через которые никому не доставало энергии лазить. Она ходила на уличные митинги, Франц являлся на ракетное предприятие в Райникендорфе, глотнув чаю в раннеутренней комнате, набитой бабами, – он считал, все они хмурые и ждут не дождутся его ухода: притаскивали свои узлы с листовками, котомки книг и политических газет, с восходом просачивались сквозь трущобные дворы Берлина...

\* \* \*

Они дрожат и голодны. В *Studentenheim*<sup>80</sup> не топят, мало света, полчища тараканов. Смердит капустой, старым вторым Рейхом, бабушкиной капустой, горелым лярдом, чей дым с годами достиг некоей *détente* с воздухом, каковой стремится его сломить, вонь застарелой болезни и смертного одра отслаивается с крошащихся стен. Одна стена в желтых пятнах отходов из протекшей канализации наверху. Лени сидит на полу, с нею четверо или пятеро других, передают по кругу темный кус хлеба. В сыром гнезде из старых номеров «*Die Faust Hoch*»<sup>81</sup>, которые никто не станет читать, спит ее дочь Ильзе – дышит так мелко, что еле заметно. От ресниц на скулы ее ложатся огромные тени.

На сей раз ушли навсегда. Эта комната согдится еще на день, может, на два... а потом Лени уже не знает. На двоих она взяла один чемодан. Понимает ли он, каково женщине, родившейся под Раком, матери, весь дом свой уместить в один чемодан? У нее с собой несколько марок, у Франца – его игрушечные ракеты на луну. Все поистине кончено.

Как, бывало, грезила: она отправится прямо к Петеру Саксе. Если он ее даже не примет – хотя бы поможет найти работу. Но теперь, когда с Францем она и впрямь порвала... что-то, какое-то мерзкое неистовство земного знака будет вспыхивать в Петере то и дело... В последнее время она не уверена в его настроениях. На него давят с уровнем гораздо выше обычного, догадывается она, и он с этим неважно справляется...

Но худшие инфантильные припадки ярости Петера все же лучше самых безмятежных вечеров с ее Рыбным мужем, когда тот плавает в морях своих фантазий, тяги к смерти, ракетного мистицизма, – вот такой, как Франц, им и нужен. Они знают, как использовать *такое*. Они знают, как использовать хоть кого. Что будет с теми, кого использовать не смогут?

Руди, Ваня, Ревекка – вот они мы, ломоть берлинской жизни, еще один шедевр «Уфы», символический Студент из «Богемы», символический Славянин, символическая Еврейка, поглядите на нас: Революция. Разумеется, никакой Революции нет, даже в *Kino*, никакого немецкого «Октября», по крайней мере – при этой «Республике». Революция умерла – правда,

---

<sup>79</sup> Die Kommunistische Partei Deutschlands (*нем.*) – Коммунистическая партия Германии.

<sup>80</sup> Студенческое общежитие (*нем.*).

<sup>81</sup> «Выше кулак» (*нем.*).

Лени была маленькой, вне политики – вместе с Розой Люксембург. Теперь лучше всего верить в Революцию-в-изгнании-на-поселении, в непрерывность сценария, что выживает на унылом краю все эти Веймарские годы, выжидает своего часа и возрожденной Люксембург...

**ВОЙСКО ВЛЮБЛЕННЫХ МОЖНО РАЗБИТЬ.** По ночам такие надписи возникают на стенах «красных» районов. Художника или автора выследить никому не удастся, отчего начинаешь подозревать, что он один и тот же. Хочешь не хочешь, а поверишь в народное сознание. Не столько лозунги, сколько тексты, явленные, дабы над ними задумывались, толковали их, чтобы люди переводили их в действие...

– Это правда, – уже Ваня, – посмотрите на формы капиталистического выражения. Порнографии – порнографии любви, эротической, христианской, мальчика к его собачке, порнографии закатов, порнографии убийства и порнографии дедукции – *ахх*, этот вздох, когда мы угадываем убийцу, – все эти романы, эти фильмы и песни, которыми нас убаюкивают, – это же всё подходы, какие поудобнее, какие нет, к Абсолютному Удобству. – Пауза, чтобы Руди успел кисло усмехнуться. – Самонаведенный оргазм.

– «Абсолютному»? – Ревекка выползает вперед на голых коленках – передать ему хлеб, влажный, тающий от касания ее мокрого рта. – Двое...

– Двое – это тебе так сказали, – Руди не вполне ухмыляется. В ее поле внимания – как ни жаль, и уже не впервой, проскальзывает фраза *мужское превосходство*... чего ж они так дорожат своей мастурбацией? – ...Но в природе такое почти неизвестно. По большинству все в одиночку. Сама знаешь.

– Я знаю, что сольемся вместе, – только и говорит она. Хотя они не занимались любовью ни разу, она говорит это в упрек. Но он отворачивается, как и все мы от тех, кто неловко воззвал только что к вере, а тему никак не развить.

Лени внутри своего впустую растраченного времени с Францем достаточно знает про то, как кончать порознь. Сперва его пассивность не давала ей кончать вообще. Затем она поняла: чтобы заполнить ту свободу, которую он ей предоставлял, сочинять можно что угодно. Стало поудобнее: она могла грезить о таких нежностях меж ними (спустя время она грезила и о других мужчинах) – но одиночества прибавилось. Однако морщины ее так быстро не углубятся, рот не научится твердеть вне лица, которым она постоянно себя удивляет, – лица грезящего наяву ребенка, лица, какое выдаст ее любому, кто б ни посмотрел, именно такая смягченная жирком расфокусированная слабость, от которой мужчины читают в ней Зависимую Маленькую Девочку, – даже у Петера Саксы подмечала она такой взгляд, – а греза – та же, которую она отправлялась искать, пока Франц стонал в своих темных желаньях боли, греза о нежности, свете, где преступное сердце ее искуплено, больше не надо бежать, сражаться, является мужчина, безмятежный, как она, и сильный, улица обращается в далекое воспоминанье: в точности та греза, какую Лени здесь меньше всего может себе позволить. Она знает, что ей следует изображать. Тем более, Ильзе наблюдает все больше. Ильзе они не используют.

Ревекка продолжает тем временем спорить с Ваней, полужелует, Ваня пытается удержать все в интеллектуальном шифровальном ключе, но еврейка возвращается – снова и снова – к телесному... так чувствена: бедра ее изнутри, над самым коленом, гладкие, как масло, напряжение всех мускулов, настороженное лицо, финты *Judenschmautze*<sup>82</sup>, навязчиво, вспышки язычка меж полных губ... каково будет, если она уложит тебя в постель? Сделать это не просто с женщиной – с еврейкой... Их животная тьма... потные филеи агрессивно лезут в лицо, черные волоски темнеют тонким полумесяцем вокруг каждой ягодицы от расщелины... обернулась через плечо, лицо щерится в грубом восторге... вообще-то все врасплох, в миг отдохновения в бледно-желтой комнате, пока мужчины бродили по коридорам снаружи с обдолбанными улыбочками... «Нет, не так жестко. Нежнее. Я скажу тебе, когда жестче...» Светлая кожа Лени,

<sup>82</sup> Жидовское рыло (*искаж. нем.*).

невинная ее внешность – а у еврейки оттенок потемнее, невозделанность ее контрастирует тонкости сложения и кожи Лени, кости таза гладко натягивают паутины по чреслам и вокруг живота, две женщины скользят, рычат, хватают ртом воздух... *Я знаю, что сольемся вместе...* и Лени просыпается одна – еврейка уже где-то в другой комнате, – так и не познав того мгновенья, когда провалилась в свой истинный младенческий сон, мягкой перемены состояния, которой просто не случилось с Францем... Поэтому она расчесала и взбила кончиками пальцев волосы, чтобы хоть как-то показать, какова ей ночная клиентура, и прогулялась до ваннных, разделась, наплевав на то, чьи глаза могут на нее устремляться, и скользнула в теплоту тела, в привычный его аромат... И тут же, сквозь крики и душную влажность, от которых, наверное, трудно сосредоточиться, увидела – там, на одной полке, смотрит сверху на нее... Да, это Рихард Хирш, с Маузихштрассе, столько лет назад... она сразу поняла, что лицо ее никогда не выглядело уязвимее, – это читалось в его глазах...

А вокруг другие плескались, любили друг друга, произносили комические монологи, быть может, это его друзья – да, это ж Сигги проплывает по-лягушачьи, мы его дразнили «Троллем», ни на сантиметр с тех пор не подрос... когда мы бежали домой вдоль канала, спотыкались и падали на самый твердый булыжник на свете, и просыпались по утрам, и видели снег на спицах фургонных колес, пар из ноздрей старой кобылы...

– Лени. Лени. – Волосы Рихарда откинута назад, тело у него золотое, склоняется, чтобы извлечь ее из затуманенной ванны, усадить с собою рядом.

– Ты же вроде... – она растеряна, не знает, как сказать. – Кто-то мне говорил, что ты не вернулся из Франции... – Она не отрывает взгляда от своих коленок.

– Даже французским девушкам меня во Франции не удержать.

Он по-прежнему здесь – она чувствует, как он пытается заглянуть ей в глаза, – и говорит так просто, такой живой, уверен, что французские девушки наверняка убедительнее английских пулеметов... она знает, полнясь плачем по его невинности, что не мог он ни с кем там быть, что французские девушки для него по-прежнему – прекрасные и недостижимые агенты Любви...

В Лени теперь не видно никакой долгой службы, ничего. Она – то дитя, на кого он смотрел через парковые дорожки, кого встречал, когда она трюхала домой по *gassen*<sup>83</sup> в буром, как горбушка, свете, лицо ее, тогда еще довольно широкое, опущено, светлые брови обеспокоены, за спиной ранец с книгами, руки в карманах фартука... какие-то камни в стенах были белы, словно клейстер... может, она и видела, как он шел навстречу, но он был старше, вечно с приятелями...

Теперь все при них уже не так буйствуют, больше почтения, даже робость, они счастливы за Рихарда и Лени.

– Лучше поздно, чем никогда! – пищит Сигги своим голоском прищипоренного карлика, вставая на цыпочки разлить майское вино по всем бокалам.

Лени идет уложить волосы заново и чуточку осветлить, и Ревекка идет с ней. Они беседуют – впервые – о планах и будущем. Не касаясь друг друга, они с Рихардом влюбились, как должно было случиться еще тогда. Само собой разумеется, что он увезет ее с собой...

В последние дни появляются старые гимназические друзья, приносят экзотическое вино и еду, новые наркотики, сплошную легкость и честность в половых вопросах. Никто не морочится одеванием. Они показывают друг другу свои нагие тела. Никто не тревожится, никто не завидует ее грудям или его пенису... Для всех это прекрасный расслабон. Лени репетирует свое новое имя: «Лени Хирш», – временами даже, когда они с Рихардом по утрам сидят за столиком кафе: «Лени Хирш», – и невероятно, только он улыбается, смущен, пытается отвести взгляд,

---

<sup>83</sup> Улочки (нем.).

но избежать ее глаз не может и наконец полностью разворачивается навстречу ее взору, громко смеется – смех чистой радости – и протягивает руку, в ладонь свою милую берет ее лицо...

Многоуровневым ранним вечером – балконы, террасы, публика, сгруппированная по разным слоям, все взоры устремлены вниз, к общему центру, галереи молодых женщин с зелеными листиками на талиях, высокие вечнозеленые деревья, лужайки, текучая вода и национальная серьезность, Президент посреди своего запроса Бундестагу – этим знакомым спертым гнусавым голосом – насчет огромных военных ассигнований вдруг срывается:

– Ох, в пизду... – *Fickt es*, фраза, которой вскоре суждено бессмертие, звенит в небесах, раскатывается по земле: *Ja, fickt es!* – Я возвращаю всех солдат домой. Мы закрываем военные заводы, всё оружие топим в море. Мне осточертела война. Мне осточертело просыпаться каждое утро и бояться, что умру.

И вдруг уже больше не получается его ненавидеть: он человек, теперь он такой же смертный, как любой. Будут новые выборы. Левые выдвинут женщину, чье имя не сообщается, но все понимают, что это Роза Люксембург. Прочие кандидаты подбираются такие неумелые или бесцветные, что за них никто не станет голосовать. Революция получит шанс. Президент обещал.

В банях, среди друзей – невероятная радость. Поистине радость: явления в диалектическом процессе не способны вызвать такой сердечный взрыв. Все влюблены...

#### ВОЙСКО ВЛЮБЛЕННЫХ МОЖНО РАЗБИТЬ.

Руди и Ваня съехали на споры об уличной тактике. Где-то капает вода. Улица всовывается, от нее никуда не деться. Лени это знает, ненавидит ее. Никак не отдохнуть... приходится верить чужакам, которые могут работать на полицию, если не прямо сейчас, то чуть погодя, когда улица так запустеет, что и не стерпеть... Хотела б она знать, как уберечь от этой улицы ребенка, но уже, наверное, слишком поздно. Франц – Франц никогда помногу на улице не бывал. Вечно какие-то отговорки. Переживает за безопасность, может попасться в случайный кадр какого-нибудь фотографа в кожаном пальто, они всегда на окраинах акций. Или:

– А что делать с Ильзе? А если там драка? – А если там драка, что делать с Францем?

Она пыталась объяснить ему про уровень, которого достигаешь, встаешь туда обеими ногами, когда теряешь страх, все к черту, ты проник в мгновенье, идеально соскальзываешь в его канавки, серо-металлические, но мягкие, как латекс, и вот фигуры уже танцуют, каждой хореограф определил то место, где она есть, коленки под жемчужного цвета платьем сверкают, когда девушка в платке нагибается за булыжником, мужчину в черном пиджаке и коричневой вязаной безрукавке хватают шуцманы, по одному за каждую руку, тот пытается не опустить голову, скалит зубы, пожилой либерал в грязном бежевом пальто пятится на шаг, чтоб на него не навалился падающий демонстрант, оглядываясь поверх лацкана как-вы-смеете или осторожней-только-не-меня, и очки его полнятся зиянием зимнего неба. Вот мгновенье – и его возможности.

Она даже пробовала – из тех основ счисления, которых нахваталась, – объяснить Францу: когда  $\Delta t$  стремится к нулю, стремится бесконечно, слои времени тоньше и тоньше – чередой комнат, и у каждой следующей стены серебрянее, прозрачнее, ибо чистый свет нуля все ближе...

Но он качал головой:

– Это другое, Лени. Важно довести функцию до ее предела.  $\Delta t$  – просто условность, чтобы это могло произойти.

Он умеет, умел несколькими словами все лишить восторга. И не особо подбирал эти слова притом: у него такое инстинктивно. Когда они ходили в кино, он засыпал. Заснул на «*Nibelungen*»<sup>84</sup>. Пропустил, как гунн Аттила с ревом налетел с Востока, чтобы истребить бургунов. Франц любил кино, однако смотрел его так – задремывая и просыпаясь.

<sup>84</sup> «*Nibelungen*» (нем.).

– Ты причинно-следственный человек, – кричала она. Как он соединяет те фрагменты, какие видел, открывая глаза?

Он и впрямь был человеком причинно-следственным: беспощадно цеплялся к ее астрологии, рассказывал, во что ей вроде бы надо верить, затем отрицал.

– Приливы, радиопомехи – черт, да больше толком ничего. Перемены там никак не могут производить перемены тут.

– Не производить, – пыталась она, – не вызывать. Все это идет вместе. Параллельно, не серийно. Метафора. Знаки и симптомы. Наносятся на карту в других системах координат, я не знаю... – Она и впрямь не знала, она лишь пыталась дотянуться.

Но он говорил:

– Попробуй что-нибудь вот так спроектировать, да еще чтоб оно работало.

Они посмотрели «Die Frau im Mond»<sup>85</sup>. Франц развлекался – эдак снисходительно. Придирался к техническим частностям. Спецэффекты создавали какие-то его знакомые. Лени же увидела мечту о полете. Одну из множества возможных. Реальный полет и мечты о полете идут вместе. И то, и другое – элементы одного движения. Не А, потом Б, но все вместе...

Хоть что-нибудь у него могло быть долговечным? Если бы еврейский волк Пфляумбаум не подпалил свою фабрику красок у канала, Франц, может, и посейчас трудился бы днями напролет на невозможную аферу этого еврея – разработать узорчатую краску, растворял бы один терпеливый кристалл за другим, с маниакальной тщательностью контролировал температуры, дабы при остывании аморфный завиток сумел бы – ну хоть на сей раз, а? – вдруг измениться, замкнуться в полоски, горошек, клеточку, звезды Давида, – а не нашел бы однажды ранним утром почернелую пустошь, банки краски, взорвавшиеся огромными выплесками кармазина и бутылочной зелени, вонь обгорелого дерева и лигроина, и Пфляумбаум не заламывал бы руки ой, ой, ой, подлый лицемер. И все ради страховки.

Поэтому Франц и Лени некоторое время очень голодали, а Ильзе что ни день росла у нее в животе. Работы подворачивались тяжкие и платили за них так, что и смысла нет. Это его доканывало. Потом он как-то вечером на топких окраинах встретил старого приятеля из Мюнхенского политеха.

Он бродил весь день, муж-пролетарий, расклеивал афиши какой-то счастливой кинофантазии Макса Шлепциха, а Лени тем временем лежала беременная, приходилось ворочаться, когда слишком вступало в спину, в мебелированном мусорном ящике, выходящем в последний из *Hinterhöfe*<sup>86</sup> их многоквартирного дома. Давно стемнело и жутко похолодало, когда его ведро с клейстером опустело, а все афиши расклеились – чтоб на них потом ссали, сдирали их, замалевывали свастиками. (Может, тот фильм входил в квоту. Может, там была опечатка. Но когда Франц пришел в кинотеатр в означенный на афише день, там стояла темень, пол в фойе завален обломками штукатурки, а изнутри театра – ужасный грохот, так шумят, когда здание сносят, только вот никаких голосов, ни лучика света... он покричал, но разрушение продолжалось, лишь громкий скрип раздавался в недрах под электрическим козырьком, который, как он теперь заметил, не горел ни единой буквой...) Он забрел, усталый как собака, на много миль к северу, в Райникендорф – квартал небольших фабрик, ржавые листы на крышах, бордели, ангары, кирпич вторгается в ночь и упадок, ремонтные мастерские, где вода для охлаждения изделий застояло лежит в чанах под пленкой пены. Лишь редкая россыпь огоньков. Пустота, сорняки на пустырях, на улицах никого: район, где каждую ночь бьется стекло. Должно быть, ветром несло Франца по грунтовке, мимо старого армейского гарнизона, ныне занятого местной полицией, среди сараев и инструментальных складов к провололочной ограде с воротами. Те были открыты, и он ввалился. Ощутил звук – где-то впереди. За лето до Миро-

<sup>85</sup> «Женщина на Луне» (нем.).

<sup>86</sup> Задние (внутренние) дворы (нем.).

вой войны он на каникулах ездил в Шаффхаузен с родителями, и они на электрическом трамвайчике отправились к Рейнским водопадам. Спустились по лестнице, вышли к деревянному павильончику с заостренной крышей – а вокруг сплошь облака, радуги, капли пламени. И рев водопада. Он держался за руки обоих, подвешенный с Мутти и Папи в холодной туче брызг, едва различая наверху деревья, прилепившиеся к кромке водопада влажным зеленым мазком, а внизу лодочки туристов, что подходят почти туда, где в Рейн низвергается потоп. Однако сейчас, в зимней сердцевине Райникендорфа он один, руки пусты, спотыкается по мерзлой грязи через старую свалку боеприпасов, заросшую ивой и березой, свалка разбухает во тьме к холмам, тонет в трясине. Где-то посреди перед ним громоздятся бетонные казармы и земляные укрепления 40 футов высотой, а шум за ними, шум водопада, нарастает, вызывая из памяти. Вот такие выходцы с того света нашли Франца – не люди, но формы энергии, абстракции...

Сквозь дыру в бруствере он затем увидел крохотное серебряное яйцо – пламя, чистое и неколебимое, вырывалось из-под него, освещая силуэты людей в костюмах, свитерах, пальто: люди наблюдали из бункеров или траншей. То была ракета на стенде: статические испытания.

Звук начал меняться – то и дело прерывался. Францу, изумленному донельзя, он не казался зловещим – просто другим. Но свет вспыхнул ярче, и фигуры наблюдателей вдруг стали падать по укрытиям, а ракета испустила запинаящийся рев, долгую вспышку, голоса завопили *ложись*, и Франц дерябнулся оземь как раз в тот миг, когда серебряная штуковина разорвалась, зашибенский бабах, металл завыл в воздухе там, где Франц только что стоял, Франц вжался в землю, в ушах звенит, даже холод не ощущается, в этот миг вообще никак не проверить, по-прежнему ли он в своем теле...

Подбежали ноги. Он поднял взгляд и увидел Курта Монтаугена. Всю ночь, а то и весь год ветер гнал их друг к другу. К такому вот убеждению Франц пришел: это все ветер. Теперь школярский жирок по большей части сменился мускулатурой, волосы редели, лицо темнее любого, что Франц наблюдал всю зиму на улицах, – темное даже в бетонных складках тени и пламени от разметанного ракетного топлива, – но это без сомнения Монтауген, семь или восемь лет прошло, а они тут же друг друга узнали. Они когда-то жили в одной сквознячной мансарде на Либихштрассе в Мюнхене. (Франц тогда в адресе видел знамение, ибо Юстус фон Либих был одним из его героев – героем химии. Позднее в подтверждение курс теории полимеров ему читал профессор-доктор Ласло Ябоп – последний в истинной цепочке преемников: от Либиха к Августу Вильгельму фон Хофману, затем к Херберту Ганистеру и к Ласло Ябопу, прямая сукцессия, причина-и-следствие.) Они ездили в Политех одним грохочущим *Schnellbahnwagen*<sup>87</sup> с его тремя контактами, хрупкими насекомыми ногами, что елозили, визжа, по проводам над головой: Монтауген изучал электромеханику. После выпуска уехал в Юго-Западную Африку – какой-то радиоисследовательский проект. Некоторое время они переписывались, потом бросили.

Встреча старых друзей продолжалась сильно допоздна в пивной Райникендорфа – со студенческими воплями посреди пьющего рабочего класса, ликующие и грандиозные поминки по ракетному испытанию – рисовали каракули на мокрых бумажных салфетках, все за столиком, уставленным стаканами, говорили одновременно, спорили в дыму и шуме о тепловом потоке, удельной тяге, расходе топлива...

– Это был провал, – Франц, покачиваясь под электрической лампочкой в три или четыре утра, на лице вялая ухмылка, – ничего не вышло, Лени, а они твердят лишь об успехе! Двадцать кило тяги и лишь на несколько секунд, но *раньше такого никто не делал*. Даже не верится, Лени, что я увидел такое, чего никто раньше не делал...

<sup>87</sup> Зд.: скоростной троллейбус (нем.).

Он собирался, считала она, обвинить ее в том, что она вырабатывала в нем рефлекс отчаяния. Но ей лишь хотелось, чтобы он повзрослел. Что это за вандерфогельский идиотизм – бегать всю ночь по болоту и провозглашать себя Обществом космических полетов?

Лени выросла в Любеке, в строю кляйнбургерских<sup>88</sup> домиков у самой Траве. Гладкие деревья, равномерно высаженные вдоль берега по бульжной улице, изгибали над водою долгие ветви. Из окна спальни Лени видела двойные шпили Кафедрального собора, что высились над крышами домов. Ее зловонное существование на берлинских задних дворах – лишь декомпрессионный шлюз; да и *как* иначе? Путь ее – прочь из этого суетливого душливого «бидермайера», ей должны заплатить в счет лучших времен, после Революции.

Франц шутя часто дразнил ее «Ленин». Никогда не возникало сомнений, кто из них активен, а кто пассивен, – и все равно она раньше надеялась, что он это перерастет. Разговаривала с психиатрами, ей известно про германского самца в пубертате. Валяются навзничь среди лугов и гор, смотрят в небо, дрочат и томятся. Судьба ждет – тьма, сокрытая в текстуре летнего ветерка. Судьба предаст тебя, раздавит твои идеалы, доставит тебя к тому же тошнотворному *Bürgerlichkeit*<sup>89</sup>, что и твоего отца, который сосет трубку на воскресных прогулках после церкви мимо строя домов у реки, – оденет в серый мундир еще одного человека семейного, и, даже не пикнув, станешь трубить свой срок, улетишь от боли к долгу, от радости к работе, от верности к нейтралитету. Вот так с тобой поступает Судьба.

Франц любил Лени невротично, мазохистски, принадлежал ей и верил, что она вынесет его на спине – куда Судьба не дотянется. Будто Судьба эта – тяготение. Как-то ночью он полупроснулся, зарывшись лицом ей в подмышку, бормоча:

– Твои крылья... ох, Лени, твои крылья...

Но ее крылья способны нести лишь ее вес, и, надеется она, – Ильзе, и то недолго. Франц – балласт. Пусть полета своего ищет на Ракетенфлюгплац, куда ходит, чтоб им пользовались военные и картели. Пусть летит на мертвую луну, если хочет...

Ильзе проснулась и плачет. Весь день без еды. Надо все-таки попробовать к Петеру. У него найдется молоко. Ревекка протягивает то, что осталось от пожеванной хлебной корки:

– Может, ей понравится?

Маловато в ней еврейского. Почему половина ее знакомых левых – евреи? Она тут же напоминает себе, что и Маркс еврей. Расовая тяга к книгам, к теории, раввинская любовь к громким спорам... Она дает корку ребенку, берет ее на руки.

– Если он сюда придет, скажи, что не видела меня.

К Петеру Саксе они добираются уже сильно затемно. Вот-вот начнется сеанс. Она тут же конфузится своего неопрятного пальто, хлопкового платья (подол слишком высок), сбитых туфель – все в городской пыли, – нет украшений. Очередные мещанские рефлексы... рудименты, надеется она. Но тут по большей части старухи. А прочие – *слишком* блистательны. Гм-м. Мужчины выглядят зажиточнее обычного. Там и сям Лени подмечает серебряные свастики на лацканах. На столе вина великолепных 20-го и 21-го. «Schloss Vollrads»<sup>90</sup>, «Zeltinger», «Piesporter» – явно Торжество.

Сегодняшняя задача – войти в контакт с покойным министром иностранных дел Вальтером Ратенау. В Гимназии Лени с другими детьми распевала очаровательную антисемитскую уличную дразнилку того времени:

Knallt ab den Juden Rathenau,

<sup>88</sup> От нем. мелкая буржуазия, мещанство.

<sup>89</sup> Бюргерство, обывательство, мещанство (нем.).

<sup>90</sup> «Замок Фольрадс» (нем.).

Die gottverdammte Judensau...<sup>91</sup>

После того, как на него совершили покушение, она ничего не пела много недель – верила, что если все это получилось и не из-за дразнилки, то уж точно песенка была пророчеством, заклинанием...

Сегодня послания особые. Вопросы к бывшему министру. Идет процесс деликатной сортировки. По причинам безопасности. В салон Петера допускаются лишь определенные гости. Недоходяги не доходят, остаются снаружи, сплетничают, от напряжения скалят десны, елозят руками... На этой неделе – большой скандал вокруг «ИГ Фарбен»: невезучая дочерняя компания «Spottbilligfilm<sup>92</sup> AG», там всей верхушке грозит чистка за то, что отправили отделу закупок вооружения OKW предложение по разработке нового воздушного луча, который намертво ослепляет все живое в радиусе десяти километров. Наблюдательная комиссия «ИГ» вовремя перехватила аферу. Бедняжка «Шпоттбиллихфильм». Их коллективному разуму не пришло в голову, что подобное оружие сделает с рынком красителей после будущей войны. Ментальность *Götterdämmerung*<sup>93</sup> во всей красе. Оружие было известно под названием «L-5227»: «L» означало «Licht», свет, еще один комичный германский эвфемизм, как «А» в маркировке ракет, что означает «агрегат», либо само обозначение «ИГ» – *Interessengemeinschaft*, родство интересов... а как насчет дела о катализаторном отравлении в Праге – правда ли, что Персонал Группы VIб Центра Радиохимического Ущерба вылетел по тревоге на восток, а отравление комплексное, как селен, так и теллур... от одних названий ядов беседа трезвеет, как при упоминании рака...

Элита, что будет сегодня вечером сидеть на сеансе, – корпоративные нацисты, среди которых Лени узнает не кого-нибудь, а генералдиректора Смарагда из того филиала «ИГ», что некоторое время интересовался ее мужем. Но затем вдруг все контакты прервались. Было бы таинственно, даже зловеще, вот только в те дни все было разумно валить на экономику...

В толпе она взглядом встречается с Петером.

– Я от него ушла, – шепчет она, кивая, пока он пожимает руки.

– Ильзе можешь положить в какой-нибудь спальне. Поговорим позже? – Сегодня в глазах его определенно фавнов прищур. Примет ли он то, что она – не *ego*, не больше, нежели Францева?

– Да, конечно. Что происходит?

Он фыркает, в смысле – *мне не доложили*. Они его используют, и уже – разные они – десять лет. Только он никогда не знает, как именно, разве что по редкой случайности, намеком, перехваченной улыбкой. Искаженное и вечно затуманенное зеркало, улыбки клиентов...

Зачем им сегодня Ратенау? Что на самом деле, падая, шепнул Цезарь своему протеже? *Et tu, Brute*<sup>94</sup>, официальная ложь – вот примерно и все, чего можно от них добиться, не говорит ровным счетом ничего. Миг покушения – тот, когда сходятся вместе власть и невежество власти, и Смерть здесь – итог. Одно заговаривает с другим не для того, чтобы тратить время на эту-Брутов. Одно другому сообщает истину, ужасную настолько, что история – в лучшем случае сговор, и не всегда джентльменский, с целью надуть – никогда ее не признает. Истина будет подавляться либо, если эпохи особо элегантны, маскироваться под нечто иное. Что может сказать Ратенау – его миг прошел, он уже много лет в своем новом потустороннем существовании – о старом добром Божьем промысле? Вероятно, не будет откровений, какие могли бы случиться, едва смертные нервы его вспыхнули в шоке, едва налетел Ангел...

<sup>91</sup> Зд.: Ратенау, свинский жид. Будет бомбою убит (*нем.*).

<sup>92</sup> От *нем.* «фильмы за бесценок».

<sup>93</sup> Сумерки богов (*нем.*).

<sup>94</sup> И ты, Брут (*лат.*).

Но поживут-увидят. Ратенау – согласно историям – был пророком и архитектором картелизованного государства. Из крохотного поначалу бюро Военного министерства в Берлине во время Первой мировой он координировал всю германскую экономику, контролировал поставки, квоты и цены, вторгался и сносил барьеры секретности и собственности, отделявшие одну фирму от другой: корпоративный Бисмарк, пред чьей властью ни один гроссбух не свят, ни одна сделка не тайна. Его отец Эмиль Ратенау основал «АЭГ», немецкую «Всеобщую компанию электричества», но молодой Вальтер – отнюдь не только промышленный наследник: он философ, прозревающий послевоенную Державу. Протекавшую войну он рассматривал как мировую революцию, из которой восстанет не Красный коммунизм, не безудержные Правые, но рациональная структура, где истинной, законной властью будет предпринимательство, – структура, основанная, что неудивительно, на той, которую он спроектировал в Германии для ведения Мировой войны.

Отсюда и официальная версия. Вполне грандиозная. Но генералдиректор Смарагд и коллеги здесь не ради баек, в какие даже массы верят. Тут чудится – если достанет паранойи – едва ль не сотрудничество: между обеими сторонами Стены, материей и духом. Что такое они *знают*, неведомое безвластным? Что за ужасная структура таится за фасадами многообразия и предприимчивости?

Юмор висельника. Проклятая салонная игра. Вообще-то Смарагд в такое верить не может – Смарагд-специалист и Смарагд-управляющий. Ему, наверно, подавай лишь знаки, приметы, подтверждения того, что уже бытует, над чем можно похихикать среди членов *Herrenklub*<sup>95</sup>: «Даже еврей нас благословил!» Что б ни поступило сегодня вечером через медиума, они все исказят, отредактируют, превратив в благословение. Это презрение редчайшего порядка.

В тихом уголке комнаты, полной китайской слоновой кости и шелковых драпировок, Лени отыскивает диван, ложится, свесив ногу, пытается расслабиться. Франц уже наверняка дома, вернулся со своего ракетного поля, моргает под лампочкой, пока соседка фрау Зильбершлаг вручает ему последнюю записку Лени. Сегодня вечером посланья несомы огнями Берлина... неоновыми, накаливания, звездными... послания сплетаются в сеть информации, коей никому не избежать...

– Путь свободен, – голос движет губами Саксы и напряженным белым горлом. – Вы там у себя обречены идти по нему постепенно, шаг за шагом. Но отсюда видна вся форма сразу – не мне, я не так далеко ушел, – но многие узнают в ней ясное присутствие... слово «форма» не очень годится... Позвольте говорить откровенно. Мне все труднее ставить себя на ваше место. Возможные ваши беды, даже всемирного значения, многим из нас кажутся здесь лишь банальными отклонениями. Вы встали на извилистый и трудный путь, вы считаете его широким и прямым, автобаном, по какому можно ехать с удобством. Стоит ли говорить: все, что вы считаете подлинным, – иллюзия. Я не знаю, выслушаете вы меня или отмахнетесь. Вам хочется знать лишь про свой путь, свой автобан... Ладно. Мовеин: вот что в схеме. Изобретение мовеина, анилинового пурпура, розовато-лилового, его приход на ваш уровень. Вы слушаете, генералдиректор?

– Слушаю, герр Ратенау, – отвечает Смарагд из «ИГ Фарбен».

– Тирский пурпур, ализарин и индиго, прочие красители на основе каменноугольного дегтя уже существуют, однако важен анилиновый пурпур. Уильям Пёркин открыл его в Англии, но Пёркина выучил Хофман, которого выучил Либих. Сукцессия. Карма присутствует в ней разве что в весьма ограниченном смысле... еще один англичанин Херберт Ганистер, и поколение химиков, которых выучил он... Затем открытие онейрина. Спросите своего Вимпе. Он специалист по бензилизохинолинам. Присмотритесь к клиническому воздействию медикамента.

<sup>95</sup> Мужской клуб (нем.).

Я не знаю. Пожалуй, вам стоило бы копать в этом направлении. Оно сливается с линией мовеина-Пёркина-Ганистера. У меня же есть лишь молекула, набросок... Метонейрин в виде сульфата. Не в Германии – в Соединенных Штатах. С Соединенными Штатами есть связка. Связка с Россией. Как по-вашему, почему мы с фон Мальцаном довели Рапальский договор до подписания? Необходимо было двигаться на Восток. Вимпе вам расскажет. Вимпе, *V-Mann*<sup>96</sup>, присутствовал всегда. Как по-вашему, почему нам так хотелось, чтобы Крупп продавал им сельхозтехнику? И это было частью процесса. В то время я не понимал так ясно. Но я знал, что должен делать... Возьмите уголь и сталь. Есть место, где они встречаются. Рубеж между углем и сталью – каменноугольный деготь. Вообразите уголь – лежит в земле, мертво черный, никакого света, сама сущность смерти. Смерти древней, доисторической, биологических видов, которых *мы больше никогда не увидим*. Стареет, чернеет, залегают все глубже слоями нескончаемой ночи. А над землей выкатывается сталь, ярая, яркая. Но чтобы создать сталь, из первоначального угля надо удалить дегти – они темнее и тяжелее. Экскременты земли, вычищенные, дабы воссияла благородная сталь. Обойденные... Мы считали, что это промышленный процесс. Нет – не только. Мы обошли каменноугольные дегти. В недошедшем навозе ждала тысяча разных молекул. Таков знак откровения. Развертывания. Таково одно из значений мовеина – первого нового цвета на Земле, который выпрыгнул на свет Земли из могилы, залегающей на милях, в зонах глубины. Есть и другое значение... сукцессия... Я пока так далеко заглянуть не могу... Но все это – подражание жизни. Подлинное движение – не от смерти и не к возрождению. Оно – от смерти к смерти-преображенной. В лучшем случае вам удастся полимеризовать несколько мертвых молекул. Но полимеризация не есть воскрешение. Я о вашем «ИГ», генералдиректор.

– Я бы решил – о *нашем* «ИГ», – отвечает Смарагд – льда и чопорности больше обычного.

– Тут разбираться вам. Если предпочитаете звать это контактом – на здоровье. Я здесь столько, сколько вам нужен. Меня можно не слушать. Вам бы, наверное, лучше послушать про то, что вы зовете «жизнью» – про растущий, органический *Kartell*? Но это всего лишь очередная иллюзия. Очень умный робот. Чем динамичнее он вам кажется, тем он глубже и мертвее. Посмотрите на дымовые трубы – как они множатся, рассеивая пустопорожние отходы первоначальных отходов над массивами городов, все больше и больше. По структуре они крепче всего в сжатии. Дымовая труба способна пережить любой взрыв – даже ударную волну какой-нибудь новой космической бомбы... – при этих словах вокруг стола разносится легкий шепоток, – как всем вам наверняка известно. Упорство, стало быть, структур, расположенных к смерти. Смерть обращается в новую смерть. Совершенствует свое господство – так погребенный уголь плотнеет, покрывается новыми стратами: эпоха поверх эпохи, город поверх развалин города. Таков знак Смерти-подражателя... Знаки эти реальны. Кроме того, они – симптомы процесса. Процесс следует той же форме, той же структуре. Чтобы его постичь, вы будете следовать знакам. Все разговоры о причине и следствии – мирская история, а мирская история – отвлекающая тактика. Вам, господа, это полезно, а нам здесь – уже нет. Если хотите истины – я понимаю, что это смелое допущение, – загляните в механику таких вопросов. Даже в самые сердцевинки определенных молекул – это они, в конце концов, задают температуры, давления, мощности потока, стоимости, прибыли, силуэты башен... Следует задать два вопроса. Первый: какова подлинная природа синтеза? И затем: какова подлинная природа контроля?.. Вы полагаете, будто вам это известно, цепляетесь за свои убеждения. Но рано или поздно вам придется разжать пальцы...

Молчание длит себя само. Вокруг стола кто-то ерзает на стульях, но комплекты мизинцев остаются в контакте.

<sup>96</sup> От нем. *Verbindungsmann* – связной, агент, посредник.

– Герр Ратенау? Можно еще вопросик? – Это Хайнц Риппенштосс, неугомонный нацистский остряк и непоседа. Присутствующие хихикают, а Петер Сакса уже возвращается к себе. – Бог правда еврей?

\* \* \*

Пумм, Остерлинг, Дромон, Фонарер, Спектро – звезды на докторовой рождественской елке. Низвергают сияние в эту священнейшую из ночей. Всякий – хладный знак тупика; солнца, что ушли на века, мчатся к югу, вечно к югу, нам же – только север и тоска. Но Кевин Спектро – ярчайшая, самая далекая. А толпы бурлят в Найтсбридже, и по радио за гимном гимн, и в подземке – разбойные толпы, а Стрелман – совсем один. Но он-то подарочек на Рождество получил, тра-ля-ля, ему не надо обходиться, допустим, собачкой из жестянки от «Спама», ребятки, у него свое чудесное дитя человеческое, возмужавшее, и все же где-то в Ленигропной коре головного мозга несет оно толику детства самой Психологии – вот именно, чистая история, инертная, инкапсулированная, нетронутая джазом, депрессией, войной: выживание, если угодно, ошметка самого д-ра Ябопа, ныне покойного, за смертью, за расчислением этой... этой самой центральной, понимаете ли, камеры...

Ему некого спросить, некому рассказать. Сердце мое, чувствует он, мое сердце переполнено таким мужеством, такой надеждой... Новости с Ривьеры замечательные. *Здесь* опыты пошли для разнообразия гладко. Из некоего невнятного перехлеста, общих ассигнований или какого-то фонда погашения Бригадир Мудинг даже увеличил финансирование ГАВ. Тоже чует Стрелманову власть? Страховкой запасается?

То и дело по ходу дня замороженный Стрелман обнаруживает у себя эрегированный пенис. Принимается шутить – английские павловские шуточки, и почти все происходят из одной несчастливой случайности: латинское «саруп» в переводе с немецкого – гибель, а уж кому не известно юмористическое обозначение собаки «кабыздох» (шуточки эти весьма дурны, и большинству народу в ПИСКУС хватает ума уклоняться, но оные шуточки – блистательные остроты по сравнению с теми, что *вне* принятого, вроде прекрасного а-ля кокни «Как зовут голого фюрера?»). Где-то посреди ежегодной рождественской вечеринки ПИСКУС Моды Чилкс ведет Стрелмана в кладовку, где полно белладонны, марли, длинноносых воронок и стоит вонь медицинской резины, красными коленками грохается на пол, расстегивает Стрелману штаны, а он, растерянный, господи боже, гладит ей волосы, неуклюже вытряхивает почти всю ее шевелюру из винного цвета ленты; ну-ка, что это у нас тут, настоящая, гладкая и малиновая, жаркая, скрипуче-обтянутая рабыня, «мясо», да-с, прямо в этих зимне-бледных больничных коридорах, и далекий граммофон играет румбу, басы, вудблоки, различимо изнуренное дутое стекло тропических струнных каденций – там все танцуют на оголенных полах, и старая палладианская скорлупка, моллюск о тысяче покоев, поддается, резонирует, сдвигает нажимы по стенам и балкам... храбрая Мод, это невероятно, вбирает розовый хуй павловца, докуда войдет, подбородок над ключицей вертикально, точно шпагу глотает, и всякий раз, отпуская его, эдак легонько, по-дамски, задышливо давится, и цветочно распускаются пары дорогого скотча, а ее руки хватают обвисшую шерсть его штанов на зад, мнут-расправляют – все происходит так быстро, что Стрелман лишь покачивается, помаргивает чуток, знаете, пьяновато, размышляет, снится ли ему или он открыл идеальный коктейль, вспомнить бы – амфетамина сульфат 5 мг 1 р. / 6 ч., вчера перед сном 0,2 г амобарбитала натрия, утречком россыпь витаминных капсул на завтрак, алкоголя – унция, скажем, в час, в течение последних... это сколько же выходит кубиков и ох ты господи, вот и конец. Кончаю же, да? точно... что ж... а Мод, дорогуша Моды, глотает, ни капли не упустив... тихонько улыбается, наконец избавленная от затычки, возвращает опадающего ястреба в стылое холостяцкое гнездышко, но еще недолго стоит на коленях в кладовке этого мгновения, сквознячного, белым светом зали-

того мгновенья, что-то из Эрнесто Лекуоны – наверное, «Сибоней» – теперь несется к ним по коридорам, длинным, как морские пути к зеленым мелководьям, склизким каменным фортам и пальмовым вечерам Кубы... викторианская поза, ее щека прижимается к его ноге, его рука со вздутыми венами – к ее лицу. Но никто их не видел, ни тогда, никогда, и в предстоящую зиму то там, то сям она пересечется с ним взглядом и покраснеет, как ее колени, может, раз-другой забежит к нему в комнату при лаборатории, но отчего-то больше это не повторится, эти внезапные тропики в затаенном дыхании войны и английского декабря, этот миг совершенного мира...

Некому рассказать. Что-то затевается будь здоров – это Мод знает, через ее руки проходят все финансы ПИСКУС, от нее ничего не ускользнет. Но он *не может* ей сказать... ну то есть не все, не *свою надежду в точных терминах*, он никогда, самому себе даже... она таится впереди, во мраке, определяема наоборот – ужасом, тем, как все надежды еще могут быть разгромлены и лишь пустыньскую тупую шуточку, собственную смерть найдет он в конце своего Пути Павловца.

Ныне и Томас Гвенхидви чувствует перемену, что фибриллирует в походке и лице коллеги. Жирный, с преждевременно поседевшей Санта-Клаусовой бородой, кренящийся помятый затейник, всякую секунду выступает, говорить пытается двояко – валлийская комическая провинциальность и твердо-алмазная, до нищеты опустившаяся правда, слышать можете, что заблагорассудится. Поет невероятно, в свободное время бродит вдоль стальных сеток взлетно-посадочной полосы для истребителей, ищет самолеты побольше – ибо любит репетировать басовую партию «Венца», пока со всей мощью своей стартует «Летающая крепость», но и тогда, понимаете ли, за бомбардировщиками его слышно – вибрацией в костях, чистотой, до самого Стоук-Поуджиса. Как-то раз одна дамочка даже написала в «Таймс» из Лутон-Ху, Бедфордшир, – спрашивала, кто там с таким прекрасным низким голосом поет «Венец». Какая-то миссис Мандул. Гвенхидви любит хорошенько поддать, хлебный спирт в основном, в обильных странных варевых мешая его, как настоящий чокнутый ученый, с говяжьим бульоном, гренадинам, сиропом от кашля, горькими и отрыжливими настоями шлемника, валерианового корня, пустырника и венерина башмачка – да со всем, что под руку подвернется. Вот он, крепкий алкоголический дух, воспетый в народных преданьях и балладах. Гвенхидви – прямой потомок уэльца из «Генриха V», что всех заставлял съесть свой Порей<sup>97</sup>. Впрочем, не из малоподвижных пьяниц. Стрелман в жизни не видел, чтоб Гвенхидви не стоял на ногах или стоял спокойно – тот бесконечно мечется, крен на правый борт, стоп машина, каналья, – мимо долгих рядов больных или умирающих лиц, и даже Стрелман замечал суровую любовь в мелких жестах, сбивках дыхания и голоса. Они – черные, индийцы, ашкеназы, говорят на диалектах, каких не услышишь на Харли-стрит; их разбомбили, выморозили, заморили голодом, дурно укрыли, и в их лицах, даже в детских, читается некое древнее знакомство с болью и превратностями судьбы, кое поражает Стрелмана, больше поляризованного на Вест-Эндские реестры благовоспитанных знаков и симптомов, психических анорексий и запоров, что уэльца выводили б из себя. В палатах Гвенхидви у некоторых Базовый Метаболизм вообще почти не летает — 35, –40. Белые линии поверх рентгеновских призраков костей утолщаются, серые мазки из-под языков под его черно-морщинистым микроскопом расцветают облаками траншейных гингивитных оккупантов, что заточили мерзкие клычки, примериваются изъязвить авитаминозную ткань, из коей вышли. Совсем другой, видите ли, коленкор.

– Я не знаю, мужик, – ну я не знаю, – махнув в сторону госпиталя толстой замедленной рукой из-под плаща ежиного цвета, по дороге среди снегопада – для Стрелмана водораздел очевиден, тут монахи, там храм, солдаты и гарнизон, а для Гвенхидви нет, часть его остается там в заложниках. Улицы пустыньны, Рождество на дворе, они бредут в горку домой к Гвенхи-

<sup>97</sup> Цит. по перев. Е. Бируковой.

двигаясь, а тихий снежный занавес все падает, падает меж ними и продырявленными больничными стенами, что каменным параллаксом маршируют прочь в белый сумрак. – Какие *упрямые*. Бедные, черные. А евреи! Уэльсы – уэльсы когда-то тоже были евреями, да? одно из потерянных колен Израилевых, черное колено, что веками бродило по земле, да? о-о, невероятное странствие. А затем, видишь ли, они таки добрались до Уэльса.

– До Уэльса...

– Осели и превратились в валлийцев. А вдруг мы, видишь ли, все евреи? все разбросаны, как семена, да? со стародавних времен все вылетаем из первобытного кулака. Я, мужик, в это верю.

– Ну еще бы.

– Ну а разве нет? А ты?

– Не знаю. Мне сегодня как-то не еврейски.

– Ты-то вылетаешь?

Один, отделен навсегда – вот он о чем: Стрелман понимает, о чем он. И что-то в нем тронуту врасплох. К трещинам сапог подступил рождественский снег, кусачий холод старается протиснуться внутрь. На краю поля зрения движется бурый шерстяной фланг Гвенхидви, цветовая зона, форпост перед этим белеющим днем. Вылетает. Летит... Гвенхидви – миллион ледяных крапинок косо падают на закутанную его громаду, посмотришь – угасание его так невозможно, что оттуда, где прятался, возвращается этот пьяно-рыскающий болтливый страх, Проклятие Книги, а перед Стрелманом тот, кого он поистине, всей своей подлой душой желает сохранить... впрочем, он слишком застенчив, слишком горд, даже не улыбнется Гвенхидви, не произнеся некоей речи, что объяснит и зачеркнет улыбку...

Собаки скачут, гавкают, едва появляются эти двое. Стрелман оделяет их Профессиональным Взглядом. Гвенхидви мурлычет «Аберистуит». Навстречу выходит дочка привратника Эстелл, под ногами дрожащий ребенок-другой, в руках рождественская бутылка, в бутылке что-то едкое, но весьма согревающее грудь спустя примерно минуту после проникновения в недра. Коридоры провоняли чадом, мочой, отбросами, вчерашним жарким. Гвенхидви прихлебывает из бутылки, затевает с Эстелл обычную кокетливую возню и по-быстрому играет в «где-же-мальчик-вот-же-мальчик» с ее младшим Арчем, который прячется за широкий мутовый абрис материнского бедра, и Эстелл все пытается его шлепнуть, только он слишком прыток.

Гвенхидви дышит на газовый счетчик – тот насквозь промерз, так застыл, что монеток не глотает. Мерзопакостная погодка. Гвенхидви весь окружает счетчик собой, клянет его, елозит, точно киношный любовник, полы плаща вот-вот окутают... Гвенхидви светится солнышком...

За окнами гостиной – шеренга лысых тополей армейского окраса, канал, заснеженное депо, а дальше длинная зубчатая груда угольных обломков, еще дымится после вчерашней V-бомбы. Дранный дым криво сносит снегопадом, завивает, разрывает и вновь прибывает к земле.

– Ближе еще не падала. – Гвенхидви над чайником, разносится кислая вонь серной спички. И затем, по-прежнему сторожа газовое кольцо: – Стрелман, хочешь, взаправду параноидально скажу?

– И ты туда же?

– Ты в последнее время на карту Лондона смотрел? Эта титаническая метеор-ная казнь египетская, V-бомбы эти, сбрасываются, видишь ли, *здесь*. Не на Уайтхолл, куда полагается, а на меня, и это, по-моему, паскуд-ство, да?

– Чертовски непатриотичные вещи говоришь.

– Ой, – откашливаясь и харкая в раковину, – ты просто верить не хочешь. Ну да, тебе-то зачем? Красавцы с Харли-стрит, боженка всемогущий.

Старая игра у Гвенхидви, дразнить члена Королевского колледжа. Какой-то необычный ветер или же термоклин в небесах плещет на них низким гудящим хоралом американских

бомбардировщиков: белый «Куманва Гани» Смерти. Маневровый локомотив беззвучно ползет внизу путевой паутиной.

– Они падают по Пуассонову распределению, – робко отвечает Стрелман, словно это еще можно оспорить.

– Несомненно, мужик, несомненно – блестящее наблюдение. Но видишь ли, блядь, – сплошь на *Ист-Энд*. – Арч или еще кто нарисовал буро-сине-рыжего Гвенхидви, который несет докторский саквояж вдоль плоской линии горизонта мимо зеленого газгольдера. Саквояж набит бутылками джина, Гвенхидви улыбается, из гнезда в бороде выглядывает дрозд, и небо синее, а солнце желтое. – Ты вообще задумывался, почему? Вот тебе Городской Параноик. Долгими веками рос по деревьям, да? как разумное существо. Актер, фантастический *имитатор*, Стрелман! Фальсифицирует правильные силы, да? экономические, демографические? Ах да, и даже, видишь ли, случайные.

– Что значит «видишь ли»? Я *не* вижу.

Против окна, сзади подсвеченное белым предвечерем, лицо Стрелмана незримо, помимо крошечных ярких полумесяцев, что блестят по кромке глазных яблок. Может, пора нащупывать за спиной шпингалет? Может, шерстяной валлиец все ж таки бесповоротно помещался?

– Ты не видишь *их*, – вот уже пар тугой парчой извергается из стального лебединого носика, – черных и евреев, в их тьме. Ты не умеешь. Не слышишь их тишины. Ты уже так привык к трепу и к свету.

– Ну, к лаю привык, да.

– Видишь ли, сквозь мой гос-питаль проходят сплошные неудачники. – Таращится с застылой, идиотски-пьяной улыбкой. – Что я могу вылечить? Только отослать их обратно, опять наружу? Обратно к вот *этому*? Ну и какая разница, что у нас тут не Европа, – та же бойня, наложить шины, накачать лекар-ствами, загнать в мини-сту-пор такой, чтоб убийство не кончалось?

– Ну слушай, война идет – ты что, не в курсе?

В ответ на сие Стрелман вместе с чашкой получает ужасную гримасу. Правду сказать, он надеется кретинскими своими бестолковостями сбить Гвенхидви с этой темы про Городского Параноика. Стрелман лучше бы поболтал о ракетных жертвах, что поступили сегодня в гос-питаль. Но это экзорцизм, мужик, песнь посылает в тишину поэт, заклиная белых ездоков, и Гвенхидви знает, как не может знать Стрелман, что это и есть отчасти план на сегодня – сидеть в убогой комнате и кричать в такую вот глухоту: что мистеру Стрелману уготовано сыграть именно себя – условного, раздражительного, непонятливого...

– В одних городах богатые живут на взгорьях, а бедные ютятся внизу. В других богатые заполонили побережье, а бедным остается жить далеко от моря. А в Лондоне градиент горестей, да? повышается, где река ширится к морю. Я просто спрашиваю – почему? Потому что пароходство? Потому что система землепользования, еще со времен Индустриальной Эры? Потому что такое вот древнее племенное табу передавалось англичанам из одного поколения в другое? Нет. Видишь ли, подлинная причина – Угроза с Востока. И с Юга: со всей европейской махины, ага. Здесь людям было *назначено пасть первыми*. Мы расходны, а те, что в Вест-Энде и к северу от реки, – нет. Я не говорю, что у этой Угрозы та или иная конкретная форма. Не политическая, отнюдь. Если Городской Параноик грезит, *нам* туда хода нет. Может, Город грезил о другом, вражеском городе, что плывет по морям, дабы вторгнуться в дельту... или о волнах тьмы... волнах огня... Может, о том, что его снова проглотит гигантский, безмолвный Материнский Континент, да? Городские грезы – они не про *меня*... Но что, если Город – растущая опухоль, веками неустанно менялась, чтоб точно совпасть с меняющейся формой своих наихудших, тайных страхов? Потасканные пешки, опозоренный офицер и трусливый конь – все, что мы обрекли, безвозвратно потеряли, голое, брошено

здесь ждать. Это было известно, не отрицай – *было известно*, Стрелман! – что однажды Европейский фронт *должен* повернуться вот так? сдвинуться к востоку, потребовать ракет, и *было известно*, как и где ракеты не долетят. Спроси дружка своего Мехико, да? посмотри на плотности у него на карте? К востоку, к востоку и к югу от реки, где и живут все таракашки, вот кому *полной* мерой отмерили, друг мой.

– И впрямь, Гвенхидви, – рассудительно, прихлебывая чай, – это очень параноидально.

– Это правда. – Уже извлек праздничную бутылку «ВАТ-69» и вознамерился налить. – За деток. – Ухмыляется, совсем сбрендил.

– За деток?

– А. У меня ж тут *своя* карта, да? Набра-сываю дан-ные из родиль-ных палат. Дет-ки, рожденные при Блище, то-же, видишь ли, сле-дуют Пуассо-нову распределению.

– Ну – тогда за эдакое уродство. Бедолаги.

Позже, ближе к закату эльфами из-под стенных панелей являются несколько громадных прусаков, очень темных, красновато-бурых, и с топотом шагают в кладовую – беременные матки тоже, а в эскорте конвоем текут младенчески прозрачные таракашки. Ночью, в очень поздних затишьях между бомбардировщиков, огня зениток и ракетных ударов, их слышно – шумные, как мыши, жуют бумажные пакеты Гвенхидви, оставляя за собою струйки и отпечатки говна цветом как они сами. Мягкую пищу они, видимо, любят не слишком – фрукты, овощи и все прочее; им бы чего потверже – чечевицу и бобы, им бы пожевать, побуравить бумажные и штукатурные преграды, твердые рубежи, ибо они, видите ли, – агенты унификации. Рождественские тараканы. Обитали в соломенных глубинах яслей в Вифлееме, спотыкались, всползали, падали, посверкивая красным в золотой решетке соломы – вероятно, им казалось, что она простирается на мили вверх и вниз съедобным жилым миром, – то и дело прогладывали насквозь, сбивая некий таинственный сноп векторов, отчего соседи-тараканы плюхались мимо кубарем, кверху жопами, усиками вниз, а ты цеплялся всеми ногами в нескончаемой трясучке золотых соломин. Безмятежный мир: температура и влажность почти стабильны, дневной цикл притуплен до мягкого, легкого колыханья света, не больше, – золото, потускневшее золото, тени, а потом обратно. Возможно, из незримых далей взрывами энергии долетал до тебя плач младенца, почти неосязаемый, нередко неслышанный. Твоего, видишь ли, спасителя...

\* \* \*

Две золотые рыбки в аквариуме изображают знак Рыб, валетом, совсем замерли. Пенелопа сидит и вглядывается в их мир. Там есть утопший галеончик, фарфоровый ныряльщик в водолажном костюме, красивые камешки и ракушки, которые Пенелопа с сестрами привезли с моря.

Тетя Джессика и дядя Роджер целуются и обнимаются в кухне. Элизабет дразнит Клэр в прихожей. Их мать в тубзике. Кошка Сажа спит в кресле – черная грозовая тучка на пути в неведомое далёко, но так вышло, что сейчас она с виду кошка. День подарков. Вечер совсем замер. Последняя «жужелица» упала час назад, где-то на юге. Клэр подарили черномазую куклу, Пенелопе свитер, Элизабет – платье, в которое вращет Пенелопа.

Представление, куда Роджер повел их всех днем, называлось «Гензель и Гретель». Клэр тотчас нырнула под сиденья, где и другие ползали тайными тропами, вспышка белого воротничка или косички между высоких внимательных дядь в форме, между спинок сидений, занавешенных шинелями. На сцене в клетке съезжился Гензель, которому положено быть мальчиком, но вообще-то он высокая девочка в блузке и трико. Смешная старая Ведьма пускала пену ртом и лазила по декорациям. А красивая Гретель ждала своего шанса у Печи...

И тут на улице возле театра немцы уронили ракету. Несколько младенцев заревели. Напугались. Гретель – она как раз замахивалась метлой, чтоб захватить Ведьме прямо по попе, – застыла; отложила метлу, в сгустившейся тишине шагнула к рампе и запела:

Спасайся кто может,  
Сдаваться негоже, но  
Жуткая рожа вас – цап:  
Большущая бяка вам в кудри вот-вот  
Когти запустит и вас украдет!  
Зеленщик три желанья задумал уже,  
Дворник галстук себе повязал...  
Хоровод наш бурлив под веселый мотив  
С мятной дыней в шальных небесах!

– А теперь подпевайте, – улыбнулась она и по правде заставила зрителей, даже Роджера, петь:

С мятной дыней в шальных небеса-ах  
Свет мечты у вас в сердце погас,  
Тортом в морду у всех на глаза-ах —  
Представленья начнется сейчас!  
Томми в сугробе сегодня заснул,  
А в небе раздолье мышам:  
Мы луну не сдадим, выше полдня взлетим,  
В целлофановом доме шурша...  
Целлофановый дом в облаках,  
В кулаке же – красивый лимон,  
Ваша мама – толстуха мортира,  
А ваш папа – унылый пижон...

(Шепотом, стаккато):

Ди-рек-тор со-сет кукуруз-ную трубку,  
Бан-кир ест же-ну на обед,  
Весь мир обалдел, оркестр взопрел,  
Карман подставляйте – вот вам камуфлет —

Карман подставляйте – вот вам каму-флет:  
Никого нет у вас за спиной!  
А на лестнице свет тихо гаснет,  
Бал окончен, и время домой...  
Пальмы шепчутся где-то на пляже  
И спасатель пустился вздыхать,  
Лучшей Пары Детей голоса все слышней —  
Дети учатся умирать...

Кресло Пенелопиного отца в углу, у стола с лампой, пусто. Смотрит на Пенелопу. С удивительной ясностью она различает вязаную салфетку на спинке, много узелков – серых,

бежевых, черных и коричневых. В узоре – или же перед ним – что-то колыхнется: поначалу всего-навсего рефракция, будто нечто прямо перед креслом источает тепло.

– Нет, – вслух шепчет она. – Не хочу. Ты не он. Я не знаю, кто ты, но ты не папа. Уходи. Подлокотники и ножки безмолвны и недвижны. Пенелопа смотрит в кресло.

*Я просто хочу к тебе в гости.*

– Ты хочешь меня одержать.

Демонические одержимости в этом доме не новость. Это что, правда Кит, ее папа? которого забрали, когда ей было вполовину меньше лет, и вернули теперь не человеком, которого она знала, а лишь оболочкой, и мягкая мясистая личинка души, что улыбается, и любит, и чует свою смертность, сгнила или вся погрызена игольчатыми пастями смерти-от-правительства – процесс, посредством коего живые души поневоле оборачиваются демонами, главной последовательности западной магии известными как Клиппот, Оболочки Мертвых... И нередко то же самое текущий промысел делает с приличными мужчинами и женщинами вовсе даже по эту сторону могилы. Ни в том процессе, ни в другом нет никакого достоинства – и милосердия никакого нет. Мам и пап настраивают умирать нарочно, определенными способами: заводить себе рак или инфаркт, попадать в аварии, уходить сражаться на Войну – и оставлять детей в лесу одних. Вам непременно скажут, что пап ваших «забрали», но папы просто уходят – в том-то и дело. И друг друга покрывают, вот и все. Может, и лучше такое присутствие – вытирает комнату насухо, как стекло, ныряет в старое кресло, выныривает, – чем папа, который еще не умер, человек, которого любишь, и надо смотреть, как это с ним происходит...

В кухне вода в чайнике трясется, скрипит до кипения, а снаружи дует ветер. Где-то, на другой улице, скользит и падает шифер с крыши. Роджер взял холодные руки Джессики, греет на груди, чувствует их, ледяные, сквозь свитер и рубашку – они сложились, прижались. А Джессика не приближается, дрожит. Он хочет согреть ее всю, не только нелепые конечности, вопреки здравой надежде хочет. Сердце его сотрясается, точно кипящий чайник.

Теперь уже проступает: с какой легкостью Джессика может исчезнуть. Впервые он понимает, почему это равно смертности и почему он будет плакать, когда она уйдет. Он учится распознавать минуты, когда вообще-то ее ничто не удерживает, кроме его тощих рук, накачанных 20-ю отжиманиями... Если она уйдет, станет безразлично, как падают ракеты. Но совпадение топографических карт, девушек и ракетных ударов проникло в него беззвучно, беззвучное, как лед, и Квислинговы молекулы сдвинулись решеткой, дабы его заморозить. Бывать бы с нею чаще... случись такое, когда они вместе, – в иные времена прозвучало б романтично, однако в культуре смерти определенные ситуации оттяжнее прочих, – но они вместе так мало...

Если ее не достанут ракеты, остается ее лейтенант. Чертов Бобер/Джереми *и есть* Война, всякое притязание блядской Войны – что мы предназначены для работы и правительства, для аскезы – и это затмит любовь, грезы, дух, чувства и прочую второсортную чепуху, какая вылезает наружу среди праздных и бездумных часов... Тут они дали маху, черт бы их побрал. Совсем охуели. Джереми заберет ее, как сам Ангел, в свою безрадостную двусмысленную путь-дорожку, и Роджер будет позабыт – забавный маньяк, но ему нет места в рационализованном ритуале власти, коим обернется грядущий мир. Она станет слушать мужнины повеления, превратится в домашнюю бюрократку, младшего партнера, и Роджера будет вспоминать – если будет – вот, мол, ошибка, Джессика ее, слава богу, не совершила... О-о, вот и припадок бесноватости подкатывает – черт, да как же ему выжить без нее? Она – зимняя шинель, что согревает его ссутуленные плечи, и замерзающий воробышек у него в ладонях. Она – нутряная его невинность в просветах сучьев и сена, прежде чем желаньям дали отдельное имя, дабы предостеречь, что они могут и не сбыться, и его гибкая парижская дочь радости, под вечным зеркалом, коя отрекается от ароматов, лайка до подмышек, все это слишком просто, в его обнищании и более достойной любви.

Внутри меня ты бродишь из грезы в грезу. Тебе открылся ход в распоследний мой обшарпанный уголок и там, средь обломков, ты отыскала жизнь. Я теперь не скажу точно, какие слова, образы, грезы или призраки «твои», какие «мои». Уже не разобрать. Мы оба теперь новые, невероятные...

Его испытание веры. Детишки на улице распевают:

Славословят ангелы: ля-ля,  
Миссис Симпсон у нас сперла Короля...

На каминной полке затаился Сажин сынок Ким, пугающе жирный косоглазый сиамец, – надеется учинить то единственное, что его нынче развлекает. Помимо еды, сна или ебли, его главный бзик – прыгнуть или рухнуть на мать и валяться, хохоча, пока та с воплями носится по комнате. Сестра Джессики Нэнси выходит из сортира – унять ссору Элизабет и Клэр, уже вышедшую из берегов. Джессика пятится от Роджера, чтобы высморкаться. Звук ему знаком, как птичья песня: ип-ип-ип-ип НГУННГГ – и платок раздувается...

– Ой, изюмительно, – говорит она, – я, кажется, простуду подхватила.

Войну ты подхватила. Она заразная, и я не знаю, как ее шугануть. О, Джесс. Джессика. Не оставь меня...

## 2. Un Perm' au Casino Hermann Goering<sup>98</sup>

*Вам достанется самый высокий, самый смуглый ведущий актер  
Голливуда.  
Мериан К. Купер – актрисе Фэй Рэй*

\* \* \*

Улицы этого утра уже стучат вблизи и вдали под деревянными подметками гражданских. Вверху на ветру копошатся чайки, скользят, легкие, бок о бок, крылья развешаны недвижно, то и дело слегка пожимают плечами, лишь бы набрать высоту – сплестись, расплестись, бело и медленно стасовывается с незримых больших пальцев фараон... Первый взгляд вчера, вдоль по эспланаде ближе к вечеру, был хмур: море оттенков серого под серыми тучами, казино «Герман Геринг» плоско-белесо, а пальмы черные, зазубренные, еле шевелятся... А вот сегодня утром деревья на солнце вновь позеленели. Налево вдалеке крошатся петли древнего акведука – сухо-желтого, вдоль Капа<sup>99</sup>, дома и виллы там пропечены до теплой ржави, кроткие коррозии изъедают все краски Земли, от бледно-недожаренного до глубоко надраенного.

Солнце пока не очень высоко, готово поймать птичку за концы крыльев, ярко обротив перышки в завитки ледяной стружки. Ленитроп стучит зубами на толпу птиц в вышине, сам внизу на своем миниатюрном балкончике, из глубины комнаты электронагреватель едва достает ему до икр. Его подшили куда повыше, на белый фасад к морю, предоставили целый номер одному. У Галопа Муссора-Маффика и его друга Тедди Бомбажа – один на двоих дальше по коридору. Ленитроп втягивает кисти в ребристые манжеты толстовки, скрещивает руки на груди, наблюдает изумительное иностранное утро, призраки его дыхания в нем, он ощущает первое солнцетепло, хочет первую сигарету – и извращенно дожидается внезапного шума, с которого начнется день, первой ракеты. Все время осознавая, что он в кильватере великой войны, сместившейся на север, и тут могут раздаваться только одни взрывы: хлопки пробок от шампанского, выхлопы лоснящихся «испано-сюиз», иногда амурный шлепок, будем надеяться... Ни Лондона? Ни Блица? Можно ли привыкнуть? Еще бы, и к тому времени пора будет возвращаться.

– Итак, он проснулся. – Бомбаж при мундире, бочком протискивается в номер, гложя тлеющую трубку, за ним Галоп в пиджачной паре в тонкую полоску. – Поднялся с первыми лучами, разведывает, несомненно, пляж на предмет неприкаянной мамзели-другой...

---

<sup>98</sup> Увольнительная в казино «Герман Геринг» (фр.).

<sup>99</sup> От фр. мыс.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.